

Свадьба. 1960-е годы.

НАРОДНЫЕ КАРТИНКИ ИВАНА НИКИФОРОВА

См. стр. 87



В купе. 1960-е годы.



Ванька-ключник с княгиней. 1960-е годы.

ISSN 0868—4855. СЛОВО 1990. № 11. Индекс 70110. 90 коп.



ISSN 0868 4855





Терентий Семенович Мальцев.
Фото ВЛАДИМИРА РОЛОВА.

НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Земля.
Родина.
Воля.

«...Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений.»

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ГЛАС НАРОДА — ГЛАС БОЖИЙ

Кто только не клялся и кто только не клянется именем народа: красные, белые, правые, левые, центристы, прогрессисты... Народными объявляют сами себя органы печати, далекие прежде всего от народа; народными стремятся стать скороспелые партии, готовые вновь паразитировать на шее народа. И до сих пор все экономические проблемы решаются за счет народа, все тяжести реформ перекладываются на плечи народные.

Во всем этом есть, к сожалению, своя историческая предопределенность. Узурпация власти может происходить под любыми лозунгами и любыми знаменами, вплоть до самых «демократических», подразумевающих народовластие. Вспомним, что первой объявила и осуществила революционный террор партия «Народной Воли», и первой жертвой этого террора стал царь-освободитель, самый либеральный российский самодержец, осуществивший земскую, судебную и военную реформы, подготовивший конституцию. 1 марта 1991 года мы будем отмечать столетие этой роковой даты, когда убийство стало исполнением якобы народной воли.

Именем народа вершил свой неправый суд карающий меч революции. И миллионные жертвы сталинских репрессий тоже объявлялись «врагами народа».

«Все для народа, все во имя народа!», «Народ и партия едины!» — давно ли эти транспаранты проплывали по Красной площади перед «слугами народа», перед теми, кто вершил судьбами народа, отправляя войска в Афганистан, отравляя моря и реки, строя атомные и химические чернобыли. Даже в Великую Отечественную было сожжено дотла, стерто с лица земли гораздо меньше деревень, чем на наших глазах и в мирное время, когда одним росчерком пера уничтожались сотни тысяч «неперспективных» деревень. И все это происходило не в далекие двадцатые или тридцатые, а совсем недавно. Не содрогнулась земля и от этого величайшего преступления нашего века... 1

Народ безмолвствовал... Да! Если судить по страницам печати, которая желала видеть его безмолвствующим. Зато в «деревенской» прозе именно в это время появились новые образы русских страстотерпцев, русских праведников и святых, таких как распутинская Дарья, беловский Иван Африканыч и солженицынская Матрена. Все остальные о п т и м и с т и ч е с к и е т р а г е д и и лопнули как мыльные пузыри, потому как не может литература воспевать оптимизм трагедий, как не может атеизм стать новой религией, основанной на вере в н и ч т о.

Быть может, от всей нашей так называемой советской словесности останутся как раз Иваны Денисовичи да Иваны Африканычи. Но даже они — лишь отражение действительности, о которой нам еще предстоит узнать по сохранившимся документам, по свидетельствам очевидцев. Но пока к такому переосмыслению истории не готовы прежде всего сами историки, пытающиеся старые идеологические схемы заменить новыми, не переосмыслить, а еще раз переписать историю, создать еще один вариант «Краткого курса ВКП(б)». В работах столь модных ныне антисталинистов-разоблачителей мы встретим все то же партийное окружение Кирова, Сталина, Бухарина или Троцкого. Вся история здесь замкнута в пределах кремлевских стен и партийных кабинетов. Народ-мученик, народ-страдалец опять намеренно забыт, вычеркнут из истории. Даже в очерке «Судьба сталинского наркома Лазаря Кагановича» автор лишь мельком упоминает о «чрезвычайных полномочиях», которыми был наделен Каганович при осуществлении коллективизации с помощью беспощадного морилки-голода на Украине, в Воронежской области, на Северном Кавказе, на Кубани. Все это остается за пределами и новых книг «Окружение Сталина», «Триумф и трагедия Сталина»: истоки и методы сталинского геноцида по отношению к целым народам, причины и следствия коммунистического террора. Вместо этого представлены картины внутрипартийной борьбы вождей. Жизнь и муки народа вновь заменены и подменены историей партии, жизнью и деятельностью ее хороших или плохих функционеров.

В новой рубрике нам бы хотелось выйти из этого замкнутого круга и культа любой личности, представив разные стороны реальной, многострадальной — созидательной, а не разрушительной — н а р о д н о й ж и з н и. Ведь только она плоть от плоти и есть наша общая судьба, наш выбор и наше место в истории человеческой, наш вклад в род человеческий. Мы будем публиковать письма, народные мемуары, дневники, надеясь не столько на официальные, сколько на неофициальные, семейные архивы наших читателей. Пусть журнальный раздел «Народная жизнь» станет нашим общим делом по восстановлению хотя бы крупиц исторической справедливости и исторической правды не об увенчанных «славой» палачах народа, а об истинных народных сеятелях добра и благости, о самом народе, которому пора занять свое достойное место и в литературе, и в истории, и в современной политике, как главному действующему лицу, способному превозмочь любой партийный гнет.

За тобой слово, НАРОД!

Н а п е р в о й о б л о ж к е. так когда-то выглядели Красные ворота в Москве, поражающие изяществом и совершенством. Но потом, в пору злодеяний Лазаря Кагановича — переустройщика красной столицы, они были уничтожены. Но это лишь малая частица варварского уничтожения русской архитектуры, последовательно проводимого все годы после переезда советского правительства в Москву в марте 1918 г. На цветной вкладке (стр. 33—39) мы воспроизводим лишь некоторые из уничтоженных памятников. А в очерке писателя Петра Паламарчука рассказывается лишь о части уничтоженного самобытного городского пейзажа древней столицы (см. стр. 29).

АНАТОЛИЙ ЖУКОВ

КРАСИВАЯ И ВЕЧНАЯ

Слова «жизнь», «человек», «земля» стоят в разных синонимических рядах, хотя нет понятий более близких. По отдельности их как-то даже трудно представить. Жизнь без человека? Человек вне жизни? Земля без человека и без жизни?.. Нет, невозможно представить.

Не вчера случилась та наша встреча, а я все думаю о ней, первой встрече и знакомстве с крестьянским академиком Мальцевым, с беспокойным его делом, с любимым краем его.

Степное Зауралье чем-то напоминает мое родное Заволжье: всхолмленностью ли равнины, островками ли смешанных лесов в полях, или деревнями среди полей — может, всем этим, вместе взятым.

И сам Терентий Семенович, крупный, неторопливый, похож на степенного нашего заволжского мужика, плечистого, приметливого, вдумчивого.

Дом у Мальцева тоже настоящий крестьянский, с огородом, сарайчиком, просторным двором с поленницами колотых дров — не зная, и не подумаешь, что здесь живет почетный академик ВАСХНИЛ, известный всему миру аграрник-экспериментатор. А когда узнаешь его непростую жизнь, удивишься силе этого неброского таланта, который пробивался, как зеленый росток сквозь асфальт: первая мировая война, гражданская, разруха и голод, коллективизация, вторая мировая... Как он пробился, откуда взял силы?..

Впервые я услышал о Мальцеве много лет назад, еще подростком. Тот первый послевоенный год в Заволжье был засушливым, и хотя мы в совхозе отсеялись рано, до майских праздников, это не помогло: осенью едва собрали на семена да на фураж, государству остались слезы. Наши слезы. Хлеб мы получали по карточкам, а просить больше было не у кого: земля была вроде бы у нас, мы ею распоряжались, а не горожане, и хлеб выращивали мы сами.

Сбор колосков дал тогда дополнительно по два с половиной пуда с гектара. В гектаре десять тысяч квадратных метров колючего (босиком ходили) жнивья, в совхозе было двадцать тысяч гектаров посевов. Собирали бабы и ребятишки с котомками. Как нищие.

Верная пословица «не хлебом единым жив человек» по тому времени звучала кощунственно. Хлеб был пределом детских мечтаний, о хлебе хлопотали наши матери, хлебу посвящали свои страницы газеты и журналы, хлебным вопросом занимались райкомы и обкомы партии.

А хлеба не было — засуха.

Дядя Вася, старый тракторист и наш самодеятельный деревенский философ, на общем собрании говорил, что главное в жизни — земля, главное на земле — человек, а главное для человека — хлеб. Что это значит? А это значит, что если у человека нет хлеба, то он плохо знает землю, потому что ссылаться на засуху — все равно что на Господа Бога. Наша наука в лице уважаемого агронома советует сеять рано, а вот Терентий Мальцев в Сибири сеет поздно, и без хлеба у него колхозники не сидят.

Совхозный агроном снисходительно улыбался на это: в Сибири поздний сев? Какая ерунда! Укорачивать и без того короткие сроки вегетации — не только антинаучно, простой здравый смысл восстает против этого.

Несколько лет спустя мы услышали о Мальцеве совсем уж невероятное: бросил пахать землю. Сеять сеет, а вот пахать — один раз в пятилетку. И самое удивительное — урожаи получает хорошие каждый год. Так сообщали газеты...

И вот наконец я сижу у него в доме и получаю информацию. как говорится, из первых рук.

Две комнаты, где он рвботает, уставлены книжными шкафами, книги выбрались на тумбочки, на столы — в домашней библиотеке Мальцева более пяти тысяч томов.

— С добрым утречком! — В комнату вошла женщина, поклонилась. — На свадьбу позвать пришла. Третий день гуляем, а тебя нет.

Мальцев улыбается:

— Сколько еще гулять будете?

— Последний день нынче, остатний. Хотели раньше пригласить, да ведь ты все равно не пьешь.

Терентий Семенович покачал головой и отказался.

Односельчане и жители окрестных деревень ходят к иему ежедневно — каждый со своими заботами. Он отрывается от дел, беседует, звонит по телефону в различные организации, пишет. Может быть, по годам его дальиим многовато такой работы?

— Надо, — говорит он и усмехается. — Мы ведь незавершенные люди, нам завершаться иадо, везде поспеть.

И рассказал, что «незавершеиным человеком» его назвал много лет назад один областиой руководитель. Вызвал в Курган на беседу и предложил стать во главе звена высокого урожая — тогда были популярны такие звенья: возьмешь, говорит, несколько гектаров земли, получишь по 40 центнеров с гектара хлеба и станешь Героем Труда. Ты-де имеешь все данные для Героя, а остаешься пока человеком вроде бы незавершенным. «Когда я буду завершенным, мне и жить тогда незачем»,— ответил ему Мальцев и отказался азять звено.

— Я ведь о земле думал, об урожае со всей колхозной земли, а не об отличиях, — сказал Терентий Семенович. — Всю жизнь я думаю о земле и о людях, которые на ней работают.

* * *

В конце большого пути человек оглядывается назад: как далеко ушел, прям ли был путь, куда привел он, этот путь. И вот все вроде вышло правильно, и эта правильность твоя и честность проверены жизнью, и остается чувство неясной тревоги, беспокойства: а как дальше пойдет, а что будет потом, после тебя?

У человечества есть прошлое, настоящее и будущее. У отдельного человека будущего нет. Если ты успел мало, приходит раскаяние, боль; если сделал много, появляется это самое беспокойство; оставляешь своё, выстраданное, большую часть себя, и ты уже не можешь за это заступиться, что-то улучшить, исправить, ты не властен больше над тем оставленным, что было целью и смыслом твоей жизни. И что будет дальше, ты никогда не узнаешь.

И вот оглядываешься назад.

Мальцев показал сельский календарь-справочник за 1916 год, последний год традиционной эпохи. На цветной обложке — лошадь, впряженная в соху, рядом с ней жеребенок, а позади крестьянин занес руку в крестном знамении: «С Богом, сивка, начнем пахать». Вдалеке видна церкоаь на фоне восходящего солнца, выше него — крест и двуглавый орел, а обрамлена картинка изображением косы, грабель, лопаты, деревянной бороны и цепа. «Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь» — идут крупно слова на раскрытой Библии.

— Вот такое у меия было начало, — сказал Терентий Семенович, и я поглядел на него как на нечто сказочное, как на живую историю. — Но этим календарем я не успел попользоваться: в шестнадцатом году попал на германский фронт, а потом оказался в плену.

И Терентий Семенович рассказал, как это случилось. Их сибирский стрелковый полк стоял в Галиции, вооружен был плохо, винтовок не хватало, на роту был всего один пулемет. И русские и немцы, измотанные войной, не могли наступать, шла позиционная война: постреляют из окопов, покидают мины, сделают ночную вылазку, чтобы снять караулы, и все. В одну из таких иочей и попал в плен солдат Мальцев. Он стоял в полевом карауле и, сменившись, спал в землянке, а немцы пришли и сняли весь караул: накануне была дана команда не стрелять в людей, одетых в белые халаты, — ночью наша полковая разведка пойдет снимать немецких часовых. Ну, люди на посту и не стреляли, хотя в белых халатах в эту ночь, опередив русских, вышли на передний край немцы.

— Четыре года я у них пробыл, — говорит Терентий Семеиович. — Без двух недель четыре года. Вот и документ есть.

Пожелтевшая от времени бумага свидетельствует, однако, о том, что товарищ Мальцев Терентий состоял членом коммунистической группы лагеря Кведлинбург (русская секция при Коммунистической партии Германии) и был активным членом лагерного комитета, выполняя многочисленные обязанности и поручения.

— Ездил в рабочие команды к помещикам, где работали пленные, возил революционную литературу, газету свою выпускали — «Лагерная правда» называлась, — держал связь с рабочими организациями. И явочные адреса у меня были, и шапирограф, на котором газету печатали, — это хранил под полом вместе с бумагой...

Терентий Семенович увлекается и весь уходит в воспоминания — там осталась его молодость, там отзвенела высокая романтика борьбы, в те огневые годы рождалась новая жизнь, о которой мечтал русский крестьянин и которая потом больше всех обездолит именно его самого.

— Нас ведь в Германии почти два миллиона было. И в основном крестьяне, два миллиона крестьянских парней, которые тосковали по земле, работали на немецких помещиков и фабрикантов и думали о доме, о своей деревне, о России, в которой произошла революция. Об этом не забудешь. Я почти ребенком встал за плуг, не окончил ни одиого класса в школе, самоучка — да, да, не удивляйтесь. сам выучился и еще в русско-японскую войну письма солдаткам читал, я с малолетства знал цену хлебу и видел, как держится мужик за полоску земли. Если бы я этого не знал, не смог бы я выучиться сам, а я уж тогда, в лагере, участвовал в выпуске газеты, немецким языком овладел, подпольную литературу — у тела вот, под пальтишком, обложусь брошюрами, газетами («Красный набат» помню, выходила в Берлине) — проносил к себе в лагерь, и по Германии ездил нелегально, и не один я ездил, не один рисковал жизнью, и дело это обычное, потому что ведь свобода — а о ней все мечтали в лагере — была в России, с ней мы связывали свои мысли и планы, и когда Антанта хотела нас отправить через Владивосток (а в Сибири в то время хозяйничал Колчак), мы отказались. Потом решили вывезти нас через Париж на Кавказ (а Кавказ был белогвардейским), мы опять ни в какую — только через Москву, нас не удастся использовать против свободы, против Советской власти. И не удалось. А нас почти два миллиона было, кадровые солдаты...

Видимо, в каждом человеке живет эта потребность оглянуться.

— Тогда мы и узнали немецких бауэров — неплохо они с землей обращались, культурней, чем мы, хозяйничали. Но вот я бывал в Германии после второй войны, видел концлагеря и крематории, человеческий пепел оттуда использовали как удобрение для полей, был в Бухенвальде, это недалеко от Веймара, а в Веймаре есть мавзолей Шиллера и Гёте — видите, как все обернулось. Тут поневоле задумаешься о земле и человеке на земле.

Вошла девочка-школьница, беленькая, ясноглазая, и Терентий Семенович сразу умолк, провел ее к столу и попросил сфотографировать их вдвоем.

— Это анучка моя, — сказал ои, сажая ее на колени. — Снимите нас и пойдем обедать.

Я сделал несколько снимков, и мы пошли на вторую половину дома, где хозяйничала его старшая дочь Анна и его, теперь уже покойная, жена Татьяна Ипполитовна. Вроде крепкая она была, приветливая, веселая, но прошло несколько месяцев всего, когда я встретился с Терентием Семеновичем, и он сообщил, что остался теперь один.

В столовой у него было по-крестьянски уютно, и стол крестьянский, крестьянский непритязательный обед: мясной суп, хлеб и по стакану холодного молока. Разговор тоже шел о семье, о детях.

У него была большая семья: три сына и три дочери. Старший, Константин, погиб на фронте, младший, Василий, инженер, кандидат химических наук, средний сын, Савва, и две дочери — агрономы. Все они, конечно же, имеют, в отличие от отца, специальное образование. Лидия окончила аспирантуру и работает в Барнауле, Валентина живет недалеко, в Шадринске. С отцом остался на опытной станции Савва, средний сын, — он агроном-селекционер.

Дети вырастают и уходят из отцовской семьи — это справедливо. Они подготовлены для самостоятельной жизни, и трое пошли дорогой отца — это радостно. Остаешься ты сам, со своими думами о прошлом и заботами о настоящем. И о будущем.

Жизнь была отдана земле. Точнее, борьбе за землю, за хлеб насущный. Да, не хлебом единым жив человек, это верно, но когда нет хлеба, чем будет жить человек? Как он станет жить?

У земли много богатств, она щедра, но вот уже подсчитаны ее запасы угля, нефти, газа, измерены и оценены ресурсы почвенного плодородия, ведутся серьезные исследования о разумном использовании источников пресной воды...

Прежде, лет семьдесят назад, он не думал об этом. Он думал о своем доме и полосках подушного надела, который не всегда мог прокормить семью. Потом стали жить колхозной артелью — тут, хочешь не хочешь, а думаешь о всей своей деревне. И как-то незаметно, исподволь пришла большая забота о земле, своя она или чужая, о людях, далеких и близких, и о жизни, которая дается человеку один только раз.

* * *

Первый опыт он заложил весной 1922 года на своей надельной земле. Цель опыта одна — хлеб. Как при любых погодных условиях получать хорошие урожаи, как застраховать себя и свою семью от стихийной беды?

В 1921 году в Поволжье разразилась жесточайшая засуха, от голода вымирали целые деревни, в стране организуются комитеты помощи голодающим, партия во главе с Лениным решает перейти к новой экономической политике, продразверстка заменена продналогом, хлебный вопрос становится главным на повестке дня.

Единоличник Терентий Мальцев тоже ищет. Вначале очень неуверенно, ощупью, с оглядками — сказывался известный консерватизм крестьянского быта и традиций. Весной пашня подсохла, можно бороновать и сеять, но в деревне празднуют — Паска. Недавно возвратившийся из Германии Мальцев тоже не работает. Но за два дня до Пасхи он все же не послушался отца и уехал на лошади бороновать свое поле: больно ему было глядеть, как лежит пустующая пашня, гребни уже высохли и пылят, когда налетит ветер, а над полем колышутся хрустальные струи марева. В этих струях нагретого воздуха и течет, утекает из земли навсегда драгоценная влага. А Пасха длится неделю — обезвоженная земля станет золой. Если кто-то будет работать, Бог накажет неурожаем всю деревню — не будет же он выбирать только полоски «грешников».

Отец ругал его за самовольство, но боронование Терентий Мальцев все-таки провел — закрыл влвгу. Он еще не знал этого определения, действовал скорее по наитию, от жалости к земле, и важность своевременного проведения работы понял позже. Июнь выпал, как это часто бывает здесь, сухим, май тоже не баловал землю дождями, и посевы у крестьян не обещали большого урожая.

А поле Мальцевых не то чтобы не чувствовало засухи, но растения были сильней, выше и развивались хорошо. А когда в конце июня — начале июля на прогретую землю выпали дожди, пшеница через неделю встала стеной и надел Мальцевых сразу выделился явно, откровенно, радостно. Ну и хлеба они, понятно, собрали больше всех.

Крестьяне заинтересовались опытами Мальцева — наиболее любознательные, конечно, но большинство пока оставались равнодушными, полагая, что Божью волю не пересилишь и если Бог не даст дождя, не будет и хлеба. Мальцев все же в 1925 году организовал любознательных в агрокружок, они выписали журнал «Сам себе агроном», вместе готовили семена, следили за землей. Когда в Шадринске появился окружной Дом колхозника с ученым агрономом во главе, Мальцев стал там постоянным посетителем. Он не боялся показаться невеждой, спрашивал каждую малость, все хотел увидеть, представить в живом образе, ощутить даже невидимое глазу.

И вставало множество вопросов. Как питается земля? Как она дышит? Почему она покрывается трещинами в засуху? Откуда она растет, сверху или снизу?

Ты бросил зерно в землю. Оно проросло, появилась стрелочка, потом два листика — это стрелочка развернулась, потом еще два, затем, глядишь, растение в трубку пошло, соломина образуется, колос на ней, зерно в колосе. И не одно, а тридцать, например, или сорок зерен. Из одного! Каким образом происходит весь этот сложнейший процесс, привычный крестьянскому глазу? Видеть — видишь, а знать — не знаешь. Ну да, выросло в земле, из земли, вот из этой затоптанной, превращающейся то в грязь, то в мерзлый камень земли. Как?

А есть науки и отдельные отрасли наук, которые этим занимаются. Например, агробиология, агрохимия, почвоведение.

В деревне сначала посмеивались над Мальцевым и его кружком: не знают покоя ни зимой, ни летом, от земли — к книжкам, от книжек — к земле. Завели триер, семена протравливают ядами, сеют позже всех, Мальцев зерно из Ленинграда в конверте получил от ученого Вавилова. Двести граммов пшеницы, полфунта, а радуется как ребенок. Но это слабо сказано, привычно — ребенок порадовался и забыл, а Мальцев до сих пор помнит тот день 2 июня 1927 года, когда он получил чуть больше стакана пшеницы сорта Цезиум 111. Пройдет не один год, прежде чем этот сорт, улучшенный, выпестованный Мальцевым, выйдет на колхозные поля области, как выйдут потом и такие широко известные сорта пшеницы, как Мильтурум 553, Лютесценс 758, Лютесценс 956. Но это будет потом.

А пока самодеятельный кружок Мальцева бился над разрешением извечных загадок земледелия. Как лучше бороться с сорняками? Какие сроки сева выгодней для урожая? Когда закрывать влагу — до высыхания всего поля или выборочно, не дожидаясь этого? На какую глубину лучше пахать?

Кроме книг, знания пополняли и собственные наблюдения. Например, такие. Когда на конце поля, на повороте сеялка заходит на кромку дороги и зарывает семена в плотную землю, они не только успешно прорастают и дают урожай, но часто растения бывают сильней, чем рядом, на пашне. Неужто уплотненная почва способствует урожаю, или здесь что-то другое?

Есть пословица: сей рожь в золу, да в пору. Но у ржи впереди осень, когда дожди какие-никакие, а бывают а самый плохой год, яровую пшеницу же мы зарываем в землю весной, причем знаем — это тоже установлено многолетними наблюдениями, — что в мае и июне на дождик в Курганской области надеяться нельзя. Какое растение лучше выдержит засуху, молодое или уже развившееся? Больной ребенок, например, переносит температуру и в 42 градуса, а взрослый человек при этом гибнет или находится на грани гибели. Не лучше ли сдвинуть сроки сева, чтобы растение меньше страдало от засухи? Но ведь лето короткое, позже посеешь, хлеба до заморозков не успеют созреть, ведь так? Значит, надо искать скороспелые сорта, прежде чем поздно сеять, или приспосабливать как-то местные.

Мальцев никогда не отличался робостью, свои опыты он ставил смело, но все же каждый раз боялся: вдруг неудача, и семья останется голодной. Кто поможет, его единомышленники? Но у них тоже семьи, тоже наделы. Вот если бы избежать такого риска, подстраховаться на случай неудачи.

Медленно, почти незаметно, но урожаи у кружковцев стали расти, и к ним уходил то один, то другой крестьянин. К началу коллективизации самодеятельный кружок Мальцева объединял сорок пять хозяйств, и они составили основу колхоза. На общем собрании Мальцева единодушно выбрали ответственным за землю — полеводом.

Если бы колхозы создавались везде по такому добровольному принципу, наверное, сейчас не возвращались бы мы к заемным старым методам — аренде и фермерству, к единоличному хозяйству, от которого ушли 60 лет назад. Но коллективизация грянула как беда, и в несколько лет не стало надежных, осторожных крестьян-земледельцев, таких, как из кружка Мальцева, а те, что остались в колхозах, потеряли хозяйские права, потеряли творческий контакт с землей. И хоть они еще пробовали сопротивляться, судьба их была решена. Выдерживали единицы, такие, как Мальцев, да и те с великим трудом.

— В первый колхозный год мы не сеяли долго, — рассказывал Терентий Семенович. — Из района депеши: сейте, а то посадим за саботаж! Не сеем, у нас свои, проверенные сроки. Приехали несколько милиционеров: «Кто саботирует?» — Полевод. Они ко мне. Повел их в поле, показал — вот проклюнулся овсюг, он задушит наши посевы, если не дождаться его всходов и не уничтожить их. Вечером собрание. Колхозники за меня, милиционеры уехали. Осенью урожай выше всех в районе, нас хвалят, премируют... А на другой год опять те же строгости. Как уцелел, не знаю...

Не думал он тогда, конечно, и не мечтал даже, что пройдет тридцать с лишним лет, и он, простой крестьянин, опытник-самоучка, будет открывать очередной, Третий съезд колхозников — по праву первого земледельца страны, создателя новой системы обработки почвы и посева, почетного академика ВАСХНИЛ.

Терентий Семенович достает из шкафа солидные академические издания, раскрывает одну из книг, испещренную своими пометками:

— Вот Вильямс. Ценность его травопольной системы заключается в том, что она призвана решить важнейшую задачу почвенного плодородия. Прекрасное назначение — ученый заботится о земле и вот советует: сейте многолетние травы, и ваша земля не оскудеет. Я не противник этой системы, но травы у нас растут неуверенно, урожаи низкие.

Вильямс говорит, что многолетники помогают земле, обогащают ее, а однолетники только истощают, разрушают. Обидно стало за однолетних, неужели они такие? Ведь и они растут на земле, имеют массу, и порой большую, чем многолетники, имеют корневую систему, которая остается в почве.

Терентий Семенович рассказывает о работе по проверке положений системы Вильямса, о спорах с учеными и практиками, а мне в этом рассказе о многолетних и однолетних уже видится аналогия с людьми — теми, кто живет заботой нынешнего дня, и другими, деяния которых будут принадлежать векам. Но Мальцев не любит прямых аналогий, он рассказывает о том, что проверено практикой.

— Однолетники, — говорит он, — не виноваты, что их корневые остатки, по Вильямсу, разлагаются до полной минерализации и вымываются в долины. И то, что однолетник не способен накапливать органическое вещество, не способен обогащать почву и улучшать ее структуру — неверно. Это не свойство однолетних трав, а условия, в которых они действуют. Да, они живут одно лето, правильно, но ведь земля, на которой они живут, ежегодно пашется, а у многолетних три-четыре, а то и пять лет мы не трогаем землю, не режем, не ворошим, не хороним верхний слой на 25 сантиметров, они растут, используя накопленную до них органику и оставляя свои отмирающие корни. Вот забрось пашню на несколько лет, и получишь дернину, плодородную землю.

Терентий Семенович достает с полки тонкую книжицу, листает. Это его брошюра под названием «Новая система обработки почвы и посева», напечатанная еще в 1952 году в Кургане. Он отмечает несколько страниц и передает брошюру мне.

В самом деле: пахать или совсем не пахать землю — тут философия, и самая строгая. Замечателен по своей конкретности оптимистический вывод: результаты двух взаимно противоположных процессов — создания и разрушения почвенной структуры — зависят от условий, а условия в данном случае создает человек.

— Все растения, — говорит Терентий Семенович, — обладают общим свойством: они оставляют органического вещества в почве больше, чем расходуют его на жизнь. Доказательство самое простое и убедительное — образование почвы. Помните несколько наивный по форме вопрос о том, откуда растет земля — сверху или снизу? Так вот земля растет сверху, растения ее наращивают, сменяясь поколение за поколением и оставляя в земле следы своего пребывания.

— Терентий Семенович, с этой новой системой обработки почвы у вас, вероятно, возникали и серьезные сопутствующие вопросы?

— Разумеется, но я не один! А вот единоличником когда был, простого конного плуга не добьешься — проблема! Помню, первый свой плужок, причем старенький, я на полушубок выменял. Снял с себя и отдал, почти новый. А что делать — в банке счета не имелось, как сейчас у колхоза, наличностью тоже не располагал. А сейчас техника есть, создали. Конечно, пришлось немало повозиться, и с доводкой и вообще, но ведь как же без этого — дело новое...

* * *

Гордостью Мальцева является его домашняя библиотека. Книги с ним были всегда, как земля и хлеб, они были не праздным препровождением времени, а продолжением любимого труда, составляющего смысл его жизни. Он относится к ним бережно, у каждой есть свое постоянное место, каждая как-то связана с его биографией. Есть книги, которые живут здесь более полувека, а есть новоселы, свеженькие, еще не тронутые временем. Эти уж не увидят ни скобленого стола, ни коптящего света керосиновой лампы, и солнце не достанет их в шкафах, не выжелтит обложки и страницы.

— Без них нельзя сделать ничего серьезного, — говорит Терентий Семенович. — И наука и вся культура — коллективное дело, веками, десятки веков люди собирали по крупицам все приметное, стоящее внимания, и разве без этого, без их работы, их ошибок и удач мы могли бы сейчас так жить? Нельзя даже представить, что было бы.

Непонятна мне скоропалительность некоторых людей, поспешность с выводами, неуважение к тому, чем они непосредственно не занимаются. Вот Мишель Монтень. — Терентий Семенович взял с полки одну из книг «Опытов». — Жил в шестнадцатом веке, земледелием не занимался, философ-скептик, ничего, казалось бы, мне дать не может, а между тем читать его истинное наслаждение, это великий мыслитель. он еще тогда выступал за связь обучения и воспитания с практикой. за сочетание умственного образования и физического развития. А сколько у него рассыпано метких наблюдений, верных замечаний о человеческой природе, о жизни общества! Недаром «Опыты» были настольной книгой Льва Толстого

Терентий Семенович показывает Гельвеция, Дидро, Лейбница, Белинского, Добролюбова... Книги держит так, будто они хрустальные и при неосторожном движении разобьются.

— Вот Мабли. Послушайте: «Когда у экономиста спрашивали, какой народ самый счастливый, он отвечал — тот, у кого поля лучше всего обработаны. Какое государство самое могущественное? То, которое способно извлечь наибольший доход из своих земель». Мабли жил в восемнадцатом веке, для нашего времени эти его критерии недостаточны, но интересен подход к вопросу, метод. Ведь он ставит могущество государства в зависимость от производительности труда в целом, а счастье народа — от качества труда. Или другой мыслитель... Уже наш, отечественный...

Глеб Успенский много писал о земле, о крестьянском труде. Его знаменитый очерк «Власть земли» рассказывает не только о закрепощении человека землей и зависимости от нее, но и о поэзии крестьянского труда, о той воодушевляющей силе, которую дает земля-матушка! Ты от нее зависим, ты ею порожден, но тебя она и кормит, и поит, и радует, и утешает в беде. Большинство старых народных праздников связаны с землей и жизнью земледельца, большинство песен и сказаний — о том же, а сколько пословиц, поговорок, примет оставили нам поколения крестьян! И календарь у них был свой, основанный на долгих наблюдениях, и молились они, грешники, с оглядкой: до Тихона (праздника святого) молиться, а после Тихона дождик и так бывает.

Сейчас деревня другая, и сравнивать нечего, но все же характер труда во многом остается земледельческим, и надо бы нам больше заботиться о сохранении всего лучшего из того наследия, которое оставили нам предки. Ведь на любви и уважении к земле, к своему краю, к своему труду держатся и нравственные представления человека, вырабатывается линия его поведения — этические нормы. Из веку духовна Земля, а стало быть, таким надлежит и стать человеку... Но тут-то и начинаются наши беды...

Терентий Семенович рассказывает, что недавно ему пришлось разбирать одну неприятную историю. Два семнадцатилетних парня во хмелю побили пенсионера. Ну, родители парней к Мальцеву: заступись, мол, ты авторитет, а парни хоть и дерзкие на руку, но грамотные, умные, со средним образованием — выручи. А ведь это преступление. Какие же они умные и грамотные, если не поняли увещеваний старого человека, который много повидал на своем веку, воевал, кормил парней своим трудом, а они выросли и так «отблагодарили» его за все это. Знания тут ни при чем. И ума, настоящего, способного принимать правильные решения, у них нет, и дерзостная сила у них показная, куражистая, потому что избить старого человека молодому, да не одному, а двум здоровым парням — это не сила и смелость, а бесстыдство и наглость трусливых, невежественных людей.

Между тем и в школе и в семье их считают другими. Отчего так происходит? Может быть, оттого, что знания они получают в школе без особого труда, хлеб (и с маслом!) до сих пор им вкладывают родители прямо в рот, и ценности этих первостепенных вещей они не чувствуют и не знают, а не зная их или плохо зная, нельзя стать настоящим человеком, гражданином. Гражданин начинается там, где индивидуальное «Я» согласуется с общественным «МЫ». А кто им дает хлеб, одежду, кров, знания? Мы!

Поймите меня правильно: это не старческое ворчанье, когда на склоне лет видишь свою молодость и кажется, что она-то и была самой лучшей, нет. Всю жизнь я работаю на земле, вместе со мной работали и работают молодые. Сменилось уже несколько поколений, я сравниваю, и сравнение это, безусловно, в пользу нынешнего дня. Молодежь сейчас стала куда грамотней, активней, чем прежде. Я могу назвать десятки фамилий замечательных ребят — примерных тружеников. Но ведь когда много дано, много и спрашивается. И вот мне хочется видеть наших молодых безупречными, идеальными людьми — об этом забота. Вопросы воспитания сейчас очень важны.

* * *

Не один раз Мальцев упоминал о сроках сева, о том, какую борьбу ему пришлось выдержать, чтобы отстоять право сеять тогда, когда нужно. И как нужно. И что — пшеницу или, например, кукурузу.

— Я не против кукурузы, — говорил он, — это хорошая, высокоурожайная культура, но ее нельзя делать королевой, ставить над другими культурами. На Украине,

например, в Молдавии, в других южных районах она — служанка и дает великую пользу, как у нас пшеница, а от королевы какая же польза. Ухода много, а пользы чуть.

И говорил о главном, о том, что работать на земле — значит все свои планы и устремления соотносить с землей и ее возможностями. Почвы, климат, водный режим и другие природные факторы — это та объективная реальность, которая определяет состав и жизнедеятельность растительного и животного мира.

— Земли Зауралья нам известны, состав культур, которые давали бы максимальные урожаи, можно определить опытным путем, что мы и делали. Я уже говорил, что на полях колхоза испытано более двух тысяч сортов различных культур, некоторые сорта пшеницы улучшены, и они урожайней и скороспелей оригинальных. Один у них изъян — солома недостаточно крепка, и в дождливые годы хлеба полегают. Но этот изъян мы со временем надеемся преодолеть.

Дальше — погода. Предсказать ее далеко вперед мы не можем и поэтому оглядываемся назад, на прошлое. Многолетними наблюдениями мы установили, что первый месяц лета у нас часто засушливый, дожди начинают выпадать в конце июня — начале июля, значит надо заставить засуху работать на урожай.

— Засуху — на урожай?!

— Вот именно. Ведь что такое засуха? Это обилие тепла при недостатке влаги. Если мы посеем рано, то растения вынуждены будут в самых трудных условиях проходить основные стадии развития: кущение, выход в трубку, колошение. И если им не хватает влаги на какой-то стадии, то они сильно страдают и порой гибнут. Вот мы и сдвигаем сроки сева. Закроем влагу в почве и не сеем, ждем. При позднем севе в конце мая молодым растениям хватит сохраненной нами почвенной влаги, а позже на прогретую, обильную теплом землю придут дожди, и посевы стремительно пойдут в рост. Они молодые, горя не видели, потерь никаких не понесли...

Уже не один раз я замечал, что Мальцев говорит о земле и растениях так, словно они живые существа, с которыми можно дружить, а можно и враждовать. Он не отрицал этого и задавал встречный вопрос: что значит, например, призыв покорить природу? Подчинить ее, сделать послушной рабой человека? Но природа живет и развивается по своим законам, отменить которые человек не может — это объективные законы. Следовательно, надо вести речь о хорошем знании и использовании этих законов, о том, чтобы сотрудничать с природой на взаимовыгодных условиях. Причем, заметьте, если природе невыгодны дела человека, если она страдает от его деяний, то можно сразу сказать, что человек ошибается и действует во вред себе.

Мешает нам в работе шаблон, стандарт, хотя сами по себе эти вещи положительны. Никакое массовое производство немыслимо без шаблона, стандарта. Возможен ли стандартный подход в сельском хозяйстве? Возможен. Например, в обеспечении тракторами, машинами, удобрениями — кому какие требуются. Дороги нам нужны хорошие. Типовые мастерские и животноводческие помещения, куда можно бы поставить стандартное оборудование. Хорошо бы и все дома колхозников обеспечить центральным отоплением, провести газ, воду, чтобы в домах были санузлы и ванные комнаты. В общем, многое подходит. Но само земледелие подчинить стандарту нельзя.

Почему травопольную систему у нас браковали? Потому что ее нельзя ввести повсеместно. У нас, например, многолетние травы дают урожаи меньше, чем однолетние. Почему пропагандировали систему пропашных культур? Потому что казалось — именно пропашные позволят нам везде использовать землю с одинаковой выгодой.

— К вашей системе это тоже относится?

— Безусловно. Идея безотвальной обработки почвы, как мы понимаем, в какой-то мере имеет общее значение. Но система обработки должна быть строго конкретная, с учетом местных природных условий. К сожалению, эту простую истину понимают не все. Лучше других это понял директор ВНИИЗХОЗ в поселке Шортанды академик А. И. Бараев. Он хорошо учел особенности степных районов Северного Казахстана и умело использовал идею безотвальной обработки почвы с применением противоэрозийных орудий канадского типа. Если мы с учетом наших природных условий (у нас нет ветровой эрозии почв) для безотвальной обработки пользуемся плугами с безотвальной стойкой и широкозахватными дисковыми лущильниками, то Бараев, а теперь его ученики применяют для этого плоскорезы, которые больше оставляют непримятой стерни, чтобы не выдувалась почва после посева. Поскольку летний максимум и минимум выпадения осадков по времени у нас совпадают, то и сроки сева у них полностью совпадают с нашими, они также сеют поздно.

И вот идея безотвальной системы обработки почвы, зародившаяся в нашем колхозе в сороковых-пятидесятых годах, нашла широкое применение не только в Зауралье, но и во всей Западной Сибири и Северном Казахстане.

Как видите, простор для творчества на земле широкий, есть где развернуться, нужны люди, творческие, самостоятельные, не боящиеся ответственности, — об этом забота...

* * *

«Об этом забота...» А о себе как-то забывает, все о земле, о людях, о жизни. Он весь в деле, о нем только и говорит, и когда я спрашиваю, что он любит и чего боится сам лично, опять встает дело.

— Боюсь я многого, и пуще всего ранних заморозков. Сеем мы поздно, лето короткое, заморозки иной год выпадают в конце августа, когда не все хлеба вызрели. Боюсь еще дождей в третьей декаде мая, — они мешают нам сеять. А во второй половине июля — сильных ветров с дождем, — рослые хлеба полягут. И еще страшит холодное дождливое лето, которое для нас хуже засухи. Оно растягивает сроки вегетации и подводит под заморозки.

В общем, если подумать, боюсь самого себя, своих действий. Ведь порядок этот установил я сам, я отвечаю за него перед людьми. Вот и страшусь, переживаю, но из каждого страха получаю какой-то полезный урок, нужное наблюдение, которое буду иметь в виду, и уж страхов станет меньше.

Мы ходили по деревне, где его знает старый и малый, побывали на опытной станции, созданной им, постояли на том месте, где стоял отцовский дом Мальцева и где он родился. А родился и всю жизнь прожил он в родной деревне.

— А люблю я больше всего ходить по полям и глядеть на посевы, — говорит он. — Земля весной зеленая, отдохнувшая, воздух прозрачный, далеко вокруг видно. И звуки четкие — перепел ли кричит, жаворонок ли заливается. Запахи тоже не резкие, а смешанные, букетом: прогретой земли, молодой травы, ранних цветов, солнца. Летом люблю смотреть рослые хлеба. Вот они цветут, и колос еще легкий, прямой, глядит дерзко: вот, мол, какой я вырос, то ли еще будет. А потом колос нальется, склонится, и в котором больше зерна, тот ниже и поклонится — Земле. А встречаются прямые, гордые, выше всех тянутся, через головы других глядят — пустые!..

Многое он любит, а вернее одно — жизнь. Всю ее, с трудностями, удачами и ошибками, с ее радостями и огорчениями, со всем-всем, только бы она продолжалась. И лучше, чтобы ошибок и огорчений было меньше, а радостей больше. Ведь человек пришел на землю за счастьем, и счастье его в том, чтобы земля была красивой и вечной. Если ты все сделал для этого, тогда не страшно и умирать.

Слава Богу, Мальцеву отпущен долгий век, и преклонные годы не охладили его интереса к жизни, не убавили ему забот. Да и как сейчас не заботиться, когда все наново перестраивается, и в этой перестройке могут понадобиться не только его труды, но и пример его талантливой жизни, с твердой верой в великую силу труда, с надеждой на всепобеждающее крестьянское терпение, с его горячей любовью к страдающей родной земле, к родному, по-прежнему страдающему и угнетенному не своей волей крестьянству.



На снимке: поэт Виктор Боков с солистками фольклорного ансамбля «Сударушка» Галиной Мултасовой и Валентиной Самойленко.
Фото С. МЕТЕЛИЦЫ (Архив ТАСС)

ВИКТОР БОКОВ

ЗЕРКАЛЬЦЕ

Собирая частушку в течение полувека, любя ее, как великое словесное искусство, мало того, исполняя под балалайку на своих вечерах, снимаясь, как исполнитель частушек в кинофильмах, получая записки «А балалайка будет?», я все пытаюсь определить частушку как жанр.

Однажды во время разговора с аудиторией я сказал: «Частушка это карманное зеркальце девушки. Достанет, посмотрится, узнает себя, и опять спрячет!»

В этом сравнении есть доля истины. Каждая девушка поет частушки сообразно своей натуре, своему характеру. Боевая, озорная и частушки поет смелые, решительные:

Ай, подруга, дорогая,
Мы с тобою только две.
Мы нигде не подкачаем
Ни в работе, ни в гульбе.

Тихая, скромная поет другое:

С неба звездочка упала,
Серебриночка в росу,
Милый любит иль не любит,
Обязательно спрошу.

Совсем боевая отрежет как ножом:

Ах, подруга, дорогая,
Мы с тобой не из таких,
Раз сказали, что лопух,
Лопух и боле никаких!

Частушка позволяет каждой девушке спеть о себе и своей судьбе. Песня — это общая крыша, частушка — это лично твоя крыша, и ты стоишь под ней одна!

Я любуюсь частушками как великими образцами народной, национальной поэзии, бесконечно разнообразной и богатой. Предлагаю вниманию несколько частушек, записанных мною и отобранных из огромного числа моего собрания. О каждой из предлагаемых здесь частушек я мог бы говорить и говорить, как о чуде. Но это может сделать и сам читатель, если он знает толк в том, о чем я говорю и что предлагаю.

Ой, дует-то,
Подувает-то,
Редко ходит-то,
Забывает-то!

У меня коса до пояса,
Кудриночки до глаз,
Во своей деревне дролечка
В обидушку не даст!

Не стой у ворот,
Не наваливайся.
Я теперя не твоя,
Не подговаривайся!

Ой, рожь по̀ сту,
И овес по̀ сту,
Целовал меня милый
Раз по девяносту.

Пеки, мама, пироги,
Дочь свою побереги,
Напоследок приуважь,
Сверху маслицем помажь!

Я по клеверу ходила,
Клевер низко окошён,
Из-за чего расстались с дролечкой,
Вопрос не разрешен!

Дроля, я тебе не роза,
Да и ты не алый цвет.
Только два словечка требуется:
Любишь или нет?

Не хвались, что ты красивый,
Не красивее людей,
Не тобой ли на конюшне
Напугали лошадей?!

Задушевная подруга,
На гулянье не спеши,
На гуляньице остались
Только кильки да ерши.

К нам приезжие пришли
При галошах, при часах,
Мое шлепало пришлепало,
В разбитых сапогах.

Игроку за уваженье
Тридцать три лепешки,
Он, наверно, как и мы,
Любит из картошки.

Начинают побораниватъ
Во полюшке у нас,
Начинают поговаривать,
Миленочек, про нас!

Погодите, не жените,
Дайте годик погулять.
Я с женой-то наживуся,
Парнем больше не бывать.

Поиграй повеселее,
Горе не забуду ли?
Сказали: он гулять не стал.
Только я-то буду ли?!

Выхожу плясать на круг,
Отодвинься, милый друг,
Теперь поздно любоваться,
Если выпустил из рук.

Говорят, я боевая,
Боевая, не таюсь,
Меня дома не ругают,
Посторонних не боюсь!

Мне мой дроля изменил,
Говорит: капут, капут,
Он нашел себе другую,
Тяжелей на целый пуд.

Дорогой, возьми пример,
По тебе стала худеть,
Была юбочка свободна,
Теперь стало не надеть!

В том краю орехи ела,
Дома чайничала,
Никого я не любила,
Кроме Павловича.

Ай, подруга, дорогая,
Вспомни, как бывалыча,
Нас с тобою провожали
Два Иван Иваныча!

Мой миленок издивленок,
Издивлюшечка моя,
Притворялся, издивлялся
На коленях у меня!

Неужели перельется,
Неужели выльется,
Неужели переменится
Моя фамильица?

Изменил да и подходит.
— Каково гуляете?
— Дролечка, не ваше дело,
Что вы проверяете!

Задушевная товарка,
Кофту черную не гладь,
Не люби того, кто треплется,
И времячка не трать!

Думаешь, что ты хороший,
Думаешь, что снаряжён,
Отойди вертоголовый,
Ты мне на дух не нужён!

Мы на лодочке катались,
Любовалися весной,
Не прощу тебе измены,
Отойди, бессовестной.

Дайте той воды напиться,
Где черемуха цвела,
Дайте с тем наговориться,
С кем подруга развела.

Я у маменьки одна,
Речку смерила до дна,
Попадется морюшко,
Переплыву без горюшка!

Милый мой, ты весь в грязи,
Мамку горем не слези,
Если в камеру посадят,
Хлебца черного свези.

Сероглазенький, поверь,
Поверь моей любови-то,
Не поверишь, так взгляни,
В лице не стало крови-то.

Ах, Германия, Германия,
Наделала чего:
Девяносто девять девок
Обнимают одного.

Распроклятый царь-германец
Нам войны не объявил,
Он на бедную Россию
Три земли подговорил.

Надоело мне стирать,
Надоело мыло-то,
Надоели разговоры,
Хоть бы правда было-то!

М. НОВИЦКАЯ

«НЕДЕТСКИЕ» СТРАШИЛКИ



Многие современные родители наверняка приходят в ужас, услышав от своих милых деток подобные частушки. И действительно, в них есть чему ужасаться, из-за чего сокрушаться, да только дети здесь ни при чем. Дети лишь выражают весь ужас нашей действительности, недаром и возникли эти частушки в середине 70-х годов, во времена застоя, нравственной деградации отнюдь не детского, а именно взрослого мира. В науке эти дву- и четверостишия не имеют пока устоявшегося названия: «садистские», «бандитские» стишки; «садистские частушки»; «черный юмор»; «стихотворные анекдоты»; «страшилки в стихах». Есть свидетельства, что «садистские частушки» исполнялись в юношеской и подростковой аудитории под гитару в виде серии, своеобразного частушечного спева. Вероятнее всего, что и сочинены они не детьми, а взрослыми. Это взрослый «черный» юмор, опустившийся к детям, усвоенный детьми.

Он осмысляет противоречия современной действительности: девальвацию лживо-оптимистического «художественного слова» нашей псевдолитературы как следствие господства лжи и «двоемыслия»; распад естественных человеческих связей (в семье, в обществе в целом, между поколениями), физическую и духовную беспризорность наших детей, потерю нравственных ориентиров и душевное опустошение, ведущее жизнь человека к катастрофическому концу. Жанр иронически, то есть осознанно, противостоит беззастенчивой власти псевдоценностей, являясь тем самым формой психологической защиты личности от давления трагически безысходной социальной действительности. С этим связаны все приметы пародийного стиля частушек. Выбор стихотворного размера (четырехстопный дактиль) обусловлен предпочтением, которое отдается ему (наряду с хореем) в героико-романтической и детской поэзии. Характерно пародийное использование расхожих штампов — маркеров официозного «высокого штиля»; редуцированное воспроизведение «романно-эпопейных» сюжетов, так долго эксплуатируемых в макетной литературе соцреализма; пародийное развенчание официозного набора «художественных особенностей положительного образа советского человека». Фантасмагория «садистских стихов» наследует от родственного жанра частушек быстроту реакции как на конкретные события, так и на хронически больные проблемы современности; умение сконцентрировать внимание на сущности явления и наглядно выявить эту сущность в контрастном до жестокости гротескном образе. Использование традиций «черного юмора», назойливый, однообразный даже в своей вариантности повтор клишированных формул, гротеск, рассчитанный эпатаж сознания, отупевшего в бессмысленном лихорадочном городском темпе и способе жизни, нарочитая жесткость предметно-событийного мира «садистских частушек» — это несомненно вызывает эстетический шок. Психологическая, стихийная социально-философская природа этой художественной системы родственна гротескно-пародийной поэтике обэриутов и современных создателей иронической прозы и поэзии.

Публикуемые записи сделаны мной и студентами Московского государственного заочного пединститута в 1987-1990 годах от детей 8-14 лет в Москве и Московской области

От редакции. Мы намеренно после истинно народного творчества, так великолепно представленного замечательным русским поэтом и собирателем фольклора Виктором Боковым, даем этот городской, бездуховный антифольклор, как ярчайшее свидетельство вырождения, деградации души. Так рушатся не только каменные рукотворные памятники зодчества, не только родная природа, но и то, что дано нам с молоком матери — наш язык, наш незащищенный мир детства и отрочества. А противоядием подобному духовному спиду, прилипчивому и заразному, может быть только чистота и целительная сила народного творчества

●

Мальчик за сливами в садик залез,
Дед Евсей достал свой обрез.
Грянул выстрел, раздался крик.
«Сорок первый!» — промолвил старик.

●

Маленький мальчик на вишню залез,
Дед Афанасий вскинул обрез.
Выстрел раздался, раздался и крик.
«Сорок второй!» — улыбнулся старик.

●

Маленький мальчик на вишню залез,
Дед Афанасий вскинул обрез.
Выстрел раздался, и сторож упал:
Мальчик свой маузер раньше достал.

●

Маленький мальчик на дерево влез,
Сторож Аркадий достал свой обрез.
Выстрел раздался, и сторож упал:
Мальчика сзади отец прикрывал.

●

Малвнький мальчик нашел пулемет.
Больше в деревне никто не живет.

●

На веревке смотрит вдаль
Комсомольский секретарь.

●

Дети в подвале играли в гестапо,
Зверски замучен сантехник Потапов.
Ногти гвоздями прибиты к затылку,
Но он не выдал, где спрятал бутылку.

●

Дед Митрофаныч присел на пенек:
«Ох и тяжелый сегодня денек!»
Долго летали над лесом штаны.
Вот оно, подлое эхо войны.

●

Бабка Полина пошла по малину,
Бабка Полина наткнулась на мину.
Долго мне будут сниться во сне
Ее голубые глаза на сосне.

●

Дети играли в Сашу Ульянова.
Бомбу кидали в машину Романова.

●

Дети в подвале играли в садистов.
Зверски замучен отряд каратистов.

●

Вова в подвале нашел автомат.
Много в подвале осталось ребят.

●

Дети в подвале играли в больницу.
Умер от родов сантехник Синицын.

Рисунок ИВАНА КУЗИНА

●

Маленький мальчик пришел на футбол,
Тихо он крикнул: «Спартак — чемпион!»
Долго пинали мертвое тело.
Никто не вступился: попало за дело.

●

Маленький мальчик нашел кимоно,
Пару приемов он видел в кино.
С криком «кия» и ударом ноги
Папины уши ушли в сапоги.

●

Девочка Маша кинжальчик нашла,
С этой игрушкой к отцу подошла.
Папа зигзагами в лес убежал:
В спине он почуял холодный металл.

●

Девочка Света нашла пистолет.
Больше у Светы родителей нет.

●

Маленький мальчик веревку нашел,
С этой игрушкой он в школу пришел.
Долго смеялись вожатый и дети:
Лысый директор висит в туалете.

●

Девочка в поле гранату нашла,
С этой гранатой в школу пришла.
«Дерни колечко!» — учитель сказал.
Долго над школой бантик летал.

●

Мальчик нейтронную бомбу нашел,
В портфель положил и в школу пошел.
Долго смеялись шутке в РОНО:
Школа стоит, а в ней никого.

●

Черное море, кровавый гуляш.
ТУ-104 врезался в пляж.

●

Ускоренье — важный фактор,
Но не выдержал реактор.
И теперь наш мирный атом
Вся Европа кроет матом.

●

Маленький мальчик нашел «Першинг-2»,
Красную кнопку нажал он сперва.
Долго японцы понять не могли,
Что за грибок вырастает вдали.

●

Дочка полковника именем Надя
Красную кнопку нажала в Неваде.
С ревом из ямы взлетела махина.
Хорошей страной была Аргентина.

●

Девочка Маша — дочь генерала —
Красную кнопку на пульте нажала.
Быстро взлетела ракета «Оскар».
Нет больше острова Мадагаскар.

●

Солдаты на пульте капусту рубили,
Какой-то щиточек нечайно разбили.
Долго смеялись над шуткой в ООН,
В бесплодной пустыне ища Вашингтон.

●

В поле нейтронная бомба лежала,
Девочка тихо на кнопку нажала.
Некому выругать девочку эту:
Спит вечным сном голубая планета.

ВАСИЛИЙ АФОНИН

ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ



Фото НИКОЛАЯ КОЧНЕВА

АФОНИН Василий Егорович родился в сентябре 1939 года в деревне Жирновка Новосибирской области в семье крестьянина. Закончил юридический факультет Одесского государственного университета и высшие литературные курсы СП СССР. Литературой занимается с 1972 года. Печатался в журналах «Наш современник», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «Юность», «Сибирские огни» и других. Издал книги «В том краю», «Клюква ягода», «Вечера», «Игра в лапту», «Чистые плесы», «Подсолнухи», «Сполохи» и прочие. Переведен и издан в ряде европейских стран. Живет в Томске.

Летом я пас коров, а зимой скотником работал, ухаживал за теми же коровами, поставленными в длинные дворы, рубленные из осинника. Утрами, стужа ли каленая, беспросветная ли метель, скотник должен быть затемно на ферме, чтобы успеть до прихода доярок сдвинуть совковой лопатой на проход из-под каждой коровы скопившийся за ночь навоз, вывезти навоз к ручью на отвал и сразу же ехать на сеновал за сеном, а потом к амбарам за комбикормом. Только успел с навозом управиться — доярки приходят, доить начинают, поить, корма растаскивать, раскладывать по яслям.

Коровников на ферме три, телятника три, тут же и конюшня неподалеку. Коров по дворам — сто двадцать и сто пятьдесят голов, стоят они по обе стороны прохода рогами к яслям, каждая на своем месте, привязанные легкими цепями, что ничуть не мешает им ложиться и вставать. Навозу набирается несколько возов утром, столько же вечером. На коровник — два скотника, два скотника и на телятник.

Напарником моим был Вася Шахин, среднего роста, суховатый мужичок лет сорока семи. В обычные дни еще терпимо было, работали, хотя Вася был с ленцой и явно лукавил, но как подступали праздники, то за день-два перед праздниками, сами праздники, день-два после Васю не жди. Зная все это по прошлым зимам, работал один я и за себя и за напарника. Бывает, сделаешь все, рассвет уже полный, осталось лишь до конюшни доехать, лошадь распрячь да и завтракать спешить, а смотришь, Вася идет. Январь, морозы, а Вася в хромовых сапожках, на плечах короткополая «москвичка», шапка с завязанными ушами сдвинута, на шее майский шарф, на руках тонкие, фабричной вязки перчатки. По-иному Вася Шахин одеваться не мог, презирая валенки, полушубки из овчины местной выделки, варежки, потому что Вася не крестьянин, не мужик, а свободный, вольный человек и путать его с мужиками не стоит.

— Ты уже закончил уборку? — спросит Вася, поздоровавшись за руку.

— Все, распрягать еду.

— Не сердишься, что я поздно так?

— Нет, не сержусь.

— А знаешь, почему запоздал?

— Почему?

— Маруська самогонку с утра затеяла гнать. Собрался было на ферму, а она говорит: попробуй, Вась, может, и гнать нет смысла. Разделся, сижу, жду, пока накапает полную кружку. Выпил, чувствую, берет сразу. Гони, говорю, не сомневайся, а я на работу. Только вышел из ограды, а тут брат ее. Куда, спрашивает. На ферму. Маруська самогонку гонит? Гонит. Давай попробуем, а потом и пойдешь. Отказать неудобно, вернулся. Сели за стол, попробовали раз, второй — хорошо. Брат и советует мне: не ходи, дескать, поди уж и без тебя там подуправились. Нет, думаю, надо хоть показаться напарнику.

— Ну, я поеду распрягать, есть захотел.

— Езжай, Дужкин не искал меня?

— Не видел его сегодня.

— Пойду поищу. Ну давай. Парень ты хороший. Когда-нибудь и я тебя выручу, клянусь честью. Знаешь, если вечером меня не будет, то...

— Ладно.

Вася Шахин еще раз пожал мою руку и пошел искать Дужкина, а я тронул рысью коня, пересек ручей, заворачивая к конюшне.

Вася Шахин появился на Шегарке несколько лет назад,

почти следом за Факсютиным, который стал у нас председателем колхоза вместо прежнего, ушедшего по старости. До этого Факсютин работал начальником линейного отдела милиции на одной из железнодорожных станций, водился с преступниками, помогая им, покрывая. Почувствовав, что может вспыхнуть и сгореть, Факсютин подал заявление на увольнение из органов, изъявляя при этом желание поехать в одну из отдаленных деревень области руководителем хозяйства. Просьбу Факсютина удовлетворили.

Человек он был пустой, председатель никудышный, не знал земли, деревни, уклада крестьянской жизни, не шел ни в какое сравнение с тем, кто двадцать пять лет подряд возглавлял до него колхоз. Полгода всего Факсютин пробыл председателем, скоро двенадцать колхозов в верховье Шегарки преобразовали в совхоз с центральной усадьбой в Пономаревке, а Факсютин сделался заместителем первого директора совхоза по хозяйственной части.

Пока Факсютин был в нашей деревне, приезжали к нему время от времени разные люди. Они так же внезапно исчезали, как и появлялись. Но Вася Шахин задержался на Шегарке. Он был одним из тех, кому помогал Факсютин, получая от Васи часть добычи.

Факсютин и в Пономаревке пробыл недолго. В одну из темных летних ночей из совхозной кассы похитили деньги, выданные накануне банком для оплаты рабочим. В двенадцати деревнях доярки, пастухи, механизаторы, конюхи, шоферы и все остальные ожидали зарплату, не получив ее, как было обещано, на следующий день. Сторожу заткнули рот, накрыли мешком голову, связали за спиной руки, ноги связали, так он и пролежал в бурьяне до утра за конторой. Грабители, исходя из здравых рассуждений, были заранее предупреждены о деньгах осведомленным в совхозных делах человеком, имели машину, держались где-то поблизости, в Пиктовке, скажем, ожидая ночи. И дни и ночи стояли погожие, дорога была накатана, никаких следов посетители не оставили, и розыски их закончились безрезультатно.

Месяцев через пять после всего Факсютин уволился из совхоза и уехал. Годы спустя кто-то из шегарских где-то видел Факсютина, одетого в милицейскую форму. Он снова работал начальником милиции.

Вася Шахин, конечно же, знал, а если не знал, то догадывался, кто побывал в Пономаревке темной августовской ночью, но говорить с ним об этом было бесполезно. Вася мирно жил в Жирновке, его, на правах хозяина, приняла Мария Серемина, статная, ухватистая в работе баба, нагулявшая в девках сына, следом сына и дочь, но уже от другого, да так и не вышедшая замуж, но если б кто-то взял ее, хоть не в девках, то лучшей жены и представить себе невозможно. Но судьбу, говорят, и не объедешь, и не обойдешь. Судьба, говорят, сама выбирает.

Мария была умная баба, она прекрасно понимала и видела, кого берет в дом, уж если она обходилась без мужика в тяжкие для нее годы, когда ребятишки были маленькие, то теперь и подавно могла бы обойтись — дети подросли и помогали матери. Но Мария позвала Шахина жить с нею, и он согласился, не раздумывая, потому что лето закончилось, началась с дождями и грязью осень, за осенью, как известно, наступает с морозами и снегами зима, а для Шахина осень и зима были самыми неуютными временами года.

Шахина кормили три раза на день, наполняли по праздникам и помимо праздников стакан, его обшивали и обстирывали, всякую субботу Шахин мылся в бане, на улицу выходил из теплой, прибранной, обжитой избы, в эту же избу возвращался, спать ложился с молодой привлекательной женщиной, что еще... Всего этого Шахин не видел годами, годы складывались в десятилетия... Правда, за все это следовало как-то расплачиваться. Но как, чем? Выяснилось — трудом своим и только трудом. Оказывать необходимую помощь по хозяйству, работать ане дома. Для Шахина это было неимоверно сложно, но уже заморозки схватывали землю, и ему ничего не оставалось делать, как смирить себя. В конце октября, уже по снегу, Шахин определился на ферму скотником, тут я с ним и познакомился.

Мы проработали зиму, и я имел все основания сердиться на Шахина, другой напарник сразу выгнал бы его из скотного двора, но я старался не обижаться на Васю, ворочал и с ним и без него за двоих, мне было интересно наблюдать Шахина, разговаривать с ним, это отводило ссоры. Человеком он был новым в жизни моей, я же взрослел, был любопытен ко всему, и Вася Шахин, сам того не подозревая, многому научил меня, многому давал объяснения...

Весной Вася Шахин ушел. Внезапно. Ушел от Марии, ушел из деревни. Как-то утром явился он ко времени, молчал за работой долго, сено привезли, комбикорм, лошадей отпрягаем, он и говорит:

— Меня завтра не будет, не жди. Один управься. А вообще проси замену. Сегодня же поговори с бригадиром...

— Что с тобой? — спросил я шутливо. — До праздников далеко.

— Дело не в праздниках. — Вася поморщился. — Я решил уйти.

— Как? Куда же ты пойдешь?

— Ну... куда. Куда-нибудь. До города сначала доберусь.

— А там что, в городе?

— Там видно будет. Огляжусь.

— Вот это надумал.

— Надумал верно. Весна, тепло уже. Не могу больше... потянуло.

— Чего же тебе не живется у нас?

— Понимаешь, не привык я к такой жизни. Не жил никогда так. Ну что за жизнь... как на привязи. И одна работа — больше ничего. Кроме работы, ничего не видать. Работай дома, работай на ферме. Возьми Марию... Встает затемно, затемно ложится. Дома управится — бежит на телятник. Из телятника прибежала — опять домашние дела. Вечер — заново телятник. И каждый день, и каждый день, и год за годом, и год за годом. Что — до смерти так, до могилы?

— А как же иначе? — возразил я, удивленный. — Все по деревням так живут. Скот надо держать? Надо, он кормит. Надо ухаживать за ним. Огород надо садить? Надо, и огород кормит. Потому и обрабатывают его. Деньги нужны? Нужны, но их нужно заработать. Вот и идут на ферму в совхоз — доярками, скотниками, на телятник...

— Да я никого и не осуждаю, — сказал Вася, — ни баб, ни мужиков. Живут и живут. Это их жизнь, их дело. Я о себе говорю, не по мне все это. Гляди, вот май подступит, и... начнется. Огороды пахать, под грядки копать. Картошку посади, прополи ее, окучь опять же, а осенью выкопай. А сенокос! Это дома, но и в совхозе необходимо. Что ты летом делать станешь?

— Как что?! То же самое, что делал прошлым летом.

— Ну вот — пасти. Комар, паут, мошка. Представь меня пастухом. Да лучше...

— Почему же ты остался осенью?

— Это другое дело. Зиму надобно было переждать. Зимой бесприютно. Летом на любой скамье в парке, в пустом вагоне товарном, просто на траве можно ночь переспать. А зимой?!

— Где же ты до этого зимы пережидал?

— В Узбекистан уезжал. В Туркмению. Там и зимы, почитай, не бывает. В Сибири в феврале вьюги, а там деревья цветут. Сколько я объездил, обходил за свою жизнь. Каких мест не повидал...

— Интересно?

— Еще бы. Знаешь что, пойдем со мною, — вдруг предложил Шахин.

— Да ты что, Вася, — растерянно произнес я. — Как это — уйти?

— Очень просто. Ушли, и все. Свет белый покажу.

— Нет, не смогу я.

— Вот видишь. Тебе и восемнадцати нет, а ты уже ко двору этому привязан. С пятнадцати лет пасешь. Так и будешь до старости лопатой навоз загребать. Дальше рай она не...

— Почему... до старости... навоз лопатой, — возразил я. — Могу свободно уехать, никто меня не держит. Живу пока с родителями. Сам видишь, отец без ноги, тяжело им будет с матерью без меня. Тот же и сенокос. И с огородом. Вот вернется брат со службы, тогда...

— Как знаешь, — сказал Шахин, — а я бы тебя...

— Допустим, я уйду с тобой, — продолжал я. — И что же мы будем делать?

— Не бойся, не пропадем. Клянусь честью.

— Но работать-то все равно нужно. Не на ферме, так... Кто же нас кормить станет? Не милостыню же по дворам...

— Не беспокойся, Вася Шахин нигде никогда не работал в жизни своей. Разве что в лагерях, да и то... Это здесь я навоз ковыряю, деваться некуда. Ну да не много и переработал.

— Но жить-то как? — не унимался я.

— Проживем лето, у меня запас есть.

— Какой запас?

— Ну... какой. Белье. Рассказывал же...

— А-а...

— Одних пододеяльников пятьдесят четыре. А простыни! Я и не считал их. Наволочки, полотенца, кальсоны, рубахи. Пижамы еще. Припрятано, никто не разыщет. Продать — надолго хватит.

— Хорошо, продашь это, а дальше?

— Вот заладил. Дальше... Откуда я знаю? Соображать станем.

— Ну-у. — Я засмеялся.

— Смеется он. Ему как человеку...

— Нет, Вася. Никуда я не пойду, не сердись.

— Дело твое.

— Зря ты затеял все это. Жил бы да жил. Маруська — баба хорошая, — сказал я по-взрослому.

— Маруська — баба хоть куда. Жалко ее. Тянет, как кобыла запряжная. Одежда навозом пропахла. Вернется с работы, войдет в избу, запах — будто в телятнике, не продохнешь.

— А что делать, — опять сказал я, как говорили наши родители.

— Ничего не поделаешь. Да я, глядишь, вернусь к ней осенью.

— Ой ли?

— А что? Не найду лучшего места — вернусь, клянусь честью. С тобой же и работать станем. Не бери никого.

— Возвращайся.

— Ну будь здоров, пойду я.

Шахин протянул руку, повернулся и пошел, а я долго смотрел ему вослед. И грустно было мне что-то.

Весна проплыла своим чередом, подступило лето. В последних днях сентября, как выкопали уже картошку и обваливали завалинками избы, готовясь к зиме, в деревне появился Вася Шахин. Возвращение его было удивлением для деревенских, для меня самого, но еще больше для Марии. Прошагав сквозь всю деревню, Шахин направился прямо к избе Марии, и она впустила его. Где он был, чем занимался, никому ничего не было известно. И опять работали мы с ним скотниками, ездили в лес за дровами, обедали друг у друга, опять за два дня до праздников надевал Вася хромовые сапоги...

Так продолжалось года четыре: весной Шахин исчезал, осенью заявлялся, шел к Марии, и ни разу она не отвернулась от него. Из разговоров с ним я знал, что родился Шахин в степном селе под Семипалатинском, дед его был ямщиком, отец мельником. В школе Вася окончил пять классов, после чего увезли мальчика в Семипалатинск, в другую школу, фабрично-заводского обучения, учиться ремеслу. В городе Вася сделался карманным вором. Попадался, били, отпускали по малолетству. Снова попадался. Лет с девятнадцати он оставил карманы, стал вором бельевым, и белье кормило его почти до пятидесятилетнего возраста. Белье Шахин воровал в больницах, детдомах, школах-интернатах. Заметив днем или вечером, что в больничной ограде развешано по бечеве белье, Вася ночью снимал его, сворачивал, складывал в мешки. Если мешков не было, срывал бечеву, связывал белье, унося на плечах. Украденное сдавал перекупщикам, те продавали. Трижды за жизнь свою Вася сидел, давали год, полтора. Выходил, начинал все заново, сбывал по знакомым адресам.

Он был один у родителей, мать умерла рано, когда умер отец — Шахин не знал. С тех пор, как увезли его в Семипалатинск, на родине Вася Шахин не был. Ни семьи не завел, ни дома.

— Не-ет, Вася не дурак, — говорил мне Шахин, — я свои привычки менять не собираюсь, клянусь честью. Другие вон: разбой, кражи в особо крупных размерах, грабеж. Разве это работа? За серьезные дела по-серьезному и отвечать. То ли дело белье. Риска почти никакого, зато всегда сыт и навеселе. Зацепят если — много не дадут. Попадался, не скрою, но, представляешь, всякий раз везло: судили по осеням. Осень-зиму в лагере. Оденут тебя, накормят, спишь в тепле. Ни о чем думать не нужно. А за разбой — ого! Знавал я таких, кто этим...

— И не надоела тебе, Василий Софроныч, такая жизнь? — спросил как-то Шахина мой отец, когда мы обедали у нас.

— Ни на какую иную не променяю, — живо повернулся к отцу Шахин. — Ни на какую иную, Егор Михайлович, клянусь честью. Вольному воля, как говорят. Что хочу, то и делаю, сам себе хозяин. Учился я, скажем, на слесаря. Пойди на завод, одно и то же. По часам ложись, по часам вставай, чтоб не опоздать на смену. Трясись над рублем от зарплаты до зарплаты. Врагу лютому не пожелаю такой жизни...

Отец мой улыбнулся.

Дружил Шахин с Иваном Дужкиным. Когда Вася Шахин остался у Марии в первую осень, Дужкин еще не жил в нашей деревне. Он был родом юрковский. Возвращаясь со службы, Иван на одной из станций, выскочив из вагона в буфет, заспорил в очереди с солдатами другой части, едущими в обратную сторону. Завязалась драка, Ивана взяли прямо на перроне, и приезд его домой затянулся еще на два года. Дома Ивана ждали мать, братья, сестра. Отец его погиб на фронте.

Девок в Юркове не было, не было вдов, желающих замуж, и Иван стал приходить вечерами в нашу деревню, ухаживать за Нинкой Панкиной, родившей лет в семнадцать дочь от своего же деревенского парня. Рослый, очень крепкий, с белозубой, немного жутковатой улыбкой, Иван нравился Нинке. Веяло от него бесшабашной удалью. Иван просто не знал, куда расходовать свою молодую силу.

Первый раз Ивана Дужкина увидел я у Панкиных, гуляли у них. Весна была, апрель, какой-то праздник, тепло по-летнему. Растаяли снега, неделю назад прошел лед, разлившаяся Шегарка еще не успокоилась, вода была холодная, мутная, закручивалась на быстрине пенными бурунами. Гости из-за стола на улицу выбрались, играла гармошка, плясали подле крыльца, выкрикивая припевки.

Панкины жили на правом берегу, высоком, а мы напротив их, на левом, пологом, в избе, купленной у Самариных. Мать наша лежала в больнице, отец сидел под окнами на завалинке, глядя на гулянье, а я, придя на выходной из интерната, играл на крыше двора на сене со щенком, взятым у одного вдовинского учителя.

Иван Дужкин спустился к речке, долго стоял у кромки воды, глядя на свивающиеся водовороты, потом поднял голову, увидел отца моего и крикнул ему, приложив ко рту ладони:

— Егор Михайлович! А, Егор Михайлович!

— О-о, — отозвался отец.

— Ты чего сидишь там один?!

— Сижу... греюсь. Тепло.

— Тебя что, разве не пригласили?

— Как не пригласили, пригласили. Да идти-то... По мосту далеко, грязно. И напрямую не перебраться никак.

— Я тебе сейчас, Егор Михайлович, выпить принесу. Все гуляют, а ты...

— Да зачем обходить такую даль? Мост — он вон аж где.

— А я и не думаю по мосту. Через речку.

Отец не успел что-либо сказать, Иван вернулся в избу, взял со стола графин с домашним пивом, вогнал поплотнее пробку, захватил полную холодца алюминиевую тарелку, воткнул в холодец две вилки, сбежал с берега и

ступил в воду. Не понимая ничего, от крыльца гости следили за Иваном. Иван был в сапогах, брюках и пиджаке, надетом на сатиновую праздничную рубаху. Продвигаясь осторожно, он прощупывал правой ногой дно. Руки его были подняты, в правой Иван держал графин, в левой тарелку с холодцом. Когда вода скрыла плечи, Иван перехватил левой графин, лег на правый бок и поплыл, загребая одной правой рукой. Гости, сама Нинка, родители ее молчаливо наблюдали за Иваном. Доплыв до левого берега, Иван выбрался, оскользаясь. Вода стекала с него, хлюпала в сапогах.

— Иван, как же так?! — воскликнул отец. — Простудишься ведь!

— Не простужусь. Держи, Егор Михайлович, праздник отметим. А я мигом. — И он повернул к речке.

— Да куда ты опять?

— Стаканы забыл.

— Стаканы и у нас есть.

— Верно, — засмеялся парень. — Неси.

Помню Ивана Дужкина участником майского концерта. В перерыве между пьесой и хоровым пением в тех же сапогах, пиджаке и брюках, что плавал по речке, подстриженный и выбритый, Иван стоял на сцене и читал стихи:

— Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить...

Читал Дужкин складно, только громче нужного. От смущения, видимо. Это Нинка втянула его в самодеятельность. Оиа пела в хоре. С концертом ездили в Пономаревку на центральную усадьбу совхоза, выступали во Вдовине, всюду Ивана хвалили за чтение стихов. Вскоре они с Нинкои поженились, отошли в пустующую избенку в северном краю деревни. Иван работал ездовым на лошадях, Нинка дояркой на ферме. Дочь Нинкина жила большей частью у ее родителей.

С Васей Шахиным подружился. И разница в возрасте была ощутимая, лет в двадцать, а что-то вот сближало их. Смотришь, все вместе. На улице. От Дужкина вышли, к Шахину направились. От Шахина — и к Ивану. На ферме друг друга поджидают, если кто раньше работу закончил. Иногда к ним присоединялся конюх, Ефим Родионович Малянов. Малян, как звали его деревенские, человек темной глубины. Побывавший в годы коллективизации на Колыме, он вынес оттуда чуждые деревне привычки. Малян был старше Васи Шахина, с Васей застолья у них кончались миром, колымскими песнями, но с Иваном случались схватки. Иван пробовал на Маляне свою удаль, однако всегда был бит. И сила была, и ловкость, а вот...

Так мы и жили. По веснам Вася Шахин покидал нас, осенями возвращался. Летом пас я коров, как обычно, Иван Дужкин работал на лошадях, Малянов конюшил. Иван явно скучал по Шахину, часто повторяя:

— Вот придет Вася. Вот придет, мы с ним тогда...

Вася приходил, они радостно встречались, гуляли у Марии, гуляли у Ивана, Ефим Родионович приглашал их. Но один раз Шахин ушел и не вернулся. Ждал его Дужкин осенью, ждал весной. И следующая подступила осень, Шахин не показывался. Канул Василий Софроныч.

— Скучаешь небось по Ваське? — спрашивали Марию доярки. — Ждешь?

— Как с мужем жила, — отвечала Марня. — А он...

Дужкин затосковал без приятеля. Все чаще видели их с Маляновым, белозубая улыбка Ивана во хмелю была еще более нехороша. Вот опять схватились они, и снова Иван был побит. В те же дни у Ильи Ивановича Ветлугина, управляющего жирновской фермы, было столкновение с Маляном. Управляющий на лошади, запряженной в легкий ходок, поехал проверять хлеба и сенокосы, смотрит, за Святой полосой Малянов косит для себя и порядочно уже выпластал, на добрый стог.

— Ефим Родионович, что это ты делаешь? — спросил Ветлугин, подъехав.

— Траву кошу, не видишь разве, — отвечал Малян, не останавливаясь.

— А кто тебе разрешил? Сенокос совхозный. Кто разрешил тебе выкашивать многолетние травы?

— Я сам себе разрешил. На кой... мне чье-то разрешение.

— Что же ты на своем сенокосе не косишь?

— Трава не выросла, вот и не кошу.

— Родионыч, перестань, добром прошу. Все одно смечем в совхоз.

— Я наперед тебя смечу.

— Сметанное заберем.

— Нет, не заберешь.

— Заберем, попомни мои слова. Пропадут твои труды.

— А-а, заберешь! Я тебе заберу, твою мать!

Догнав ряд до телеги, стоявшей на краю поля, он бросил литовку, схватил лежавший в телеге топор, вскинул, и — на управляющего. Он-то думал, что Ветлугин испугается, прыгнет в ходок, понужнет лошадь да и бежать. Но тот оказался не из пугливых, тоже был мужик себе на уме. Шагнув к ходку, Ветлугин взял мелкокалиберную винтовку, которую постоянно возил с собой, вскинул ее и прицелился конюку в лысый, вспотевший от косьбы лоб. А стрелял хорошо, спичечный коробок сбивал с полена на сто метров. Саженей двадцать всего разделяло их, конюх остановился, мокрое лицо его было напряжено.

— Родионыч, — предупредил Ветлугин, — сделаешь еще шаг, стреляю.

Конюх молчал, держа топор наотмашь. Ветлугин не опускал ружья, руки его начали подрагивать. Вот Малян повернулся, перекинул топор в левую руку и пошел к телеге, ругаясь. Ветлугин положил винтовку в ходок, сел, тронул вожжами коня.

— А что, Илья Иванович, — спрашивал я Ветлугина лет тридцать спустя, когда уже Малянова давно не было в живых и сам бывший управляющий состарился. — А что, на самом деле выстрелил бы тогда в Малянова, кинься он с топором? Или попугать?..

— И не задумался бы.

— Так ведь тюрьма.

— Ну что же... Чему быть, как говорится, того не минуешь.

— А как же сенокос?

— Не косил больше. Подсохло, сгребли, сметали в совхоз. Да мы потом разговаривали с ним, будто ничего и не случилось. В гости приглашали друг друга. Никто из деревенских так и не узнал о том, что произошло на Святой полосе. Ни я никому не рассказал, ни он.

На переломе лета в осень исчез Иван Дужкин. Он исчез в ночь, загулял с вечера да так и не пришел домой. День нет, второй, неделю. Стали искать. Кто-то вроде слышал глубокой ночью чей-то крик на мосту или близ моста. Кто-то, выйдя среди ночи из избы, слышал чьи-то тяжелые шаги от речки к лесу, в конце улицы. Похоже, Малян прошел. А может, и не он, просто показалось. Приезжал милиционер, расспрашивал многих, побывал у Маляновых, осмотрел избу, постройки надаорные, в нескольких местах лопатой копал в огороде. Уехал.

Через месяц Иван Дужкин всплыл под тальниками, нависающими над водой, напротив бани Ивана Серегина, построенной на правом берегу. Дужкина вытащили, он разбух, голова его была проломлена. Опять вызывали милицию, приезжали на этот раз трое, один из них — врач. Ивана похоронили на юрковском кладбище...

Ефим Родионович Малянов жил еще несколько лет, потом захворал вдруг, чахнуть стал, недолго и похворал, умер. Говорили, что его, перехватив за Пономаревкой, когда Малянов один возвращался на конной подаоде домой, избили братья Дужкины, отбив внутренности. Вероятно, был он сильно пьян, либо внезапно выскочили из кустов, а иначе не устоять бы им и вдвоем, хотя были братья ребята проворные, особенно младший...

Рассказанное — всего лишь небольшой отрезок из жизни родной деревни, малая часть того, что случилось в ней на моей памяти. Из дали прожитых лет, в нескончаемой веренице дней, событий и лиц, иногда проступают явственные фигуры... Тихий Шахин, бредущий по дороге в город, белозубый Дужкин, читающий на клубной сцене стихи, непредсказуемый Малянов, вскинувший топор. И не находится во мне силы ни осуждать, ни оправдывать их...

ВРЕМЯ

Идеи. Диалоги. Поиски.

Знакомство с документальной эпопеей Олега Васильевича Волкова «Погружение во тьму» убедило меня в том, что русский компас не разбит. Его стрелка и в космосе зла строго ориентирована на идеал Всечеловеческой любви и добра. По моему глубокому убеждению, Олег Васильевич один из самых православных писателей нашего столетия. Его абсолютный эстетический вкус мог бы служить живым эталоном для восстановления духовной ориентировки в условиях психофашизма (термин болгарского ученого Тодора Дичева), который нам выдается за плюрализм.

Не все знают, что первое издание книги «Погружение во тьму» вышло в 1988 году в Париже. Даже в перестроечные годы она не смогла выйти в Советском Союзе в полном объеме, без цензурных и редакторских купюр. Внимательный читатель наверняка обратил внимание на примечание от редакции в книге «Век надежд и крушений», изданной в 1989 году «Советским писателем»: «В сборнике, издаваемом к 90-летию Олега Васильевича Волкова, воспоминания «Погружение во тьму» печатаются с некоторыми сокращениями по согласованию с автором». Так вот, ныне можно уже объяснить, что это были за «сокращения»: из книги изъяты все мысли Олега Васильевича Волкова о Ленине и ленинизме, о революции и большевизме, вымарано слово «чекист», иными словами, все то, ради чего и писалась эта книга, как итог почти двадцати восьми лет тюрем, лагерей, ссылок.

Помимо названных сокращений в совписовском варианте допущено более полусотни досадных опечаток. Выпущенная следом «Товариществом русских художников» документальная эпопея «Погружение во тьму» тоже остается текстологически неполной. Зато она впервые иллюстрирована семейными фотографиями рода Волковых. Учитывая всенародный интерес к творчеству писателя, издательство «Современник» заключило с ним договор на *идеальное* издание «Погружения во тьму». Оно же намерено выпустить в свет книги Волкова о Москве и Петербурге в спаренном варианте, но, к сожалению, ничтожным тиражом — всего десять тысяч!! Истинные ценители литературы помнят предыдущие издания Олега Васильевича Волкова «Последний мелкотравчатый» (1957), «В тихом краю» (1959), «Родная моя Россия» (1970), «Чур, заповедано!» (1976), «В конце тропы» (1978), «Случай на промысле» (1980) и другие, посвященные охоте и защите природы, памятников истории и культуры. «Все мое прошлое, — рассказывает писатель, — приготовило меня к вступлению в ряды защитников природы: юность, связанная с деревней, охота и — крепче всего — годы, научившие видеть в окружающем мире живой природы утешение и прибежище, нечто, не причастное человеческой скверне». От этого людского осквернения он и стремился спасти природу, принимая самое деятельное участие в борьбе за Байкал, за спасение северных рек, получив признание на этом благородном поприще, в какой-то степени удаленном от чисто политических страстей. Во всяком случае, ни в 60-е, ни в 70-е годы Олег Васильевич Волков не принадлежал к тем «глашатаям гуманности и человечности», которые, по его словам, «умеют вовремя перестраиваться с тем, чтобы всегда оставаться на плаву». Пришли 80-е, и они вновь перестроились, став из ярых коммунистов столь же ярыми антикоммунистами, из душителей демократии и свободы — глашатаями оных. В этом отношении Олег Васильевич Волков за всю свою долгую жизнь ни разу *не перестроился*, не изменил исповедуемым заветам русской православной духовности, воплощенной в гуманном примере наших земских деятелей эпохи Великих Реформ. Он не принял путь революционных преобразований России, путь насилия и террора. Ни два срока на Соловках, ни другие испытания сталинского ГУЛАГа, начавшиеся для него еще в 1928 году, не сломили этой убежденности. В 70-е годы, когда на «лагерную тему» наложили табу, он решил рассказать о пережитом...

Кому-то, видимо, придутся не по душе его высказывания о революции и революционерах: «Они приехали в

Олег Васильевич Волков.

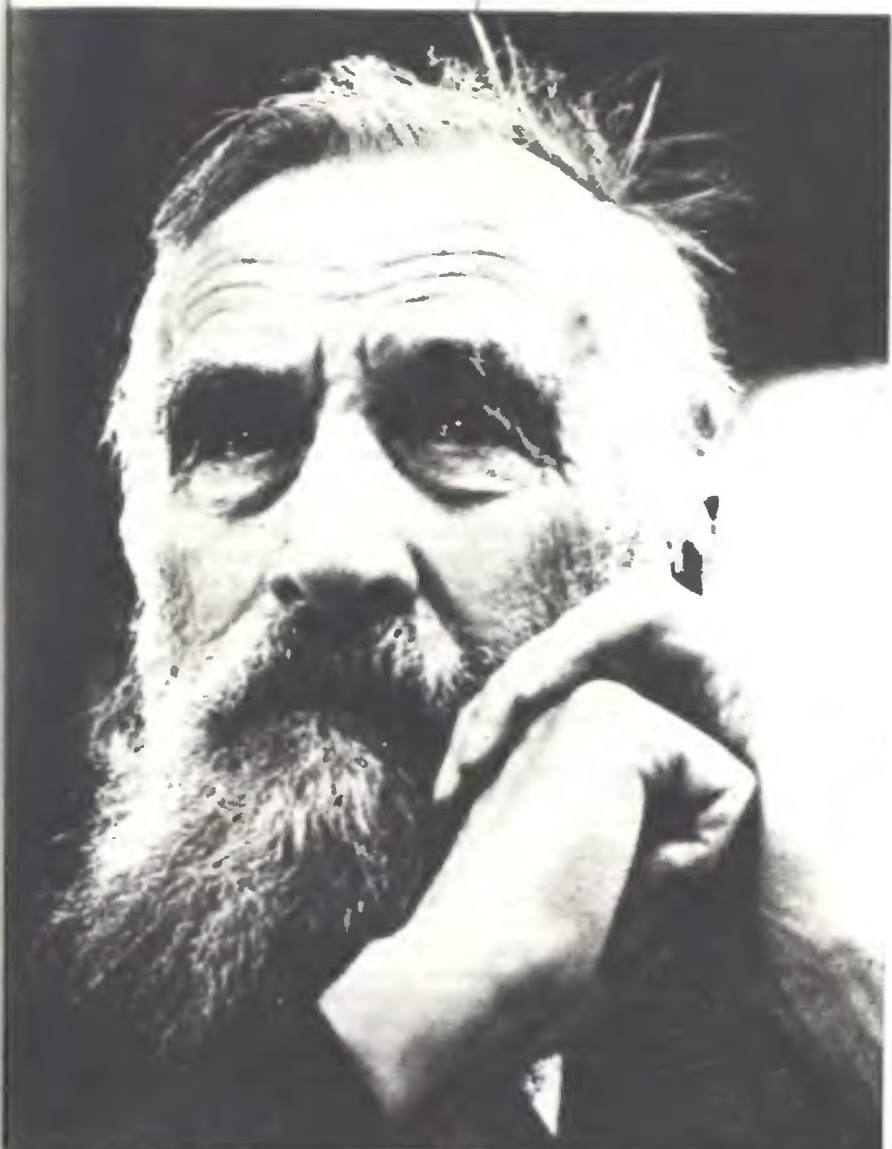


Фото Н. МИХАЙЛОВСКОГО

Россию, не зная русского народа, зараженные слепой ненавистью ко всему русскому. Они ненавидели наше православие, наш царский строй, русских дворян, русских крестьян ненавидели все эти Свердловы...» Да, Олег Васильевич Волков не принимает революцию классовой ненависти, считая ее главным виновником всех постигших Россию бед. В этом он непреклонен.

Сам Олег Васильевич относится с недоверием к тому, что истина для многих открывается только в наши дни, будто не было «Бесов» Достоевского и Петра Степановича Верховенского, в котором, как он считает, гениально угадан вождь Октября. «Кто, внимательно прочитавший описание убийства Шатова, — пишет О. В. Волков в статье «Аминь, аминь, рассыпься!..», — не поразится его сходством с расправой над царской семьей? Она не только покончила с монархом, его семьей, приближенными и слугами, но связала ответственностью за Екатеринбургское злодейство всех кремлевских заправил! Они неотмываемо запятнаны пролитой кровью. Тревога народной совести не улеглась и ждет искупления... То был пролог к развернувшемуся беспощадному террору, уничтожившему миллионы ни в чем не виноватых людей, продиктованному стремлением запугать, внушить страх и послушание».

Слушая Олега Васильевича, я вспомнил сказанное им однажды: «В газете сообщают о реабилитации уже двух миллионов невинных соотечественников, но ни одного палача еще не судили! А ведь они ходят между нами по названным именами убийц улицам и площадям. Какое испытание для нашего народа!»

Критическая настроенность к происходящему в стране всегда определяла и сегодня определяет жизнь писателя. Это касается не только глобальных исторических трагедий, но и, казалось бы, таких «мелочей», как обложка самого «передового» перестроечного журнала. Никогда не забуду, как застал Олега Васильевича, словно ужаленного ядовитой змеей. «Что с вами?» — «Вот, — он протянул мне «Огонек», на обложке которого были изображены человеческие внутренности, «Анатомический разрез», — какая гадость издавать это сегодня миллионным тиражом», — повторял Олег Васильевич, не слыша меня.

Подобные «гадости», выдаваемые за чувство свободы и гласность, могут сейчас убивать, но уже не физически, а духовно. Все это тоже беспокоит ныне девяностолетнего писателя, не утратившего веру в чистоту Природы и человеческой Души.

В январе этого года общество «Энциклопедия Русских деревень» (оно имеет счет № 17000В в Бауманском отделении Жилсоцбанка г. Москвы) провело вечер в Юсуповском дворце (ВАСХНИЛе), посвященный 90-летию Олега Васильевича Волкова. Соотечественники, наверное, помнят этот вечер по телевизионной передаче, в которой прозвучали слова благодарности и восхищения о юбиляре. Вот только саму его юбилейную речь так и не услышали телезрители. Более того, ни одно из отечественных изданий до сих пор так и не осмелилось опубликовать это выступление старейшего русского писателя. Потому сегодня я и решил предложить его для публикации в «Слове».

ГРИГОРИЙ КАЛЮЖНЫЙ

речь в юбилейный день

ОЛЕГ ВОЛКОВ

ЧТО НАС ОЖИДАЕТ

Мне кажется, что в нынешние времена огромное большинство наших сограждан задумывается над вопросом: что нас ожидает впереди? Сбудутся ли надежды, возлагаемые на объявленные перемены и реформы, призванные предотвратить надвинувшуюся на страну катастрофу и покончить с командно-административным режимом? И оправданно ли притязание КПСС на ведущую роль, поскольку становится все очевиднее ее банкротство, провал едва ли не во всех областях жизни страны? Мне лично кажется, что накопленного опыта достаточно, чтобы решительно заявить, что партия большевиков за семьдесят два года своего правления преуспела более всего на поприще репрессий, подавления, внушения страха, утверждения лютого единовластия, разжигания розни и ненависти, возведения «товарища маузера» в ранг судьи и высшего распорядителя жизни, своими хозяйственными опытами не раз доводила страну до кризисов, а ныне погрузило ее в беспрецедентный хаос и разорение? Власть, правда, заботилась об арсеналах — вплоть до остро отточенных саперных лопат: содержание отрядов вооруженных до зубов янычар — первейшая, неотъемлемая забота любой диктатуры!

«Перестроек», «переделок», новых курсов и обещаний «перегнать Америку» было испробовано бессчетно. Предостаточно вводилось дилетантских проектов, объявляемых спасительными для народа и хозяйства, так что в этом контексте нынешняя перестройка выглядит всего-навсего очередным экспериментом — как всегда дорого обходящимся стране. Словом, давно настала пора во всеуслышание признать, что на МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОМ ФУНДАМЕНТЕ НИЧЕГО РЕАЛЬНО ПРОГРЕССИВНОГО, СУЛЯЩЕГО ЛЮДЯМ ДОСТОЙНУЮ ОБЕСПЕЧЕННУЮ ЖИЗНЬ ПОСТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ! ВООРУЖИВШИСЬ ЗАВЕТАМИ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ, СПОСОБНО ТОЛЬКО МНОЖИТЬ ОСТРОВА АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ, ОТЛАЖИВАТЬ КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ЗАПУГИВАТЬ ДО СТОЛБНЯКА, РАСТИТЬ ПОКОЛЕНИЯ ОПУСТОШЕННЫХ, УТРАТИВШИХ ВЕРУ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОБРОЕ НАЧАЛО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ЗВУЧАТ ТАК ФАЛЬШИВО И ЛИЦЕМЕРНО ВВОДИМЫЕ НЫНЕ В ОБИХОД, С СЕМНАДЦАТОГО ГОДА ОСМЕИВАЕМЫЕ, КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ ВЫТРАВЛЯВШИЕСЯ ПОНЯТИЯ «МИЛОСЕРДИЕ», «СОСТРАДАНИЕ», «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» и т. д.

Большевики спокон века внушали классовую ненависть, подозрительность, отвращение к христианским добродетелям... Да и творилось ли когда добро окровавленными руками?

Досадно глядеть на нынешнюю возню с полумерами и робкими реформишками, какими занялись ратоборцы перестройки, особенно в области сельского хозяйства: стали лечить примочками раковую опухоль! Примериваются: не сдать ли землю в аренду единоличникам, оставляя при этом ее распорядителями колхоз или совхоз? Или возродить нечто вроде НЭПа — крохотного НЭПёнка! — однако с тем, чтобы не смахивало чересчур на частную собственность... Не то рекламировать семейный подряд... в общем что-нибудь «и нашим и вашим», с непременным душком социализма... И подобными методами тщатся спасти земледелие страны!

На эти выдумки и эксперименты тратится бесценное время, они сбивают с толку, дело топчется на месте, кризис усугубляется, поток зерна из-за рубежа не иссякает. Страна скатилась в бездонную долговую яму, да и испаряется вера смельчаков, взявшихся было растить бычков, строить теплицы и т. д. Словно руководству неведомо, что раскулачивание и расправа с нэпманами крепко сидят в народной памяти и вера в приманки и посулы власти куда как непрочна! Пришлось туго — заманивают, чуть полегчает — ограбят и уничтожат...

Пора, думается, осознать, что спасение страны в ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ, В СДАЧЕ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ, С КАКИХ БОЛЬШЕВИКИ ШТУРМОВАЛИ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Противопоставить ей что-либо пригодное для устроения жизни не удалось... да и не могло удаться!

Вот уже три четверти века большевики требуют, чтобы народ признал какую-то их «правду», твердят, что построят «социализм», хотя и сами достаточно смутно себе представляют — что это за штука! Не пора ли сделать вывод, что ПРИ ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКОМ ПРОГРЕССИВНОМ НАЛОГЕ, ПАРЛАМЕНТСКИХ ПОРЯДКАХ (исключающих бессудные расправы, институт заложников, зависимость судей и т. п.) ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН, КОНТРОЛЬ ЗА ВЫБОРНЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ, МИР И ДОБРОСОСЕДСТВО, и перестать делать из нее жупел?

И — что немаловажно! — покончить со словесным разливом: от него поташнивает... Им подменили конкретную деятельность!

В стране уже тлеют очаги пожаров великой смуты, аналогичной той, что едва не погубила Русь в начале XVII века. Мы допустили столько промахов и преступлений, столько нагрешили, так дотла разорили крестьянство, истребили столько выдающихся людей во всех слоях общества, что нельзя надеяться, чтобы Провидение сжалилось и послало нам новых Святого Сергия, Минина и Пожарского... И всё же... и всё же: нельзя ли надеяться, что не истекли последние часы и минуты, когда еще не поздно остановиться на краю бездны и предпринять ПОЖАРНЫЕ меры, способные спасти страну?

Думаю, что в первую очередь следует без проволочек и благонамеренной болтовни провести выборы в УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ —З-Е-М-С-К-И-Й С-О-Б-О-Р путем, исключающим преимущества для обанкротившейся партии большевиков. Нынешние выборы нельзя признать действительными, поскольку на них коммунисты обеспечили себе большинство.

Надежды вселяет как раз то, несмотря на несправедливость порядка выборов, что в Верховный Совет удалось все же просочиться депутатам дельным и честным, не зараженным подхалимством и алчностью, мыслящим патриотично, и компетентным. Они знают — что делать будущему парламенту и назначенному им правительству для СПАСЕНИЯ РОДИНЫ!.. Войдя в него, они не станут оглядываться на архонтов из ЦК и Политбюро! Им можно будет верить, положиться на то, что они понемногу наладят жизнь НА НАДЕЖНОМ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ФУНДАМЕНТЕ, уверенно и смело направят страну, ее экономику и уклад по верному пути, возвратят народу давно утраченное благополучие и достоинство, помогут забыть о десятилетиях произвола, ставшего синонимом диктатуры пролетариата.

Стране пора занять свое былое почетное место в семье народов, побороть всестороннюю отсталость и навсегда избавиться от диктаторов всех мастей и их вдохновителей, учеников и последователей — всевозможных Марксов и Лениных, Сталиных и Гитлеров. Человечество должно навсегда, на веки вечные запомнить пролитую ими кровь в двадцатом веке: КРАСНЫЙ ФЛАГ НЕСЕТ НАРОДАМ СМЕРТЬ, НЕВОЛЮ И РАЗОРЕНИЕ — ЕГО ПОДНИМАЛИ НА СВОИХ КОРАБЛЯХ РАБОТОРГОВЦЫ!

Январь 1990 г.

микрорецензии

РУССКИЕ ФАМИЛИИ

От автора

В настоящей книге ставится задача исследовать современную систему русских фамилий в морфологическом и семантическом аспектах. Поскольку эта система является итогом длительного развития, необходим анализ исторических данных всякий раз, когда они способствуют лучшему ее пониманию. Настоящая книга, однако, вовсе не претендует на то, чтобы стать историей русских фамилий.

Материал для книги подбирался из разнообразных списков фамилий, таких, как адресные книги, указатели, библиографии. Особенно полезны оказались петербургская адресная книга («Весь Петербург», 1910 г.) (см. с. 312), а также удобные указатели к «Летописи журнальных статей». Разумеется, из всех фамилий, зафиксированных в названных источниках, можно было учесть только часть, поэтому перечень фамилий, вошедших в данную книгу, является очень выборочным: были отобраны только те, которые иллюстрируют специфические типы или черты современных русских фамилий; будучи репрезентативными, они не исчерпывают всего многообразия. В книге приведено свыше 10 тысяч фамилий.

Литература о русских фамилиях достаточно обширна, но она не содержит обобщающих работ, подобных тем, что написаны о чешских, польских или украинских фамилиях, не говоря уже о богатой западно-европейской ономастической литературе. Поэтому настоящая книга — это как бы первый опыт со всеми присущими первому опыту изъянами. К ним можно отнести неадекватность в приведении фактов, неравномерность при рассмотрении различных аспектов и, наконец, множество вопросов, оставшихся открытыми. Но начало должно быть положено. (...)

В создании настоящей книги сыграли большую роль советы и замечания моих коллег и друзей. Автор особенно благодарен своему оксфордскому коллеге Джону Симмонсу за бескорыстную помощь. Он прочитал всю рукопись, указал на многие непоследовательности и пропуски, внес улучшения в структуру книги и, кроме того, придал силу и точность моему нетвердому английскому языку. Терпеливо занимаясь неблагодарным и требующим много времени делом, любезно помогая мне, он поддерживал нередко угасавший во мне энтузиазм.

Хочу также выразить искреннюю признательность и другим коллегам, чья великодушная помощь помогла избежать ошибок в разделах, где рассматривается ономастика незнакомых мне языков — особенно проф. Моше Альтбауэру, проф. Арашу Борманшинову, покойному проф. Давиду Джапаридзе, докт. Кире Эриксон, докт. Константину Храмову, проф. Валентину Кипарскому, проф. Карлу Менгесу, г-же Хасмик Мамиконян, покойному проф. Григорию Нандришу, проф. Энтони Салису, проф. Георгию Шевелеву и докт. Виктору Ващенко. Моя жена оказала ценную помощь в трудном деле — расстановке ударения в русских фамилиях.

От редакции.

Можно только сожалеть, что подобной книги не появилось у нас. Хотя при повсеместном попрании всего русского вряд ли такая книга могла родиться в родной стороне. Но тем назидательнее печальный урок, тем настойчивее надлежит нам всем утверждать свою историю, свои корни, свои обычаи и добрые нравы...

Унбегаун Б. О. РУССКИЕ ФАМИЛИИ. Пер. с английского Куркиной Л. В., Нерознака В. П., Сквайрс Е. Р.— М.: Прогресс, 1989.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ГРИМАСЫ ОБРАЗОВАНЩИНЫ

Лет двадцать назад Александр Исаевич Солженицын метким словом «образованщина» окрестил слой людей достаточно образованных, но духовно нищих, равнодушных к проблемам собственного народа. Образованцы лишены понятий чести, достоинства. Присягнув какой-нибудь партии, группе, общественному движению, они не церемонятся со своими оппонентами. По части приемов передергивания, фальсификации, заимствования — нет им равных. Они легко меняют принципы, идеи, не говоря об идеалах, которые попросту отсутствуют. Они могут быть правыми, левыми, никакими — как будет удобнее.

Поражает их полное отсутствие интереса к диалогу, к разговору по существу проблем. Их цель — в бой не влезать, но задеть побольнее. Попробую показать на примерах последнего времени, как достойные представители образованщины стараются ошельмовать своего оппонента.

Ситуация первая. Сначала на страницах «Литературной России», затем в журнале «Молодая гвардия» профессор Н. Федь подвергает резкой критике мою статью «Кризис нации», опубликованную в той же «Литературной России». Уважаемый профессор считает ее абсурдной, переполненной нелепостями, отмечает мое «разгоряченное воображение», мою «перепуганность». Я бы не стал придавать этим высказываниям особое значение, к критике за последние годы привык.

Оказалось, что за моими текстами профессор следит внимательно. Особенно он недоволен высказываниями о кризисном состоянии нашего народа. По мнению профессора, и крестьянство русское сохранилось в надлежащем виде, а «свой уклад» ему и не нужен — русскому крестьянину. И художественная культура на высоте... Получается, что очернительством занимались Ф. Абрамов и В. Шукшин, получается, что и Матера распутинская никуда и не исчезала.

Почему-то известных писателей Н. Федь не задевает, с письмом Ф. Абрамова не спорит, и о других, гораздо более острых очерках о пьянстве, разрушении деревни, ожесточении, публикуемых в том же «Нашем современнике».

Поневоле подумалось, может быть, профессор просто упреждает. Вдруг обнаружится заимствование, автор возмутится, можно будет свалить на обиду за критику, на месть оппонента...

Мстить-то мне не за что. С удовольствием забыл бы о миллионных поклонниках «Огонька», рад был бы согласиться с Н. Федем, что не существует русских, «лишенных национального самосознания». Рад был бы согласиться с профессором, что «московская группа» депутатов не имеет ничего общего с русской общественной жизнью, но значит, и победа сторонников «московской группы» на выборах в Москве народных депутатов России и депутатов Моссовета, и выборы Г. Попова, Б. Ельцина — к русской общественной жизни отношения не имеют? Может быть, и Москва, по мнению Н. Федя, уже отношения к России не имеет? Давайте замкнемся в наши общины единомышленников и будем гордо себя именовать единственной «русской общественной жизнью». А все, что вокруг — от Свердловска до Ленинграда происходит — будем просто игнорировать? Рад бы, да совесть не позволяет. За всех русских, изверившихся в России, считаю тоже себя ответственным. Когда Россия была на подъеме, когда духовные силы России во многом определяли духовную жизнь всего человечества, без всякого царского приказа тянулись к России казах Чокан Валиханов, армянин Айвазовский, литовец Чюрленис. Шли на службу к русскому царю грузинские князья и польские шляхтичи. Значительное число евреев-выкрестов отдавали свое умение, свой талант русскому народу и русской культуре. Мощное духовное влияние России определяло жизнь и творчество людей разных национальностей, разного вероисповедания...

Сегодня мы видим поразительное явление — «выкресты наоборот». Уже русские по крови, по вероисповеданию переходят в другие веры, подчиняются другим богам, служат иным культурам. Типичный пример — православный русич Андрей Донатович Синявский, не случайно взявший себе псевдоним Абрам Терц, не случайно издевающийся над Пушкиным, не случайно заявивший «Россия-сука», не случайно напугавший весь мир утверждением «Либо миру быть живу, либо России». По его мнению, евреи — это жемчуг, рассыпанный по миру. Не будем оспаривать «жемчужную метафору», но, может быть, Россия — это один из крупнейших бриллиантов в короне мира?

Тем обиднее, что сегодня этот бриллиант заляпан грязью и иные соотечественники, отбрасывая по слепоте своей этот заляпанный камень на обочину, устремляются на поиски жемчужных или иных россыпей... К «выкрестам наоборот» я бы отнес и любителей всевозможных восточных сект, поклонников теософских доктрин. С другой стороны, а разве не к «выкрестам наоборот» принадлежат те, кто духовным интересам России, интересам православия противопоставляет ортодоксальную советскую идеологию начала пятидесятых годов?

Вот и получается, что М. Суслов и А. Синявский — явления одного порядка, одинаково демонстрирующие кризисное явление в русской духовной жизни. Именно в обществе денационализированных русских, десятилетиями заражаемых бациллами «советизма», могли расцвести сегодня с такой легкостью русофобские настроения, поддерживаемые, увы и ах, нередко самыми чистокровными русичами, искренне убежденными в своей ненужности и ущербности. Сегодня передовая советская интеллигенция, то бишь — образованщина, взяла себе на щит сочинения маркиза де Кюстина и русского дворянина В. Печерина. На них ссылаются И. Золотусский и С. Аверинцев, журналы «Новый мир», «Наше наследие», не говоря об «Огоньке» и тому подобных изданиях. Да, были такие «выкресты наоборот» в девятнадцатом веке, в среде русской аристократии, но особенной популярностью, в отличие от нынешних времен, не пользовались. Поражает в наших «выкрестах наоборот» не столько поиск чужой веры, сколько обязательное охаивание собственного народа. Что-то я не помню, чтобы Б. Пастернак или И. Левитан — охаивали еврейский народ. Да, их уход в русскую культуру и в православную веру никоим образом не связывался с проклятиями всему остальному. Так почему же переход в католичество аристократа Печерина был связан с проклятиями в адрес своей отчизны? Все тот же принцип — «Россия-сука». Не царь, не Сталин, не монархия, не советская власть — а обязательно виновен весь народ, вся Отчизна. Сегодня здесь, в России, читают у наших образованцев, насколько глубоки и пронзительны стихи Печерина и насколько понятен их смысл: «Как сладостно Отчизну ненавидеть...» Многовато сегодня развелось поклонников этих строк Печерина, жаждущих, как и он, «ее уничтоженья». Жаль, что не видит их Н. Федь в своем самоупоении. И как глубокомысленно объясняют и оправдывают наши образованцы эти строки. Представьте, что кто-нибудь из евреев написал «Как сладостно Израиль ненавидеть и жадно ждать его уничтоженья», опубликовали бы эти строчки в Израиле? Выродки есть в любой нации, предположим, нашлись бы и в Иерусалиме и опубликовали. Поддержала бы их израильская пресса? Или вся мировая прогрессивная пресса? Поддержали бы эти строчки в нашей демократической печати? Вопрос, ясно, риторический. Это не Россия, и не Синявский с Печериным. Плюрализм с самоуничтожением популярен только у нас.

Ситуация вторая. Крайне противоположная. Когда не у тебя заимствуется текст, а тебе приписывается то, что ты никогда нигде не писал. Потребовалось оппоненту по всем правилам образованщины раскритиковать меня, обвинить в чем-то конкретном, и в многомиллионном издании сначала приводят мою несуществующую цитату, а затем меня же за эту цитату подвергают разгрому. Напоминает вам, читатель, подобный метод двадцатые годы? Мне тоже напоминает, хорошо еще — не сажают, хотя семьдесят четвертая статья со сталинским десятилетним сроком уже наготове. Архипелаг ГУЛАГ ждет новых гостей...

А пока... В первом номере журнала «Юность» за 1990 год опубликована статья Н. Ивановой «Пройти через отчаяние». Известный критик, полемизируя со мной о творчестве А. Солженицына, приводит такую цитату: «Рядом с его именем, — с натужным пафосом утверждал В. Бондаренко в майском номере «Молодой гвардии», — вся эта «третья волна», конечно, карликовое племя»...»

Мысль по сути, может, и верная. Конечно, творчество А. Солженицына выделяется из потока эмигрантских публикаций. Но в конкретной статье «Назад пути нет», опубликованной в майском номере «Молодой гвардии» за 1989 год, такой цитаты не существует. Наталья Иванова приводит в журнале с трехмиллионным тиражом несуществующую цитату... Далее она пишет, развивая критику в мой адрес: «В. Бондаренко, видимо, невдомек, что М. Шемякин — художник, и это не он «публикуется», а о нем появилась большая статья в газете «Правда»...»

Изумляюсь еще больше. Может быть, скорее всего, Н. Иванова не читала моей статьи, лишь что-то слышала нелестное, а времени не хватает, вот по слухам и набросилась на статью. Теперь я уже приведу существующую цитату из статьи «Назад пути нет»... — о художнике М. Шемякине: «Живет ныне в США талантливый художник Михаил Шемякин. Мне пришлось встречаться с ним в Ленинграде лет двадцать назад, и тогда мне нравилась экспрессивность его рисунков, иронический взгляд на мир, без злобы и неприятия...» Далее полстраницы о его творческом пути, и в завершение: «В большой статье о Шемякине в газете «Правда», ...мы читаем о его нелегкой ленинградской судьбе, о злоключениях в «психушке», куда он был помещен помимо воли...»

Как видит читатель, я вправе отнести высказывание Н. Ивановой «Здесь все не соответствует истине...» — прежде всего к ней самой. Подробно пишу о художнике М. Шемякине, о статье в «Правде» — для Н. Ивановой это «невдомек». Нигде не сравниваю с А. Солженицыным «карликовое племя» — вдруг становлюсь автором этого сравнения. Очевидно, в глубине души так считает сама критикесса, но не осмелилась назвать «третью волну» карликами — от себя, приписала авторство мне. Спасибо, Наталья Борисовна!

Я отношу подобную критику, когда не надо читать статью оппонента или его прозу, достаточно негативного отношения к самому оппоненту, и поливай его грязью от души, не задумываясь — к «кухонной критике». Преуспели в ней прежде всего наши критикессы самых разных направлений, скорее реализующие свои женские комплексы, нежели анализирующие само литературное явление. Не нравится, скажем, Н. Ивановой — В. Гусев или М. Лиснянский, о чем бы и где бы ни писали они — везде достанет их критикесса «ату, ату их». До самого чтения сочинений вышеуказанных авторов дело, как правило, не доходит — работа на уровне слухов. В таких случаях и обижаться бессмысленно. Потому мои претензии, скорее, к журналу «Юность». Помнится, когда я публиковал свою статью в «Юности», пришлось даже домой к работнику отдела проверки ездить. Журнал не поленился мне телеграмму на дом прислать, какие факты и цитаты необходимо проверить. Неужели сократили расходы на проверку в журнале? Или так передоверились именитой критикессе, что и перелистать статью, критикуемую в журнале, не пожелали? Опубликовали — явную клевету, которую в любой цивилизованной стране я бы имел право оспорить. Лгут трем миллионам читателей, и никаких эмоций по этому поводу. Мне бы хотелось, чтобы при самой жесткой полемике — в «Молодой гвардии», в «Юности» или в «Огоньке» — поменьше появлялось таких, придуманных за автора текстов, таких клеветнических для автора соображений, что ему «вдомек», а что «невдомек». К сожалению, наша единственная всеобщая писательская «Литературная газета» печатать мое опровержение отказалась. Кривицкий заявил, мол, не хотим полемизировать с «Юностью». Какая здесь полемика? С каких это пор назвать фальсификацию — фальсификацией, плагиат — плагиатом означает «вступить в полемику»? Только и остается сказать: о времена, о нравы! А что касается моего отношения к «третьей волне» эмиграции, то высказывал я его неоднократно, и достаточно ясно. В семидесятые — восьмидесятые годы за рубежом появилось немало серьезных произведений, как документальных, так и художественных, написанных нашими соотечественниками, уехавшими из России. Прежде всего это, кроме книг А. Солженицына, романы В. Максимова «Заглянуть в бездну» и «Семь дней творения», «Верный Руслан» Г. Владимова, публицистика А. Зиновьева, повести С. Соколова, С. Довлатова, стихи И. Бродского и Ю. Кублановского... Но в общем потоке откровенно подражательных, пошловатых произведений любителей острых блюд, все равно — на политическую или сексуальную тему, такой, подлинной литературы было крайне мало, и не она определяла прессу «третьей волны». Конечно, даже смешно говорить о том, что сегодня этот поток литературы, спешно перепечатываемый у нас, — хоть как-то определит современный литературный процесс. Впрочем, об этом со всей определенностью говорил и А. Солженицын.

Ситуация третья. Когда смысл тобою сказанного сознательно передергивается, да еще в политическом контексте.

Сегодня часто литератора сознательно загоняют в угол групповщины, отнимая возможность свободно обмениваться мнениями, свободно полемизировать на самые острые литературные и политические темы: формируют из тебя — «образ врага». Испытал это «счастье» на себе неоднократно. Помню, сразу после публикации «Очерков литературных нравов» в журнале «Москва» меня поздравил с ними Игорь Золотусский. Как мне говорил тогдашний зав. отделом «Огонька» С. Лесневский, он даже собирался полемизировать по поводу «Очерков...» с Б. Сарновым... Помню, как хвалил мне эти «Очерки...» прозаик А. Курчаткин: не соглашаясь по каким-то частностям, что и естественно, он был полностью согласен с основными идеями статьи. Список достаточно разных людей, первых доброжелательных читателей «Очерков...» я мог бы продолжить... Но уже боюсь за их репутацию. Как они могли поддерживать такого-сякого... Было интересно наблюдать, как у тех же самых людей менялось отношение к «Очеркам...» по мере усиления потока ругани в мой адрес. Еще ничего другого не успел опубликовать, а меня уже упрекали в изменении позиции. Очевидно, это происходит даже подсознательно. Когда в журналах, газетах, по телевидению чуть ли не ежедневно к твоему имени добавляют ярлыки «враг перестройки», «респектабельный национал-сталинист», «лысенковец» (хотя до сих пор не знаю, в чем заключались идеи Лысенко), «последователь Ермилова», то у читателя, настроенного антисталински, антиермиловски и вполне перестроечно, возникает подозрение. Уже И. Золотусский роняет походя: «Ну что, Володя, решил опреде-

литься?»! Мне-то, может, эта ожесточенная травля статьи на самом деле помогла уточнить свои общественные позиции, но, повторяю, к тому времени не опубликовал ни единой новой строчки. А сами «Очерки» были явно одобрены. Значит, изменилось отношение под давлением прессы даже у такого независимого литератора.

Оказывается, психология известных, крупных прозаиков, критиков подвержена такому же влиянию общественной среды, влиянию «империи прессы», какое испытываем и все мы. В разговоре с Владимиром Максимовым заметил ту же особенность. Известный прозаик достаточно жестко отозвался на страницах «Континента» о клевете в свой адрес со страниц «Огонька». Ему клевета в его адрес — очевидна. При этом к ярлыкам, наклеиваемым тем же «Огоньком» И. Шафаревичу, В. Распутину, В. Личутину, он, показалось, прислушивается. Термин «черносотенцы» — не отбрасывает... Внимательно следить за журналами патриотического направления В. Максимов не может, их в Париже не достать, «Литературная Россия» вообще не доходит, вся информация из «Огоньков» и «Московских новостей».

Не напоминает ли это тридцать седьмой год, когда многие арестованные долгое время считали, что вот они-то — невинно пострадали, а все остальные — истинные враги народа?

Вот так отстраняются от любого упоминания о патриотизме известные наши писатели Борис Можаев, Евгений Носов — не потому, что струсили или решили отмолчаться, а потому, что патриотизм окружен подозрительным ореолом, а литераторы, причисленные к этому направлению на пятом году перестройки, объявляются «национал-монархистами», «русскими фашистами»... Впору испугаться, вдруг и на самом деле они «заражены коричневой чумой». Неужели не стыдно ленинградским писателям Д. Гранину, М. Дудину, В. Арро и другим — запрещать приезд в Ленинград В. Белову, В. Распутину, В. Солоухину, соглашаться с обозначением в официальной печатной листовке «российских встреч» как «коричневого шабаша на Неве»?

Рассчитано, увы, наверняка. Если народу сумеют через многомиллионную печать, через «общественное мнение», через «интеллектуальный террор» внушить, что патриотическое движение равносильно фашизму, от него все отвернутся. Фашизм на самом деле — у нас в стране — не пройдет. Но мог ли еще год назад подумать, что и меня (в роду есть и погибшие Герои Советского Союза, есть инвалиды войны, есть пропавшие без вести) кто-то начнет причислять к фашистам. Что на моих предвыборных листовках кто-то по всей Москве будет на лбу рисовать свастику, а ниже писать «Это — фашизм». Моя программа опубликована, смею спросить И. Золотусского и В. Максимова, Б. Можаева и В. Корнилова, С. Аверинцева и Ф. Искандера — людей, которых я уважаю: есть в этой программе хоть что-то, несовместимое с духовными, этическими и религиозными ценностями? И если нет, то почему вы нигде не заявите, что у вас есть несогласия с нами, есть иной взгляд на мир и на решение наших сегодняшних тяжелых проблем, но называть нас «фашистами» именно вы, в силу своей интеллигентности, — никому не позволите?!

Когда Валентина Распутина называют «фашиствующим» — это оскорбление прежде всего и Бориса Можаева, и Игоря Золотусского, и Андрея Битова, допускающих возможность новой расправы.

Да, я горжусь тем, что меня оскорбляют теми же гнусными выражениями, что и Сергея Есенина, и расстрелянного как фашиста еще в 1925 году поэта Алексея Ганина, и «фашиствующего», измордованного перед казнью Павла Васильева. Слышите, Игорь Петрович Золотусский, — это Варлама Шаламова и Александра Солженицына, Юрия Домбровского и Осипа Мандельштама, и тысячи и тысячи других — политзаключенных, обзывали, как и меня сегодня, — фашистами. Кто тогда молчал — на тех и вина за молчание. Но не бóльшая ли вина лежит сегодня на вас, наши оппоненты, с вашего молчаливого согласия, или новой трусости, — нас сегодня осыпают самыми кощунственными проклятьями. А вы еще способствуете этому.

С искренним удивлением читал я в газете «Известия» статью уважаемого мною критика Андрея Туркова «Угрюмые речи», где он вдруг занялся поисками отечественных теоретиков «расовой чистоты». Попал и я в «черный список» Туркова. «Эх, как подчас недостает ныне этой русской широты души, благородства, — печалится А. Турков, — как раз тем, кто рьяно претендует на монопольное право вещать от имени сородичей, а «разным прочим», кому это «не положено», внушает аж с печатных страниц, как то недавно сделал, например, критик Владимир Бондаренко: «...Не лезьте в душу чужого для вас народа!» Узнаете? — «Чужой! Чужак!.. Ворота на запор!» И эти люди еще вопиют о «русофобии», о покушении на отечественную культуру, тогда как именно их теории и призывы и угрожают ее целостности и богатству!»

«Чужой! Чужак!» — это Турков цитирует стихотворение, далее там следует «Обходят, облетают, объезжают, поскольку кровь у чужака — чужая». Прямиком приводит нас уважаемый критик к проблеме «крови», и ради этого легко извращает мысль моей статьи, передергивает смысл.

Усеченная цитата — какое это мощное оружие в руках опытного профессионала. Откуда знать читателям «Известий» — из какого контекста выдернута она? Читатель понимает, что ему говорят о расисте, и идет голосовать... против меня. Дело в том, что, нарушая любые союзные и международные законодательства, вышла эта статья в день выборов — 4 марта, частично вечерний выпуск 3 марта. Где-где, а в «Известиях», нашем высшем депутатском органе, должны знать, что в день выборов печатная агитация против кандидата в народные депутаты категорически запрещена. Очевидно, совпадением является то, что в тот же день выборов, в одиннадцать утра, когда люди собирались, в большинстве своем, идти голосовать, по Центральному телевидению тоже показали передачу, где меня подвергали самой разносной критике? Не много ли совпадений для моей скромной персоны?

Думаю, сам критик А. Турков в этой публикации в день выборов — не повинен. Хотя уже позже мог бы и извиниться — если не за текст (он прекрасно знал, что пишет), то за грубейшее нарушение прав человека. Попробуйте в образцовой западной стране в день выборов в бундестаг или парламент опубликовать что-либо подобное... Далеко нам еще, Андрей Михайлович, до правового государства...

Вернемся к тексту моей статьи. Читателю «Известий» ее не найти, публиковалась статья «Есть ли кредо у «Октября»?» в писательской многотиражке «Московский литератор». Обращаясь к людям, зараженным ненавистью к собственному народу или равнодушным к нему, я пишу: «Собирайтесь, издавайтесь. Но не лезьте в душу чужого для вас народа!» Это относилось конкретно и к русскому Андрею Синявскому, автору печально знаменитых фраз «Россия-сука» и «Либо миру быть живу, либо России», и к еврейке Юнне Мориц, утверждающей на страницах «Октября», что «... ни один современный писатель не может жить там, где его не печатают». Получается, что если у кого-то что-то где-то не печатают, писателям надо гуртом мчаться за границу. Получается, по Мориц, родина там, где печатают. Интересно, Андрей Михайлович, согласился бы с таким утверждением Борис Пастернак? Или Анна Ахматова? Борис Пастернак даже в сталинские годы был за границей, мог бы и остаться. Не пожелал! Так же как не желали Варлам Шаламов и Юрий Домбровский. Напомню Вам, Андрей Михайлович, слова Солженицына: «Эмиграция — всегда и везде слабость, отдача родной земли насильникам, — и не будем выставлять это подвигом... помочь бы нашей стране вернуть больше, чем политическую свободу, — духовное выздоровление, и влиться в него самим». Да и Владимир Максимов — эмиграцию считает трагедией своей жизни. И Георгий Владимов — уезжать не хотел, несмотря на «непечатание». Мне слова Б. Пастернака и А. Солженицына ближе, чем слова Ю. Мориц. И причем здесь, скажите, «чистота крови»? Кровь у Синявского такая же, как у меня — славянская, что

дальше? В контексте статьи предельно ясно, что речь идет о людях равнодушных к Родине, будь они татары, евреи, русские или армяне. Это не я, Андрей Михайлович, а поэтесса Ю. Мориц заверяет, что в случае непечатания книг надо уезжать. Это не я, а великая поэтесса Анна Ахматова как бы в ответ возражает:

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Если писателю безразлична судьба народа, если он интересуется лишь своей собственной благополучной судьбой, естественно, можно говорить о «чужом для них народе», независимо, Вы слышите, Андрей Михайлович, от процентного содержания крови у этого писателя.

Лично мне, например, до этого содержания крови никогда не было дела, чему подтверждение — мои статьи, написанные за всю жизнь. Разбирайтесь, если хотите, сколько русских я раскритиковал, сколько евреев похвалил, в этот список добавятся и казахи (кстати, не Вы ли одобрили мою статью о казахской прозе?), и литовцы, и якуты, и финны, и грузины...

Так что, «прокололись» Вы с подбором «теоретиков». То ли Андрей Синявский Вас подвел своей русскостью (подумать страшно, а если бы я в «чужести» — обвинил только еврея, приговор был бы окончательный? Неужели, Вы, Андрей Михайлович, уверены, что среди евреев, так же как среди грузин, татар, чувашей, украинцев — нет людей, и довольно известных, — чужих России?! Если бы все так и было, я бы порадовался вместе с Вами. Увы, сегодня и среди русских достаточно людей — чужих России), то ли вкусы у меня, выросшего в Карелии, с поморскими, а там глубже, следовательно и со скандинавскими, финно-угорскими корнями с одной стороны, с украинскими корнями — с другой стороны, никогда не определялись по расовому признаку. Русская культура не на крови держалась и держится. Исаак Левитан мне ближе, чем Илья Глазунов. Николая Гоголя я люблю больше, чем Владимира Набокова, но это все — явления русской культуры. Так же не по крови определяется неприятие русской культуры. Не буду сейчас заниматься анализом причин нынешнего многочисленного неприятия русской культуры, но люди, активно пропагандирующие неприятие, мне чужды. Вот и вся моя групповщина, о которой столь подробно недавно поведал на страницах «Литературной газеты» А. Борщаговский. Этот прозаик почтенного возраста (что должно бы настраивать на собственное покаяние, на мысли о вечном) и сегодня предпочитает стиль обвинения. Когда-то ,он исключал из Союза писателей Владимира Максимова, позже воинственно требовал исключения из Союза писателей и из КПСС (что в те времена приводило к трагическим результатам для жизни исключенного) Сергея Семанова — за одно только чтение рукописей журнала «Вече». Сегодня я этот журнал получаю из ФРГ, откуда Вы меня нынче исключать будете, товарищ Борщаговский? Слышу ответ — из приемной комиссии Московской писательской организации, ибо я «безнадежно погряз в групповщине»... Есть мнение, что я — удачный оппонент, большинство молодых литераторов, у которых я был официальным оппонентом, благополучно были приняты в Союз писателей. Но вот с групповщиной как быть? За последние годы я был оппонентом у поэта Ивана Жданова, нашего популярного метафориста, у прозаиков Сергея Каледина и Вячеслава Пьецуха, у драматургов Шапи Казиѐва и Владимира Гуркина (многие помнят его «Любовь и голуби»), у критиков А. Оспована и А. Неверова... Может быть, это и есть — наша тайная замаскированная группа? Давайте, признаемся, ребята, Александру Борщаговскому — о существовании нашей «масонской ложи». Как удачно мы заняли ведущие позиции во всех течениях и направлениях.

А если всерьез, доколе будут сыпаться эти чудовищные обвинения, втягивающие в борьбу все новых и новых людей? Уже о Владимире Гусеве, несмотря на широту его художественных взглядов, пишут в «Огоньке», как о непрерывно стреляющей пушке, как о противнике, через запятую с Ниной Андреевой... Уже Игорь Золотусский ушел, что называется, по другую сторону баррикады, помазав разом и Бондарева, и Шафаревича...

Как увлеченно в «Огоньке» и «Книжном обозрении», подхватив инициативу Андрея Туркова, — анализируют процент крови у В. Распутина и А. Проханова, В. Бондаренко и Карема Раша. Бедные наши классики — Пушкин и Лермонтов, Жуковский и Гоголь, Некрасов и Толстой — сколько раз всевозможные татьяны толстые и адольфы русскоязычные подсчитывали за последние месяцы их «кровяные проценты». Мода появилась у самых прогрессивных изданий — обвинять в русском фашизме литераторов почвеннического направления, при этом заниматься самым скрупулезным подсчетом чужой крови у деятелей всей русской истории...

Кто раззадоривает так всех нас? Вглядитесь внимательнее. Нет, не в форму черепа, не в пресловутый пятый пункт, а в политические характеристики лидеров «прогрессивного направления», активно втравивших всех нас — и левых и правых, — в нынешнюю «гражданскую войну». Такие ли они у вас «левые», уважаемые оппоненты? Они опытнейшие мастера контрпропаганды, всю жизнь воевавшие с мировым империализмом, не знающие никаких полутонов... Альберт Беляев, Егор Яковлев, Генрих Боровик, Виталий Коротич, Анатолий Ананьев... Случайно ли перед нами весь цвет пресловутого Советского комитета защиты мира времен брежневского застоя? ...Игорь Золотусский, Юрий Карякин, Андрей Турков, Игорь Виноградов — уважаемые оппоненты, с теми ли вы так отчаянно воюете? Мы, очевидно, и дальше будем взаимно с вами полемизировать, не соглашаться, отстаивать свои взгляды на творчество, на само общество, наконец, но — это ли причина нынешней дикой междоусобицы, взаимных проклятий? Посмотрите, вы все еще — обслуживаете опытнейших профессионалов советской контрпропаганды. Пролистайте их публицистические книги времен застоя, поинтересуйтесь маршрутами их контрпропагандистских поездок в те годы. Один из них среди ваших лидеров — это могло быть случайное совпадение. Два — маловероятно, но все же... Когда все они — из одной и той же команды борцов с «империей зла», то есть мировым империализмом, с США, добавим сюда нынешнего редактора «Литературной газеты» Ф. Бурлацкого, добавим Г. Арбатова и других, повыше... Отработанные приемы борьбы с империализмом перенесены сегодня на борьбу с российским патриотическим движением. Я сейчас не делю их на хороших и плохих, очевидно, они — разные. Не делю на талантливых и бездарных, искренне всегда ценил очерки Ф. Бурлацкого и никогда не мог дочитать до конца «Лицо ненависти» В. Коротича. Естественно, уважаемый Андрей Михайлович Турков, мне нет дела до их процентного содержания крови, они, по-моему, равнодушны ко всем народам на земле, они — истинные интернационалисты. При этом не понимаю, зачем понадобилось Генриху Авиззеровичу Боровику становится Генрихом Аверьяновичем, здесь я согласен с редактором «Вестника еврейской советской культуры» Т. Голенпольским, жестко осудившим подобное неуважение к памяти своих предков. Самое печальное, что это делается не в целях сокрытия чего-то, а ради более удобного телевизионного произношения. Это и есть — интернационализм по потребности.

Мастера советской контрпропаганды, сменив по своим расчетам цель обстрела с внешнего мира на внутренний, российский, сегодня используют всех либералов, ошалевших от радости освобождения, от гласности, от полусвободы; всю огромную эмоционально-возбужденную, раскрепощенную полудиссидентскую интеллигентскую махину — чтобы расправиться в зародыше с русским национальным возрождением. Мне интересно, неужели Борис Можаев или Андрей Битов — всерьез считают Василия Белова — черносотенцем, а Валентина Распутина — фашиствующим? А если нет, то почему позволяют так с собой играть мастерам советской контрпропаганды?

В тех же узких коридорах власти, где когда-то решалась судьба вторжения в Афганистан, теми же самыми людьми сегодня решено, что на пути дальнейшего раз-

вития советского общества в его нынешнем варианте — главная опасность: русское национально-религиозное возрождение. Выделены деньги, техника, множество изданий. Легко втянута в эту игру еще недавно враждебная всем этим Ананьевым и Боровикам — левая интеллигенция со своими левыми международными связями, и вот уже обслуживают новейшую советскую контрпропаганду множество зарубежных диссидентских изданий, вплоть до «Континента». И вот уже нагнетается общественная истерия, ползут слухи из тех же контрпропагандистских изданий о намечающихся погромах, раздувается опытными мастерами блеф о русском фашизме. Мои уважаемые оппоненты, вы не задумывались, почему этой команде интернационалистов сегодня так выгоден новый исход евреев из России? По чьему указу руководители «Советской культуры» и «Огонька», «Московских новостей» и «Литературной газеты» и так далее сначала раздували миф о могуществе полумифической «Памяти», а сегодня раздувают более страшный миф о русском фашизме? Что последует завтра? Сегодня самая уважаемая, долгие годы застоя терпевшая от мастеров контрпропаганды ощутимые удары — наша леволиберальная публика, сама того толком не ведая, пошла на услужение к той же самой команде пропагандистов времени застоя, делающих профессионально свою новую черную работу... Ради чего вы сотрудничаете с ними, ради какой великой цели? Не идете ли вы сегодня путем левой интеллигенции Запада тридцатых годов? Советую еще раз перечитать внимательно статью И. Шафаревича «Две дороги — к одному обрыву». Впрочем, все о благородных либералах сказано, может быть, раз и навсегда — с ужасающей для вас всех прямотой и откровенностью — в «Красном колесе» А. Солженицына. Ничего за эти семьдесят с лишним лет не изменилось для вас, ничему не научились...

Надо ли описывать все приемы нечестной игры, которую ведут сегодня многие литературные и политические оппоненты? Изменит ли это что-нибудь в нынешней атмосфере «литературной свалки»?

Думаю, подобный реестр «недобросовестности» — просто необходим. Пусть его ведут журналы самых разных направлений. Если недостает нам всем внутренней культуры, то, может быть, остановит возможность скорого и неизбежного разоблачения нечестной игры.

Скажем, я мечтаю, чтобы КГБ приоткрыло свои архивы и хотя бы сообщило о том, кем и когда писались литературные доносы в это уважаемое заведение. Не беру даже сталинские годы, там господствовал страх смерти, ставкой была жизнь, не нам судить оступившихся. А вот во времена застоя ставкой в этих доносах было элементарное благополучие, возможность заграничных поездок и тому подобное. Этих господ-товарищей я бы жалеть не стал... Но были же письменные доносы в газеты, в Союз писателей, их больше сохранилось — с обвинениями в антисоветизме, в идеологических шатаниях. Взять да и опубликовать их отдельной книгой! Может, это остановит «перестроечную прыть» иных доносчиков, сегодня возглавляющих самые прогрессивные организации?

Ситуация четвертая. Сегодня в карельском «Апреле» активно действует борец за свободу слова, за демократию и прочие новые ценности доктор филологических наук, прозаик, поэт, воинствующий атеист Леонид Резников...

Никакого раскаяния, никакого чувства вины ни перед кем. Напомню не столько ему, сколько всем остальным «апрелевцам», обладающим понятием чести. В 1983 году в своей статье «Истина слова» я среди прочих уделил два абзаца критике крайне слабой повести Резникова «Сердце не камень». Желающие могут пролистать ее и убедиться, что она не острая, не «левая», а просто скучно-серая. Я писал, что «...на протяжении всего повествования слово не перестает быть плоским, начинают надоедать нудные стенания героя. И то плохо, и другое не очень, и третье не выдерживает сравнения. Постоянные советы врачам, переживания больного по самым мелким поводам. А героя-то и нет. Скрылся за лекарствами и катетерами».

Может, я и не прав был, может, статья не самая убедительная. Спорьте, опровергайте. В ответ автор повести пишет письма во все редакции — от «Правды» до «Советской культуры», пишет письма в Союз писателей СССР. Вот что он писал тогда, в 1983 г., в ЦК КПСС: «В ней (статье — В. Б.) нет ни мировоззренческой четкости, ни принципиальности... Даже ссылкой на материалы июньского Пленума ЦК КПСС он, быть может невольно, выхолащивает их, отмечая только требование «гражданской позиции художника» и не замечая четко определенных в тех же материалах главных идейных недостатков, которые уводят от советской гражданственности (ведь может быть гражданственность и буржуазная!) — идеализации прошлого, в том числе крестьянской общины, внеисторической трактовки православия, повторения задов славянофильства, «почвенничества», «богоискательства». Потому-то в статье и получается, что образцово-показательными являются ныне такие вещи, как «Белая церковь» Иона Друце, а ведь в этом романе талантливого писателя явно преувеличиваются заслуги православной церкви и внеисторически, «надклассово» объединяются две Екатерины — царица и крестьянка... Нет, не объединяет нашу литературу ради великих идейно-художественных целей бондаренковская статья ... критик показал современную нашу прозу в предвзятом, искаженном виде»...

В этой статье «Истина слова» я впервые написал о человеке уникальнейшей судьбы, талантливом писателе и мыслителе Альфреде Петровиче Хейдоке, попробовал ввести его вновь в нашу литературу. Внимательный доносчик Л. Резников этим воспользовался сполна:

«В полное изумление повергает В. Бондаренко внимательного читателя, когда в качестве образца чуть ли не на все времена называет эмигрантскую повесть А. Хейдока «Звезды Маньчжурии». Да читал ли он сам, видал ли хоть одним глазом эту повесть?... «Поясняя творчество писателя», В. Бондаренко приводит цитату: «Звезды Маньчжурии» полны тех внутренних зовов, которые пробуждаются на древних просторах, напитанных славою прошлого». Какой воистину кощунственный смысл приобретают эти слова ныне, если учесть, что А. Хейдок — это Альфред Хейдок, мелкий международный бродяга и мистик, напечатавший свои «Звезды Маньчжурии» в Харбине, где окопались остатки дальневосточного белогвардейского отребья, в городе Харбине — в 1934 г., когда Харбин уже второй год был под оккупацией империалистической Японии. Предисловие к повести Хейдока написал тогда же Н. Рерих — крупный живописец. Но как же не знать, не учитывать, что сам Рерих в те годы был в философском отношении — идеалистом (и таким остался до конца своих дней), человеком, в политическом отношении не очень разборчивым, мистически настроенным символистом и толстовцем! С каких же это пор случайные «предисловия» даже крупного таланта авторитетная газета предлагает как эталон высшей мудрости, как эстетическую концепцию «большой, высокой реальности»... В прошлом году тот же В. Бондаренко подвел журнал «Север», опубликовав там статью, в которой рядом с прославленным революционером поставил политического авантюриста и контрреволюционера, тоже писавшего повести и прочее. Ныне рядом с Николаем Рерихом поставил во всех отношениях одиозную фигуру Альфреда Хейдока, чем явно подвел «Советскую Россию», которая, впрочем, должна бы предварительно проверять то, что она печатает... Это уже не первое неудачное выступление В. Бондаренко. В прошлом году его за грубый «недосмотр» (я упоминал об этом) критиковали при обсуждении «Севера» на Правлении СП СССР. Тогда с понятной доброжелательностью говорили, что, мол, это он — по молодости, по неопытности. Но, как видим, ошибки молодого критика, повторяясь, приобретают опасный характер... Упоминаемая в статье нелепая ошибка В. Бондаренко в прошлогодней его публикации выразилась в совмещении в одном ряду, в одной «философской колонии» революционера-большевика А. В. Луначарского с эсером, контрреволюционером и руководителем контрреволюционных мятежей Б. Савинковым. Цитирую: «...обнаружим целую литературно-философскую колонию в Вологде начала века: А. Ремизов, Б. Савинков, Н. Бердяев, А. Луначарский...» При обсуждении этого бестактно образованного ряда критики не заметили, что тут же с материалистом и коммунистом А. В. Луначарским объединены кантианец-мистик Н. Бердяев и враг Октябрьской революции, эмигрант А. Ремизов... Альфреда Хейдока, харбинского эмигранта, по вполне понятным причинам, нет даже в закрытых фондах... Из процитированного в «Советской России» предисловия к повести Хейдока «Звезды Маньчжурии» довольно ясно, что его «зовы» и «слава прошлого» — это типичная белогвардейская «романтика». И на ней-то строит советский (выделено Л. Резниковым — В. Б.) критик концепцию «высокого реализма»... Стыдно!»

Не знаю, кому ныне стыдно должно быть?! Политический доносчик, сегодня возглавляющий карельскую литературную перестройку, в те времена оказывал совсем другое влияние. Из-за его писем не удалось опубликовать в газете рассказ А. Хейдока. Откуда было знать доносчику, что А. Хейдок с 1947 года живет в России, отсидел сталинскую десятку, что не повесть, а книгу рассказов «Звезды Маньчжурии», изданную не в Харбине, а в Нью-Йорке в 1934 году Николаем Рерихом, мне вручил все еще могучий и крепкий в свои девяносто с лишним лет Альфред Хейдок. Он скончался в июле 1990 года в девяносто восемь лет. Может быть, к столетию выйдет, наконец, его книга на Родине. Жил он на Алтае, в Змеиногорске.

Мне хочется спросить интересного и своеобразного поэта из Петрозаводска — Юрия Линника, большого ценителя Николая Рериха, знающего и работы Хейдока: когда Вы вместе с Л. Резниковым организовывали «Апрель» в Карелии, Вам тесно не было? Вы в годы застоя защищали, как могли, творчество и Н. Рериха, и А. Хейдока. Ваш коллега — доносил на них. Не из-за резниковского ли доноса органы в те годы отобрали у самого старого, может быть, в стране литератора — пишущую машинку? А теперь Вы вместе перестраиваете карельских литераторов — неужели под знаменем Рериха?

Как теперь относится Л. Резников к творчеству А. Ремизова, Н. Бердяева, И. Друце, к «буржуазной гражданственности»? Или весь этот многостраничный донос, продемонстрированный в сокращении читателям, все идеологические обвинения шли не от искреннего, «истинно советского», «идеологически выдержанного» сердца Л. Резникова, а были всего лишь мстительным ответом за два умеренно-критических абзаца, посвященных его и сегодня такой же слабой повести «Сердце не камень», недавно переизданной карельским издательством. Очевидно, бумаги много в Карелии, и напор «апрелевский» силен. Вот я и подкрепляю этот напор мало кому известным произведением «заслуженного карельского перестройщика» — грязным политическим доносом по адресу газеты «Советская Россия».

Да один ли такой «идейно выдержанный» в «Апреле»? Все помнят отказ прекрасного русского поэта В. Корнилова войти в одно правление «Апреля» вместе с еще таким же литературным доносчиком А. Рекемчуком.

Третьего назову, возвращаясь к своей, подробно разобранной Л. Резниковым с точки зрения ее контрреволюционности статье из журнала «Север». До сих пор не отменено Постановление секретариата СП СССР по журналу «Север», где говорится о «классово недифференцированном отношении к фактам», об «абстрактно-моральных формулировках» в статье В. Бондаренко «Сокровенное слово Севера». Объявили выговор карельскому цензору. «Правда» писала о «проявлении внесоциального, игнорирующего ленинскую идею «двух культур» подхода... в статье В. Бондаренко «Сокровенное слово Севера»... Включились в этот идеологический разгром и верноподданный критик из Татарии Рафаэль Мустафин, и апологет застойного времени Игорь Дедков, отрицающий тогда любые признаки штилевого, застойного состояния общества. По мнению придворного критика секретариата СП СССР утверждение об инертности, безыдеальности общества «...сильно противоречит реальному содержанию нашей общей жизни в семидесятые и особенно в восьмидесятые годы». Но наиболее «политически выдержанным, идеологически бескомпромиссным» оказался один из лидеров неорапповского направления в критике, ярый пропагандист классового подхода в литературе Валентин Оскоцкий. В журнале «Вопросы философии» он обрушился на мои «мировоззренческие позиции»: «Готовность через запятую включить в предполагаемую антологию «целую литературно-философскую колонию в Вологде начала века: А. Ремизов, Б. Савинков, Н. Бердяев, А. Луначарский, О. Маделунг, П. Щеголев, С. Струмилин» — что это, как не беззаботная претензия на всеохватность, тут же и обернувшаяся неразборчивостью общих перечней, которые скрадывают конкретно-историческую определенность философских систем, социальных позиций, политических взглядов?». Далее В. Оскоцкий критикует мировоззренческие принципы «Философии общего дела» Н. Федорова, идейную несостоятельность повести В. Крупина «Сороковой день». Никаких общечеловеческих ценностей, это «всеядность», приводящая к «эклектическому смешению имен», к безразличию «материалистических или идеалистических воззрений».

Скажите пожалуйста, Андрей Битов или Анатолий Курчаткин, как с таким идеологическим грузом руководить «самой прогрессивной» в мире писательской организацией «Апрель»? Или Валентин Оскоцкий покаялся в своих «классовых заслугах»? Не слышал, не читал. Удивительный феномен, казалось бы, не так трудно, хотя бы для виду — покаяться тому же Л. Резникову, и В. Оскоцкому, и Г. Боровику, и В. Коротичу. . Силы для покаяния находятся у А. Солженицына, у В. Максимова, у того же В. Корнилова, у В. Распутина... У тех, кого мы по своей простоте и безгрешными считать могли бы. А авторам политических доносов, идеологических разгромов, фальшивых восторгов и лизоблюдских речей — каяться не в чем?! Поразительно, что В. Оскоцкий нынче очень любит упрекать многих талантливых писателей в грехах прошлых лет, приводит цитаты чуть ли не сталинских времен — но чужие, требует возмездия за клевету и доносы. Только о себе молчит...

Если мы хотим, чтобы наше литературное, мировоззренческое и политическое противостояние перешло в нормальное, полезное для всех русло, если мы хотим творчески спорить, а не уничтожать идейно друг друга, то нашим «Апрелям» надо избавляться в первую очередь от резниковых и оскоцких. Ю. Кузнецов с В. Корниловым, В. Распутин с Б. Можаевым, П. Палиевский с С. Аверинцевым — гораздо быстрее найдут общий язык, обретут культуру несогласия, если у них под ногами не будут суетиться доносчики и погромщики всех мастей.

Ситуация пятая. Странное дело, именно из уст наших либералов не первый год несутся самобичующие заявления, что, мол, нынешнее состояние культуры ни в коей мере не сопоставимо с литературными спорами XIX столетия. Там были Герцен и Хомяков, Белинский и Гоголь, братья Аксаковы и Чернышевский. Там была культура полемики, духовная высота спора... А сейчас, мол, идет какая-то грызня, славянофилы превратились в черносотенцев, западники уже не идеалы ищут на Западе, а колбасу и колготки... По-моему, ни один из лидеров плюралистической критики не обошелся без упоминания о катастрофическом снижении уровня литературных споров. И западники, и славянофилы далеко не те? Естественно, прямого повтора быть не может, появились новые глобальные проблемы, новые узлы противоречий. Но, во-первых, так ли уровень работ А. Солженицына и А. Сахарова, С. Аверинцева и И. Шафаревича, Д. Лихачева и В. Кожинова, В. Распутина и В. Быкова ниже и образностью, и мыслями, чем статьи славянофилов и западников прошлого столетия? А лай из подворотни и в прошлом веке — культурным не назовешь.

Во-вторых, если так мечтается о достойном ведении спора, то не показать бы нам, сермяжным да лапотным — высокий пример поведения? О нападках — грубых, клеветнических — на В. Белова и В. Распутина наслышаны все. Давайте познакомимся с уровнем критики в адрес велико-

го русского писателя А. Солженицына. Может быть, из уважения к таланту, к трагической судьбе автора, с ним ведут разговор оппоненты иначе, на высоте девятнадцатого столетия? Почитаем, что пишет А. Солженицын по этому поводу в заключительной части «Наших плюралистов»:

«Теперь вот читаю, что понаписали за эти годы лично против меня — редко встретишь честную полемику, то и дело выверт, натяжка, ложь. Вот видный культуртрегер («культура — это религия нашего времени») дважды или трижды приписывает мне в западной прессе то желание «восстановить византизм Третьего Рима» (с какого бреху?), то иметь в России теократию, то «православного аятоллу». И это — не ошибка одного ума или натяжка одного полемиста, но от одного к другому так и потекло и все указуют: «Солженицын предлагает теократию». Да — где же, когда? — да перетрясите мои десять вышедших томов и найдите подобную цитату! Ни один не приводит. Значит, заведомо знают, что лгут? Да, вкруговую знают, что лгут, — и лгут!

На «аятоллу» мне пришлось все-таки ответить, исключение, уже заврались за пределы. Ответил — абзацем в 80 слов (считая предлоги и союзы). Мне в ответ — 1300 (пропорция неуверенности), и притом ни тени извинения, что я публично оболган, а взамен — новая ложь: будто я «учу», что «критерии нации предки, то есть кровь». Да — где же это я так «учил», что «критерии нации кровь»? Откуда это «то есть»? Цитаты — не ждите, и не дождетесь, ибо ее не существует. Очередная подтасовка, а литературовед мог бы прочесть «Ленина в Цюрихе» потоньше. Наши предки — да, это прежде всего наше духовное наследство, ими определяется оно, и из того вырастает нация, и из душевной связи с родной землей, а не с любой случайной, где досталось расти. И у Ленина — душевной связи с Россией мы не видим нигде, ни в чем, никогда. И если в Соединенных Штатах в польской, теперь и вьетнамской, семье растет ребенок — то каким бы образцовым гражданином Штатов он ни вырос, и даже если он никогда своей родины не видел, — все же к сердцу его с наибольшим отзывом прикладывается боль его дальней родины. Отчего же иначе все поляки, вот уже и в четырех поколениях живущие в Штатах, так бурно и больно отозвались на события именно в Польше, а не в Камбодже или в Эритрее? И кто же настаивает, что это — «кровь»? Это — предки, духовное воспитание, национальная традиция. И вот отчего Соединенные Штаты и за 200 лет еще не спаялись в единую нацию, но раздираемы сильными национальными лобби.

Или вот распространенный прием плюралистов: выхватить удобную цитату, но не из меня, а из кого-нибудь — В. Осипова, Н. Осипова, Краснова, Удодова, Скуратова, Шиманова, Антонова — я может быть тех авторов и в глаза не видел, не переписывался, тем более в один сборник не входил — неважно, дери цитату и лепи ее Солженицыну, он ведь на лай не отгавкивается, значит — прилепится. Раз тот так написал — значит и Солженицын так думает!

И этим нехитрым приемом не брезгуют многие плюралисты — начиная от «примкнувшего» Михайлова. И журнал, претендующий кажется стать эталоном нашего эстетического вкуса и утонченного мышления, — в первом же номере своем громит некоего Шиманова, преградившего дорогу всей свободной русской мысли, — разоблачитель-предупредитель мечется, мечется по шимановской конструкции, и выясняется, зачем: вот он собрал и выкладывает, что нашел «общего» у Шиманова с Солженицыным: всякий нехристианский народ — варварский, а Китай — особенно: оплот секулярного человечества — именно Запад, даже не марксизм; задача русского народа — охранить христианство от «желтой опасности»; говоря об «образованщине», конечно имеют в виду «сионских мудрецов», и именно они должны быть устранены как главное препятствие на пути русской нации.

Какие сотрясательные выводы о Солженицыне! И насколько же бы они прогремели, если бы взять цитаты да прямо из Солженицына — и о варварских народах, и о желтой расовой опасности, и о сионских мудрецах.

Да — нету таких цитат. Да — неоткуда их взять. Только вот — соскрести с Шиманова, местами?

И первым вкладом в бриллиантовую диадему будущего законодательства вкуса принимает главный Эстет от суетливого коммивояжера — дешевую дутую подделку. И как же не побрезговать — в тени-то, позади-то: ведь этакая мусорная стекляшка пожалуй в диссонанс с гравюрами Фаворского?

Да ведь вот мой десяток томов, да ведь вот дюжина исторических глав — критикуйте! разносите! раздолье! Тут и целая желанная программа есть для разноса — Шипова (пока поглубже, чем все предложенное нашими плюралистами), петит ли мелок, глаза не берут? Нет! Спорят со мной как с партийным публицистом. Накидываются со всеми трубами на какой-нибудь один абзац какого-нибудь интервью.

Но когда я пишу: «Винить нам некого, кроме самих себя», — такой фразы и подобных умудряется не заметить никто из двух дюжин критиков, а дружно голосят, что в «русской революции Солженицын винит исключительно инородцев». Затем есть еще сручный прием: цитату взять истинную, но вырвать ее из текста, не истолковать ложно, но извратить. Такой отмычкой воспользовались сразу несколько плюралистических авторов, в том числе, увы, и разборчивый Померанц, выхватя фразу из моего «Раскаяния». Фраза — самого общего характера: что в раскаянии трудно вовсе освободиться от памяти, односторонен твой грех или обоесторонен, все же температура разная, не на церковной исповеди, но в человеческом быту, и кто же от этого свободен? Да, это не высота христианского исповедального покаяния, но статья не ему и посвящена, а повседневному человеческому раскаянию, у него и пределы. Вот она: «Если обиженный нами когда-то обидел и нас — наша вина не так надрывна, та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды». То есть простая мысль: не мы к ним первые пришли. И это относится к событиям шестисот лет, протекших от падения Орды, — тут и подчинение Казани, и Астрахани. Но выхватив фразу из контекста, изо всего строя статьи, бессовестно истолковали ее — один! другой! третий! четвертый! — именно в том смысле, что этим я одобряю советское выселение татар из Крыма!

Не прослеживал, кто из них первый придумал (другие — перенимали). Изо всех обращусь лишь к тому, от кого нельзя было ожидать. Григорий Соломонович! Ведь Вы призываете, чтобы даже в разоблачении ГУЛАГа, миллионных коммунистических уничтожений, не было бы «пены на губах». Отчего ж — не к государственному деятелю, но к писателю, никому не рубившему головы, — Вы допускаете ей пениться на Ваших собственных губах? и не пристыдите единомышленников и Ваших учеников? Судя по Вашей статье, Вы «Архипелаг» прочли, и Вы помните, что я пишу там о страданиях выселенных крымских татар, и сочувствую я им или тем, кто их выслал. А еще, может быть, Вы читали и «Раковый корпус» — и запомнили, с какой нежностью описан умирающий татарин Сибгатов, лишенный вернуться в Крым? (одно из самых «непроходимых» для цензуры мест «Ракового корпуса»).

И после этого — вот так выворачивать? А ученики зовут Вас «кротчайший мудрец»...

И весь расчет — только на то, что я все равно смолчу, занят Узлами — и не отвлекусь?

Не у меня, это у ваших плюралистов — «татарский», «татаро-мессианский» — первая брань.

Какие же цели ставит себе эта бесчестная дискуссия? Что доброе ею надеются построить в русском будущем? Почему нашему гордому интеллектуальному плюрализму с первых же шагов понадобилась ложь? Неужели без нее не выстраивается аргументация? Самые дотошные книгоеды из них беззастенчиво сочиняют, не приведя ни единой цитаты, — потеряли всякую осмотрительность.

И насколько можно верить последовательности плюралистов? «Права человека» относятся ко всем людям или только к ним самим? Вот я воспользовался самым скромным из прав человека — не поехать по приглашению на завтрак. И какой же это вызвало гнев плюралистов: я должен был поехать! (так желал коллектив!). И некто Любарский пишет задыхательную статью (и снова пропорция неуверенности: в три раза длиннее, чем мое письмо президенту). И снова: что в моем письме главное, существенно, — то обмолчать или вывернуть, «не понять», зато нравоучительно втолковывать, кем из диссидентов (кроме почему-то Синявского) я пренебрег — хотя в моем письме ясно сказано, что состав участников от меня тщательно скрывали, и Любарский знает, что он был объявлен лишь вослед С привычным советским вывертом втискивает меня в компанию Брежнева, «Литгазеты», обвиняет в безответственном повторении «бредовых мнений» «какого-то генерала» из «какой-то американской газеты», — извольте: «Вашингтон пост», ведущая столичная, генерал Тейлор, командовавший объединенной группой начальников штабов, а стратегическую идею избирательно уничтожать русских ядерными ударами ему подали из университетских кругов, профессор Гертнер.

С таким гневом свободные плюралисты никогда не осуждали коммунизм, а меня эти годы дружно обливали помоями — в таком множестве и с такой яростью, как вся советская дворняжная печать не сумела наворотить на меня за двадцать лет. Очень помогло им, что западная пресса, особенно в Штатах, в руках левых — и легко, и охотно эту травлю переняла и усвоила

Сколько лет в бессильном кипении советская образованщина шептала друг другу на ухо свои язвительности против режима. Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под пастью все это громко вызвездил режиму в лоб, — эта образованщина возненавидит лютее, чем сам режим?

«Фальсификатор»... Реакционный утопист... Перестал быть писателем, стал политиком... Любит защищать Николая ! (?)... «Ленин в Цюрихе» — памфлет на историю... «Ленин в Цюрихе» — карикатура... Оказался банкротом... Сублимирует недостаток знаний в пророческое всеведение... Гомерические интеллектуальные претензии... Шаманские заклинания духов... Ни в грош не ставит русскую совесть... Морализм, выросший на базе нигилизма... Освящает своим престижем самые порочные идеи, затаенные в русском мозгу... Неутолимая страсть к политическому пророчеству с инфантилизмом... Потеря художественного вкуса... Несложный писатель... Устройство сознания очень простое и близкое подавляющему большинству, отсюда общедоступность. (Вот это их и бесит. А я в этом и задачу вижу.) Фанатик, мышление скорее ассоциативное, чем логическое... Пена на губах, пароксизм ненависти... Политический экстремист... Волк-одиночка... Маленький человечек, мстительный и озлобленный... Взращенный на лести... Полностью утратил контакт с реальностью... Лунатик, живущий в мире мумий... Легко лжет... Пытается содействовать распространению своих монархических взглядов, играя на религиозных и патриотических чувствах народа (ну, буквально из «Правды»)... Пришел к неосталинизму... Его сталинизм полностью сознательный... У Ленина и Солженицына абсолютно одинаковое понимание свободы... По его мнению коммунистическая система не подходит России только из-за того, что она нерусская (а не из-за того, что атеистична и кровава)... Капитулировал перед тоталитаризмом... Яростный сторонник клерикального тотелитаризма... Аятолла России... Великий Инквизитор... Солженицын, пришедший к власти, был бы более опасным вариантом теперешнего советского режима... Его поведение запрограммировано политическими мумиями, которые однажды уже поддержали Гитлера (отчего не самим Гитлером?)... Опасность нового фашизма... В его проповедях и публицистике — аморальность, бесчестность и антисемитизм нацистской пробы»... И наконец: «Идейный основатель нового ГУЛАГа»...

И это все написано не замороченными иностранцами, но моими, так сказать... соотечественникеми. И так нарастал от года к году раздраженный, оскорбленный тон плюралистов, что даже этих, кажется, уж высших, обвинений им казалось мало — и стали лепить больше по личной части: «...Ослепление рассудка... Помрачение рассудка ослабило моральные тормоза... Наведенное безумие... Удар славы тем сильнее раскалывает голову, чем менее плотно ее нравственное наполнение...»

И требовали, чтоб я наконец замолчал, не выступал перед Западом! (Уж я ли не молчу? Не управляемся отказывать всем западным приглашениям.) И прямо так и вопрошали: зачем я выжил? — и на войне, и в тюрьме, и сквозь рак. И объявляли меня — уже вполне конченным, хоронили (мыши кота).

И — как ни перемывали в сплетнях мои собственные признания! — как будто они первые дознались, открыли. Ни одна моя покаянная страница не осталась без оживленного обтанцовывания, на каждую находились низкие оппоненты, кто выплясывал, скакал, указывал, торжествовал, как будто я скрывал, а он разоблачил. (А ведь среди этой публики — и писатели есть. И — как же они себе мыслят литературу без признаний?)

Так постепенно сводили клеветы под единый купол и еще такой прием придумали, наглядное пособие: напечатать серию фотофантазий на «род Солженицыных» — морда за мордой, тупица за тупицей — презренный род, каким только и может быть всякое русское крестьянское порождение. Или, как выразился левый «Мидстрим» (остроумный Макс Гельтман): «в его родословной все крестьяне до того, что коровьим навозом почти замараны писательские страницы».

А в левом американском «Диссенте» шустрая чета приоткрыла опасную связь: «Отрицательные черты Солженицына являются чертами России, и расхождения с ним его либеральных оппонентов относятся не к нему, а к самой России... Читатели могут любить или не любить Солженицына, но это равносильно любви или нелюбви к его стране... Связь с отечеством его не прервана, а скорей усилилась изгнанием, подобно тому как — (оцените сравнение) — части раздавленного червя извиваются, пытаясь соединиться».

И усвоили, и печатно употребляют как самоясное выражение — «люди Солженицына», — то есть как будто мною мобилизованы, обучены, и где-то существуют, и тайно действуют страшные когорты. Да очнитесь, господа! Если бы я непрерывно ездил на конференции, как вы все это делаете, все организовывал бы комитеты, или пристраивался бы к госдепартаментским, как вы этим заняты! — но я заперся на 6 лет для работы и даже трубку телефонную в руки не беру никогда. Да у вас переполох от ненависти и страха. Ваша дружная сосредоточенная ненависть немало и убеждает меня в правильности для России моей тропы.

Естественное возрождение русских умов и русских сил там и сям, признак не до конца умершей нации, — вы принимаете за заговор?

Так с удивлением замечаем мы, что наш выстраданный плюрализм — в одном, в другом, в третьем признаке, взгляде, оценке, приеме — как сливается со старыми ревдемами, с «неиспорченным» большевизмом? И в охамлении русской истории. И в ненависти к православию. И к самой России. И в пренебрежении к крестьянству. И — «коммунизм ни в чем не виноват». И — «не надо вспоминать прошлое». А вот — и в применении лжи как конструктивного элемента?

Мы думали — вы свежи, а вы — все те же».

Вот он — уровень полемики наших «свободолюбивых» демократических оппонентов» с писателем, который, казалось бы, имеет право на уважение со стороны всех граждан России, пекущихся о правах человека. Даже не принимая что-то в его взглядах, можно было не опускаться до продемонстрированного «плюралистами» потока клеветы и площадной брани...

Кто же опускает планку «культуры несогласия»? Кто низводит естественную полемику разных эстетических и мировоззренческих направлений до элементарного советизированного хамства в адрес оппонента? И если не стыдятся так поступать с Александром Солженицыным, то о какой порядочности можно говорить, когда побивают словесными каменьями Кожинова, Шафаревича, Бородина? Тут уж можно не стесняясь кричать во всеуслышание, что Кожинов — сталинист, друг Нины Андреевой и лидер «Памяти», что Шафаревич — просто неумен и необразован, что Бородина как писателя выдумал Г. Владимов, который, можно сказать, и написал за него все, «просто перелопатил, как говорится, его роман и повесть». А так как Л. Бородин, сидя в лагере, молчал, не протестовал — значит, во всем согласен. И вообще — ему всегда «нужен хороший редактор», то есть «перелопатчик». Приставляли же к Николаю Островскому «литзаписчиков». А когда «перелопачивали» у самого Г. Владимова «Три минуты молчания» — из эстетических побуждений, улучшая роман, каково ему было? Тоже ведь с правкой согласился. Вот она — нынешняя писательская культура. Не приемлет Г. Владимов патриотических взглядов Л. Бородина, почему бы не ударить побольнее, не уязвить писателя своим «перелопачиванием» его произведений? Может, и на соавторство претендовать захочет?

Даже не верится, что оскорбительные, унизительные строчки о Леониде Бородине в «Литературной газете» написаны тем самым Георгием Владимовым, который еще не так давно, несколько лет назад, когда Бородин сидел в лагере, помог Бородину и словом, и делом. Впрочем, тогда и ко всему патриотическому движению у Георгия Владимова было другое отношение. Пусть извинят читатели за еще одну большую цитату, но, боюсь, сам Георгий Владимов сегодня эту беседу из журнала «Посев» перепечатывать не будет:

«Достаточно ясно было одно: главным объектом гонений становится так называемая «Русская партия» — круг людей разных профессий, не одних лишь гуманитариев, но ярче, нагляднее представленный именно литераторами, писателями — «деревенщиками»... Так вот, в последние годы выдвинулись — и громко о себе заявили — эти самые «деревенщики», точнее почвенники, часть весьма широкого движения, стремящегося к возрождению русской национальной культуры. Я думаю, национальные движения — не только неизбежность нашего века, но они имеют наилучшие шансы выстоять против яро агрессивного «пролетарского интернационализма», они в этом смысле спасительнее для мира, нежели не всегда умеющая себя защитить демократия. Но, если мы приветствуем, если сочувствуем этим движениям в Прибалтике, в Армении, среди евреев или немцев Поволжья, то почему умолкаем, когда речь заходит о русских? Почему не допускаем для этой гигантской общности ее священного права выделиться в единую нацию, а не быть лишь составной частью «братской семьи народов»? Потому что — «шовинизм».. Применить это слово к той же Прибалтике или Армении считается дурным тоном.

Как всякая идея, противостоящая официальной протух-

> шей идеологии, русская национальная идея и неизбежна, и спасительна. Но, разумеется, как и всякое движение, русское столь же неизбежно обрастает своим охвостьем... Несмотря на все эти крайности и загибы, у меня предубеждения к этому движению нет. Я все-таки знаю многих людей из «Русской партии» — они не такие. И они действительно много сделали... В русском движении — казалось бы, мирном, не подрывающем основ, напротив — способствующем укреплению государства, — власть углядела для себя главную опасность. Сказывают, Федорчук, побывши недолго шефом КГБ, успел дать инструктаж: «Главное — это русский национализм, диссиденты — потом, тех мы возьмем в одну ночь»... Русская идея — действительно главная опасность, и неспроста: ведь это по существу вторая положительная программа, которая и поновее и привлекательнее марксистско-ленинской...»

А вот, что писал Г. Владимов о самом Бородине:

> «Я и сам попытался пройти «на верха» — вскоре после ареста Бородина позвонил в Отдел культуры ЦК Альберту Беляеву, прославленному уже «хозяину советской литературы». Это был враг моего романа «Три минуты молчания», из-за него книгу семь лет не издавали, но я спрятал гордость в карман, позвонил, попросил принять меня по литературным делам... Я хотел с глазу на глаз убедить его вмешаться в дело Бородина... Я в общем не скрывал, что буду просить за Бородина, мы об этом говорили по телефону с Беллой Ахмадулиной, которая тоже попросилась на прием в ЦК, только в Отдел пропаганды, к Тяжельникову... Когда через две недели я позвонил Беляеву, напомнил о своем деле — о котором еще ни слова не было сказано, — то услышал в ответ: «Встречаться нам незачем и говорить не о чем»...
>
> В Леониде Бородине я вижу удивительное единство человека и писателя, благородного человека и честного, бескомпромиссного писателя... В Бородине я сразу узнал автора его книг — романтичного, простодушного и в то же время пытливого и твердого в своих убеждениях... Интересное, волевое лицо, этакий капитан дальнего плавания. Когда такой на мостике стоит — можно в кубрике спать спокойно, ничего с кораблем не случится».

Как совместить эти строки с сегодняшними высказываниями Владимова о писателе-неумехе, который мечется, не знает, куда пристать? Пусть бы Георгий Владимов с привычками опытного советского литературного генерала, и в изгнании не теряющий навыки, наставлял своих коллег, как надо писать, но упрекать в политических метаниях, а неопределенности — человека, отсидевшего пятнадцать лет за свою «партийность», за свою определенность — не слишком ли это самоуверенно? Когда-то Г. Владимов писал, что «этот талантливый русский писатель был обречен на заклание..» Сегодня во имя «перестроечных целей», на заклание отправляет его сам Владимов. Обратите внимание на самоуверенный тон поучающих пророков — самых разных писателей, приезжающих сегодня из-за рубежа: не избежали этого и В. Войнович, и В. Аксенов, и В. Максимов, и Г. Владимов... Пожалуй, лишь Н. Коржавин остался верен себе и не изображал из себя новоявленного наставника страны. И писатели — разные, по таланту, по убеждениям, а «эмигрантская болезнь» — одна: чтобы мы все им в ножки поклонились. Очевидно, и Юрию Домбровскому пришлось бы кланяться нашим заграничным «страдальцам», и Варламу Шаламову, и Борису Пастернаку. А таким как Леонид Бородин или Валентин Распутин, Игорь Шафаревич или Виктор Астафьев — кланяться пришлось бы всенепременно... Перед страдальцами, скупающими недвижимость в Брюсселе и Мюнхене...

При таком положении дел с культурой полемики, думаю, вскоре нам предстоит еще окунуться во все эмигрантские дрязги «третьей волны» Уже и в «Московских новостях» А. Синявский успел оболгать русскую эмиграцию послереволюционного периода, отказав ей —?! — дворянской интеллигенции — а культуре. Уже начинают всплывать подробности удаления Г. Владимова из «Граней»... Да надо ли нам все это? Или вы — пророки? Так ведите себя соответственно избранной роли. Или вы — лишь ненаругавшиеся всласть оппоненты, умело пользующиеся новыми отечественными площадками для выяснения отношений? Не добавляйте нам своих заморских кухонь, да и в наши не спешите залезать так стремительно...

И без того любят у нас, избегая спора по существу, «лепить по личной части».

Ситуация шестая. Абсолютно справедливо пишет Сергей Чупринин о том, что «основным приемом (а часто и целью) газетно-журнальной полемики стала не столько даже литературная, сколько вот именно что морально-политическая компрометация. О текстах словно бы позабыли — заговорили о поведении». И далее, через полстраницы, не переводя дыхания, раскрывает «ужасную тайну» о том, как притворяется Вл. Бондаренко, будто бы «...не служебные проступки, оказывается, а мужественное инакомыслие стоило ему должности члена редколлегии в журнале «Октябрь»...» Догадывается читатель, на самом-то деле из редколлегии «Октября» его (то есть меня) выгнали за какие-то грозные «служебные проступки». Может быть, — запил вглухую, может, избил сотрудницу, может быть, автора с лестницы спустил? Откройте тайну до конца, Сергей Иванович? Заодно и другую тайну, неведомую мне: где я конкретно пишу о том, что меня лишили «должности члена редколлегии в журнале «Октябрь»...»? Где упоминаю о своей работе в «Октябре»? Опять, оппоненты, «додумываете» тайный ход мысли Бондаренко...

Даже если бы я написал конкретно об «Октябре», даже если бы слегка побравировал своим «мужественным инакомыслием», зачем же так сразу доносить читателям о моих «служебных проступках», ежели таковые и имелись бы, ежели и впрямь, «запил на работе»? Это разве не «моральная компрометация»? За последнее время я делал несколько острых выпадов по поводу позиции журнала «Октябрь», так что не волнуйтесь, Сергей Иванович, если бы меня на самом деле выгоняли за «служебные проступки», где-нибудь на страницах «Огонька» об этом подробно поведал бы А. Ананьев. А было — другое, были острые статьи И. Золотусского, В. Воронова, М. Лобанова, была фраза главного редактора — «Или ты с Беловым беседуй, или в «Октябре» работай», но и была, как ни странно сегодня звучит, взаимная договоренность с тем же главным редактором, что так как у нас не получается контакта, лучше бы нам расстаться. При этом мы пошли на взаимные уступки, закончившиеся переводом меня на другую работу. У вас есть иная версия, Сергей Иванович? Не стесняйтесь, расскажите, иной читатель любит клубничку и всякие подзаборные сплетни.

Моральной компрометации Сергею Чупринину показалось маловато. Стал подобным же методом добавлять политическую.

В следующей статье критик заявляет: «Читателю охотно подсказывают: это «народная», то есть «почвенная» интеллигенция сражается с «беспочвенной», то есть либо «инородной», либо «антинародной» (см., например, В. Бондаренко. Обретение родства. — «Слово», 1989, № 7). Далее защищает «антинародную» интеллигенцию от меня, доказывая, что я ее оклеветал. С легкой руки С. Чупринина, очевидно не прочитав моей статьи, эту «беспочвенную», «антинародную» интеллигенцию — приписывает мне А. Латынина — одновременно в «Русской мысли» и в «Литературной газете». «Подсказка прямолинейного Бондаренко, конечно, грубовата», — пишет А. Латынина по поводу «моих определений» «беспочвенности» и «антинародности». Готов согласиться с А. Латыниной, но в статье «Обретение родства» — слышите, уважаемые читатели и критики, — нет этих терминов, ни «беспочвенной», ни «инородной», ни «антинародной». Зачем же массовому читателю и здесь, и за рубежом, — лгать, лгать и лгать?

Именно о статье «Обретение родства» не мой единомышленник, а один из ведущих сотрудников радиостанции «Свобода» Б. Парамонов в «Новом русском слове» написал: «Мое внимание привлекла статья советского литературного критика Владимира Бондаренко «Обретение родства»... о двух типах художественного сознания, обозначенных им как «почвенничество» и «космополитизм»... Бондаренко пытается — и не без успеха — преодолеть весьма болезненный, можно даже сказать, постыдный раскол, наметившийся в нынешней советской литературе по национальному признаку... Бондаренко совершенно правильно и своевременно лишает термин «космополитизм» уничижительного оттенка, привитого ему после войны, тем более отвергает синонимичность его с еврейством... подход Бондаренко, что называется, эвристичен, он помогает избавиться от очень многих досадных и мешающих делу проблем. Статья Бондаренко может способствовать очищению литературных нравов» (статья перепечатана с сокращениями в журнале «Слово», № 1 за 1990 г.).

Издалека, из-за океана, говорят о попытке «очищения», о «преодолении раскола», а здесь, рядом, в тех же самых строчках — «сражение», «инородность» и «антинародность» — видят, и другого ничего от меня слушать не хотят. Да что там — видят?! Не видят, а лгут — ежедневно, еженедельно. Более всего удивляет снижение уровня культуры полемики у С. Чупринина, как обогатился его критический арсенал — передергиванием, дописыванием, приписыванием чужих слов, чужих мыслей своим оппонентам, указанием на личные качества. Может, и нам взяться за изучение личной жизни, к примеру, И. Золотусского или Ю. Карякина, если их критические доводы, скажем, невозможно будет опровергнуть. Ниже пояса, ниже, еще ниже.

...Еще ниже?! Что может быть ниже откровенно клеветнической трактовки моей фразы на последнем Пленуме СП России — как призыва к организации еврейских погромов? Удачно или неудачно, но я противопоставил нынешнее «апрельское» переменчиво-дождливое состояние нашей литературы будущей очистительной тютчевской «грозе в начале мая».

Одно сравнение — «Апрель» — как литературная организация, и апрель — как самый пасмурный, переменчивый весенний месяц.

Второе сравнение — тютчевское «Люблю грозу в начале мая» — с ожиданием за пасмурным апрелем майского всеобщего очищения, очищения и нашей литературы, и нашего общества. Уверен, никому из читателей и присутствующих на пленуме литераторов самых разных взглядов и направлений — не пришло в голову увидеть в этом сравнении грозное указание на начало еврейских погромов. Каждый видит то, что очень хочет.

Ведь надо сильно захотеть, надо не думать о своей критической репутации, чтобы в оголтелом интернационал-большевистском запале написать: «Уж не согласуется ли бондаренковский прогноз с тем, что обещали на начало мая молодчики, явившиеся в Центральный Дом литераторов 18 января сего года?..» Кто же у нас сеет национальную рознь? Кто стравливает народы? Кто запугивает инородцев? Так и самого Федора Тютчева можно отнести к инициаторам погромов. Намекал, понимаете ли, на «грозу в начале мая», что за «политическая метеорология»? Удивляюсь, как Пушкина не записали до сих пор в «теоретики расовой чистоты». Ясно сказано поэтом: «Там русский дух... там Русью пахнет!». Шовинизм чистейшей воды, провозвестник русского фашизма?! Ату, его, ребята!

Заранее предчувствую возражение некоторых редакторов и части читателей, а надо ли обо всем этом писать? Можно было, конечно, все эти приемы продемонстрировать из практики нынешней литературной травли И. Шафаревича, одного из чистейших и глубочайших умов. На примере Валентина Распутина... Но в отношении личных выпадов, фальсификации, выдуманных цитат, плагиата — кто лучше самого автора знает положение дел? Очевидно, один раз за долгий промежуток — и Шафаревичу, и Распутину — требуется поступиться личной скромностью, и, подобно Александру Солженицыну, рассказать обо всей этой грязи. Не только — для истории. Для современного читателя, часто оказывающегося в плену потока подобной информации.

Когда «огоньковцы» бросили в толпу презрительный выкрик «Дети Шарикова», они лишний раз оказались верны себе — поверхностной, плоскостной журналистике одноразового употребления. Они не задумались о том, что на самом деле обозначает этот термин, не перечитали внимательно «Собачье сердце» М. Булгакова, иначе поостереглись бы бросать этот термин в массы. Шариковы — ничто, пока ими не руководят Швондеры. А от советских швондеров Булгаков был явно не в восторге.

Послеоктябрьские шариковы по Булгакову — это дворняжная чернь, без роду, без племени, люмпены, которые живут в подворотнях, прислуживают всем, кто их подкармливает, и относительно безопасны, пока их не очеловечивает Преображенский и пока им не дает власть Швондер. Это — денационализированная чернь. Это — нынешние поклонники «Огонька», это — митингующие крикуны. Детьми Шарикова и сегодня — руководят дети Швондера. Дети Шарикова — это разрушители, архаровцы — легко возбуждаемые и направляемые детьми Швондера, руководящими нашими журналами, «домкомами» и прочими радикальными обществами. Это — ни в коем случае — не народ. Народ — крестьянство, купечество, потомственный рабочий класс — со своими крепкими традициями, обрядами, никак не мог быть назван Булгаковым — дворняжкой. Дворняга — существо беспородное, беспочвенное. Люмпен под мостом, выпрашивающий рубль на похмелку — как дворняжка, юлит перед тобой, заискивает, унижается. Люмпены, которым Швондеры дают власть, — бесчеловечны, тотально разрушительны. Вот этим-то, достаточно многочисленным детям Шарикова, «гомо советикус», денационализированному элементу и внушают сегодняшние дети Швондера со страниц массовой печати свои представления о России, к ним обращена вся клевета, распространяемая на сторонников национально-религиозного возрождения России.

Молчать, делать вид, что эта клевета — неопасна, что надо быть выше нее — это значит потворствовать тому, чтобы на национально-религиозном возрождении был поставлен крест. Бьют по всем, кто пытается высунуться, репутации, нужные Швондерам, устанавливаются надолго.. Дети Шарикова несут эту клевету еще шире — в массы. Как было в семнадцатом, когда народ поверил Борменталям, Преображенским и Швондерам, сначала очеловечившим Шарикова, далее давшим ему власть, так происходит и сегодня. Преображенский прозревает, прозревает и Борменталь, со временем, в очередной раз, и как всегда с опозданием, трагическим для него, прозреет и Швондер, но Шариковы, почувствовавшие власть, рано или поздно, расправляются со своими благодетелями — Швондерами...

Потому призываю к благоразумию. Не обольщайтесь нынешними успехами, откажитесь от грязной игры, перестаньте клеветать. Не забывайте, что вам, как всегда, аплодируют дети Шарикова, которые вас же со временем и уничтожат!

Мы надеемся на постепенное, но неостановимое восстановление и веры, и нации в родном Отечестве. Князь С. Оболенский пишет в парижском журнале о единственно возможной силе возрождения: «Это — еще тормозящаяся, но развивающаяся стихийно идея религиозно-национального обращения. Русский национализм, отличающийся от всех современных западных национализмов тем, что он по природе своей «глубоко религиозен»... Тем более важно помнить теперь, что торжество подлинного русского национализма, по самой природе его глубочайших религиозных корней, связано неразрывно с утверждением человечности и действительной, а не отвлеченно-вымышленной свободы... Всестороннее раскрепощение — раскрепощение творческих сил нации в целом, раскрепощение всех, входящих в ее состав национально-этнических групп («националов», как теперь говорят) и всяких иных естественных соединений, в особенности, это — всестороннее раскрепощение человеческой личности».

Надо ли делать из этого «всестороннего раскрепощения человеческой личности» под знаком национально-религиозного возрождения — пугало в глазах народа? И надо ли нам соглашаться с этой ролью пугала? Ведь, совместно, все эти «пугала» и «пугалешечки» на всеобщее печатно-телевизионное обозрение выставляются под фамилиями: Солженицын, Белов, Астафьев, Распутин, Лобанов, Личутин... Там же и авторы одного-двух рассказов, авторы всего лишь нескольких статей, авторы первой подборки стихотворений — если только почувствовали наши оппоненты за ними творческую живительную силу и чужой для них «русский дух». Не остановить эту выделку «пугал», эту фабрику — гигантскую уже — фальшивых манекенов, это значит, с каждым разом труднее будет в глазах читателей — отделиться от фальшивого двойника. Мое пугало — выставлено на массовое обозрение. Позвольте же мне, уважаемые главные редакторы, раздеть его, оставив лишь голый каркас недобросовестных статей.

КУЛЬТУРА

*Традиции.
Духовность.
Возрождение.*

Петр ПАЛАМАРЧУК родился в 1955 году в Москве. Выпустил ряд авторских книг, среди которых «Ключ к Гоголю» (Лондон, 1985), «Един Державин» (Москва, 1986), «Чисто поле» (Москва, 1987), «Ивановская горка» (Москва, 1988), «Козацкие могилы» (Москва, 1990), а также литературоведческое исследование «Александр Солженицын: Путеводитель», впервые опубликованное в альманахе «Кубань» (1989, № 2-5) еще в то время, когда не только произведения, но и само имя писателя находилось под полным цензурным запретом. «Путеводитель» пробил эту стену молчания. Кроме того, Петр Паламарчук — кандидат юридических наук, автор научной монографии по международно-правовым проблемам ядерного экспорта. Известно и о том, что он — внук прославленного военачальника Великой Отечественной, дважды Героя Советского Союза, маршала П. К. Кошевого и сын капитана первого ранга, Героя Советского Союза Г. М. Паламарчука. Единственное, о чем до недавнего времени не знал почти никто, это то, что составитель и автор четырехтомного парижского издания «Сорок сороков» Семен Звонарев и писатель Петр Паламарчук — одно и то же лицо. Это издание, включившее более двух с половиной тысяч фотографий московских святынь, впервые вышло в 1988—1990 годах в издательстве ИМКА-пресс при поддержке А. И. Солженицына и профессора Н. А. Струве. В настоящее время в издательстве «Книга» готовится новое издание «Сорока сороков», исправленное и дополненное, которое выйдет в 1991—1992 годах по подписке стотысячным тиражом. Таким образом, парижский Семен Звонарев вновь станет московским Петром Паламарчуком. «Слово» публикует (в сокращении) предисловие Петра Паламарчука (Семена Звонарева) ко второму, московскому изданию «Сорока сороков».

ПЕТР ПАЛАМАРЧУК

СОРОК СОРОКОВ

К истории уничтожения московских святынь

«Случалось ли вам, приближаясь с суши к какому-либо порту Ламанша или Бискайского залива, увидать мачты судов, стоящих за прибрежными дюнами? Песчаные валы скрывают город, пристани, набережные, даже самое море, и перед вами — только лес мачт с ослепительно белыми парусами, развевающимися вымпелами и пышными яркими орифламмами всех цветов радуги. Чудодейственное появление эскадры среди твердой земли вас несказанно поражает. И вот, точно такое же впечатление произвела на меня Москва, когда я впервые ее завидел. Огромное множество церковных глав, острых, как иглы, шпилей и причудливых башенок горело на солнце над облаками дорожной пыли, в то время как самый город и линия горизонта скрывались в дрожащем тумане, всегда окутывающем дали в этих широтах. Чтобы ясно представить себе все своеобразие открывшейся передо мной картины, надо напомнить, что православные церкви обязательно заканчиваются несколькими главами. Число их различно, но никогда не бывает меньше пяти, что имеет символическое значение: они служат наглядным выражением церковной иерархии. Прибавьте к этому, что главы церквей отличаются поразительным разнообразием форм и отделки и напоминают то епископскую митру, то минарет, то усыпанную каменьями тиару, то попросту грушу. Они то покрыты чешуей, то усеяны блестками, то позолочены, то раскрашены яркими полосами. Каждая глава увенчана крестом самой тонкой филигранной работы, а кресты, то позолоченные, то посеребренные, соединены такими же цепями друг с другом. Постарайтесь вообразить себе эту картину, которую даже нельзя передать красками, а не то, что нашим бедным языком! Игра света, отраженного этим воздушным городом, — настоящая фантасмагория среди бела дня, которая делает Москву единственным городом, не имеющим себе подобного в Европе!»

Это красноречивое и живописное, хотя и не во всем, конечно, точное описание, своего рода духовный образ-символ Москвы, принадлежит перу известного маркиза Астольфа де Кюстина, посетившего древнюю русскую столицу всего четверть века спустя после опустошительного пожара города, положившего конец попытке построить почти что уже всемирную империю, предпринятой его соотечественником Наполеоном. И то, что подобные слова сорвались с уст одного из язвительнейших «клеветников России», едва ли не более убедительно свидетельствует, что Москва представляла собою сердце Православия, нежели бесчисленные старания сторонников идеи «Третьего Рима».

Москва и поныне остается столицей самой многочисленной Православной церкви мира; но, как известно, не числом утверждается духовная крепость народа. «Москва — это не город, это — принцип», — метко определил в прошедшем столетии знаменитый писатель консервативного толка, редактор «Московских ведомостей» Михаил Никифорович Катков.

Одним из самых заветных преданий о городе было поныне бытующее мнение, что на Москве стояло не много — не мало: сорок сóроков церквей. Еще Владимир Даль в своем «Толковом словаре» вносил поправку — на самом деле храмов было не 1600, а «только» около тысячи, и разделены они были некогда на старостава или благочиния, именовавшиеся образно «сóроками», хотя в этих сороках число церквей составляло менее 40.

Деление столицы в церковном отношении на сóроки (схожее с разделением древнего Новгорода в административном отношении на пять «концов», а Новгородской земли в соответствии с концами на «пятины») было впервые учреждено Стоглавым собором в 1551 г. Тогда сороков считалось всего семь — Кремлевский, Китайгородский, Замоскворецкий, Пречистенский, Сретенский, Никитский и Ивановский. В каждом из них одна церковь была назначена главной, как бы «соборной», при ней пребывал глава сорока — поповский староста. По-видимому, тогда же впервые и возникла поговорка о «сорока сóроках» — так именовался в ту пору торжественный всемосковский крестный ход, на который духовенство собиралось с хоругвями и чтимыми образами по сорокам, к коим было приписано. Такие «соборные» выходы и стали зваться «сорок сóроков» — ибо подобное удвоение титула для выражения превосходной степени свойственно церковному сознанию, именующему самого Христа «Царем царствующих и Господом господствующих». Позже деление на сороки уступило место благочинническим округам, но полюбившееся определение, превратившись в пословицу, сохранилось до сего дня.

Буквальный же смысл выражения действительно как будто не находит подтверждения в истории. Согласно нашим подсчетам, близким, как представляется, к исчерпывающей полноте, к 1917 г. в Москве было всего 845 храмов и часовен всех исповеданий. Однако если сложить число их престолов, как раз и получится 1671.

К середине 1980-х годов, в канун празднования тысячелетия Крещения Руси, на Москве из «сорока сороков» престолов действующими остались четыре или, точнее, четыре сорока и еще четыре (164).

Православных храмов всего 54: 45 приходских, одна часовня Даниловского монастыря, один храм обращен в часовню, и, наконец, четыре церкви служили домовыми в различных учреждениях Патриархии (Крестовые храмы в резиденции Патриарха в Чистом переулке, резиденции митрополита Крутицкого и Коломенского в Новодевичьем монастыре, на даче Отдела внешних церковных сношений в Серебряном бору и в издательском отделе Патриархии на Погодинской ул.) — в них свободного входа верующим нет.

Действовали также: 7 храмов пяти старообрядческих согласий на поповском Рогожском и беспоповском Преображенском кладбищах; 1 армянская церковь на Армянском кладбище, 1 костел на Малой Лубянке, 1 молитвенный дом баптистов и адвентистов, 1 мечеть и пара синагог.

На Москве было к 1917 г. 78 значительных часовен (исключая надгробные кладбищенские памятники и просто иконы, помещенные на множестве зданий). Некоторые из них заложены еще издревле — как сохраняющаяся еще часовня Андроникова монастыря на Вороньей, ныне Тулинской улице, основанная в XVI столетии на том месте, где по преданию прощался с основателем обители преп. Андроником его учитель преп. Сергий Радонежский (нынешнее здание воздвигнуто в конце XIX в.). Много часовен принадлежало пригородным и подмосковным монастырям, служа недостаточным обителям для сбора средств: наиболее известная Иверская находилась, например, в ведении Николо-Перервинского монастыря. Неуемный Петр I, успевший в пору построения Петербурга запретить ставить каменные строения где бы то ни было в другом месте империи, впоследствии досягнул и до претивших ему часовенных зданий, десятками тысяч усеявших страну. Указом Синода от 28 марта 1722 г. большинство ветхих из них велено было разобрать, а крепкие каменные «употребить на иные потребы». В них приня-

лись продавать книги, хлеб, соль и прочее. Но уже в 1727 г. при Петре II, возвратившемся из Петербурга с двором обратно на Москву, сохранившиеся от лихой напасти преобразований часовни было разрешено открыть вновь.

К 1980-м годам одна из бывших православных церквей (на Даниловском кладбище) была обращена по необходимости в часовню для отпевания и помещения на ночь покойников; в 1984 г. кроме того была открыта в Даниловском монастыре новая часовня, а еще две находились в ведении старообрядцев-беспоповцев на Преображенском кладбище, 15 зданий бывших часовен сохранилось в закрытом состоянии, а 60 часовен были разрушены.

В течение 1918—1920 гг. в Москве была в основном завершена национализация церковных и монастырских имуществ. Об этом более полувека спустя с радостью сообщает В. Ф. Зыбковец в своей книге «Национализация монастырских имущества в Советской России (1917-1921)»: «По решению Моссовета все бывшие монастырские помещения должны поступать в исключительное пользование Отдела народного образования; из большей части московских монастырей монахи были выселены к середине 1920 г. Но жизнь внесла значительные уточнения в это решение. Многие монастыри были переданы ряду других ведомств — жилищному, военному и др.» (М., «Наука», 1975. С. 75). Последнее «др.» раскрыть нетрудно — оно означает концентрационные лагеря, устроенные в Ивановской, Новоспасской и Спасо-Андрониковой обителях.

К началу 1920 года, как сообщал печально известный журнал «Революция и церковь» (1919, № 9-12. С. 104) в Москве было конфисковано у церкви 551 жилой дом, 100 торговых помещений, 52 школьных здания, 71 богадельня, 31 больница и 6 детских приютов.

В 1922 г. разгорелся раскол обновленчества — и довольно знаменательно, что первый снос памятника церковной архитектуры, часовни Александра Невского на Моисеевской площади (ныне им. 50-летия Октября), также падает на этот год.

Тогда же во исполнение закона об отделении церкви от государства были закрыты домовые церкви, общая доля которых в составе всех московских храмов была около четверти. 24 мая 1923 г. в газете «Известия» появилось краткое выразительное уведомление: «Ввиду того, что учреждения религиозного культа не могут состоять при государственных учреждениях, отдел управления Моссовета в настоящее время проводит работу по ликвидации всех домовых церквей при больницах. Уже ликвидированы домовые церкви при Медведниковской, Первой и Второй градских больницах, школе сестер милосердия на Собачьей площадке. В ближайшее время будут ликвидированы еще свыше двадцати подобных церквей».

Между тем ревнителям отечественной старины удавалось еще в середине 1920-х гг. проводить реставрацию наиболее древних храмов: при деятельнейшем участии П. Д. Барановского (1924 г.) были восстановлены в древних формах Казанский собор на Красной площади, церковь Гребневской Богоматери на Лубянке, Рождества Богородицы в Столешниках, церковь Космы и Дамиана в Старых Панех в Китай-городе, а также другие архитектурные памятники, — такие, как стена самого Китай-города, Красные ворота и другие. Но буквально в ближайшие же годы (конец 1920-х — начало 1930-х) все только что возрожденные памятники были поголовно снесены, чему особенно способствовало строительство первой очереди метро, ведшееся открытым способом. Единственным «счастливым» исключением служит небольшой храм Космы и Дамиана в Старопанском переулке, с которого только срубили все архитектурные украшения, разрушили лишь на две трети и обратили в контору.

С развертыванием работ по реконструкции города снос храмовых зданий резко ускорился в конце 1920-х годов и продолжался с тем же охватом в 1930-е. Выразительный образчик обоснования подобных разрушений представляет собою статья некоего В. Блюма под названием «Пора убрать «исторический» мусор с площадей», напечатанная под рубрикой «На фронте искусств» в газете «Вечерняя Москва» 27 августа 1930 г. Возмущение автора вызывали следующие явления: «В Москве, напротив мавзолея Ленина, и не думают убираться восвояси «граждании Минин и князь Пожарский» — представители боярского торгового союза, заключенного 318 лет назад *на предмет удушения крестьянской войны* (курсив Блюма). По лицу СССР уцелело немало подобных истуканов. Если не ошибаемся, в Новгороде, как ни в чем не бывало, стоит художественно и политически оскорбительный микешинский памятник «тысячелетия России» — все эти тонны цветного и черного металла давно просятся в утильсырье».

Соратник В. Блюма, известный журналист Давид Заславский публикует в газете «За коммунистическое просвещение» (номер от 12 апреля 1931 г.) форменный печатный донос на реставрационные мастерские Игоря Грабаря, озаглавленный «Преподобные отцы-художники». Главное обвинение его состоит в следующем: «Что же сделали профессора? Они тайно слили снова церковь и искусство!»

Между тем, иудеи как «угнетенная при царизме вера» были единственными, кому удавалось строить в Москве в 1920-е годы новые храмовые здания — тогда были поставлены вторая, поныне действующая синагога во 2-м Вышеславцевом переулке близ Сущевского вала, и третья, снесенная уже при Хрущеве, в Черкизове. А поелику застрельщиками слома зачастую служили не коренные жители русской столицы, приходилось этому приискивать какое-то оправдание. И вот автор еще одной, схожей с предыдущими статьи — «Конец Параскевы Пятницы», рассказывающей уже о разрушении этого храма в Охотном ряду («Рабочая газета», 29 июня 1928 г.), укрывшись под литерой «П», сочиняет следующий разговор, якобы услышанный им в толпе жителей, наблюдавших за уничтожением церкви:

— «Небось, синагоги не трогают, — бросает антисемитский тип, высокая гражданка в допотопной шляпе.

— Вот и неправда ваша, — отзывается молодайка с ребенком в руках. — Все одно — что церковь, что синагога. В Себеже, пишет тетка, всего одна синагога осталась». — Между тем, как свидетельствует энциклопедический словарь изд. Брокгауз-Ефрон, все население Себежа в ту пору составляло четыре с половиною тысячи человек преимущественно православного вероисповедания.

Афористически выраженным свидетельством всей этой кампании служит знаменитая фраза Лазаря Кагановича, произнесенная им, по преданию, при нажатии на взрыватель в момент подрыва храма Христа Спасителя: «Задерем подол матушке-Руси!»

Поскольку восемьдесят процентов дореволюционных школьных зданий было занято новыми учреждениями, в конце двадцатых годов в городе стало резко не хватать школ для увеличившегося населения: в имевшихся тогда в наличии детям приходилось заниматься в три смены. И вот Моссовет, не сумев придумать ничего лучшего, принимает решение — из сорока новых школ тридцать поставить на месте церквей в центре города (на деле план был несколько недовыполнен — снесли всего 23 храма). Кроме того, для жилищного и конторского строительства в центре было разрушено еще около восьмидесяти церковных зданий. А так как в середине 1920-х годов охранителям отечественной культуры удалось официально объявить ряд ценнейших храмов старой части города памятниками архитектуры, списки состоящих на государственном учете памятников были в 1934 г. в течение нескольких дней сокращены более чем наполовину: с семи тысяч до трех с небольшим. Сокращение проводилось в основном за счет церквей — и вот сложилось такое нелепое положение, что из числа прежде признанных памятниками было впоследствии снесено больше — до 60 процентов храмов, чем тех, что не считались таковыми (их сломано около 40 процентов).

Помимо этого, еще более бессмысленным было разрушение множества памятников, на месте которых и поныне зияют посреди Москвы пустыри и никак не используемые проплешины: из находившихся в центре назовем церковь Николая Чудотворца «Большой Крест» на Ильинке, церковь Успения на Покровке, церковь Николая Чудотворца «Стрелецкого» и церковь Знамения на Знаменке, церковь арх. Евпла на Мясницкой, церковь Рождества Богородицы в Столешниках и главный собор государства, памятник победы в войне 1812 г. — храм Христа Спасителя, чье место заступил никому не нужный и вредящий своему окружению открытый бассейн. Одних только туалетов, поставленных на костях снесенных церквей, было в первое время более двух десятков; ныне число их несколько сократилось, но и вплоть до последних лет там, где стоял выстроенный Пожарским храм-памятник победы над польско-шведским нашествием 1612 г. во имя Казанской Богоматери, на самой Красной площади близ угла ее с Никольской улицей, действовал общественный нужник — и ничего более.

В 1930 г. в городе был запрещен колокольный звон («Известия», 30 января), и с осени этого года колокола принялись свозить на электролитный завод в Верхних Котлах, где они переливались для треста Рудметаллторг. По воспоминаниям старожилов, с 1930-х гг. до середины 1940-х колокольный звон даже на Пасху можно было слышать только издалека: он разносился от находившейся тогда вне черты Москвы церкви Троицы на Воробьевых горах и порою достигал до Кремля. По неведомой прихоти судьбы именно на 1920-е гг. приходится пора творчества поразительного московского звонаря-виртуоза Константина Сараджева; книга о нем была тогда же написана Анастасией Цветаевой, погибла в 1930-е гг. и частично по памяти восстановлена автором в 1970-е (см. «Сказ о звонаре московском», журнал «Москва», 1977, № 7).

Как явствует из воспоминаний М. Л. Богоявленского, позолота с куполов и крестов обдиралась вместе с металлической основой, свозилась на завод им. Менжинского, и там химическим путем из доставленного лома «добывалось» чистое золото.

Ныне колокольный звон вновь разрешен, но отнюдь не во всех церквах: примерно половина их доселе немотствует — колокола либо были изъяты, либо треснули. Местное население может потребовать запрещения звона, в некоторых храмах приходится тогда убирать колокола внутрь и благовестить в них потихоньку в алтаре.

С конца 1920-х гг. общую участь с православными храмами разделили и церкви старообрядцев, вначале наряду с иудеями считавшихся «угнетенным при царском режиме сословием».

Обновленцы постепенно заняли главные городские церкви — храм Христа Спасителя, церковь Воскресения в Сокольниках, большинство кладбищенских храмов, приносивших наибольший доход благодаря требам.

Патриаршим собором одно время служил храм Богоявления в Дорогомилове, где подобно некоторых другим московским еще действующим храмам в 1920-е годы были доосвящены новые престолы, перенесенные из закрытых для служб зданий. В 1930 г. в этом соборе, ставшем тогда кафедрой Заместителя Патриаршего местоблюстителя митр. Сергия, был рукоположен в иеродиакона, а в 1931 г. во иеромонаха будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Как явствует из хроники, помещенной в выпускавшемся митр. Сергием в 1931-1935 «Журнале Московской Патриархии» (всего за пять лет вышло 24 номера, многие из которых сдвоенные, тираж 3000), собор еще действовал в 1932 г. и не упоминается с 1934 г., когда его место заступил храм Богоявления в Елохове — пока не именуемый, впрочем, кафедральным.

Последним из монастырей Москвы и едва ли не всей страны был закрыт в 1930 г. Даниловский. С 1930 г. по 1940 г. монастырей на территории государства не было; затем с вхождением в Союз Прибалтики и западных земель Украины, Белоруссии и Молдавии здесь вновь «оказались» более сотни действующих обителей. К 1985 г. в стране действовало 18 православных монастырей Русской Православной церкви, включая возобновленный с 1983 г. Данилов: три в России, 9 на Украине, один в Белоруссии, два в Латвии (один из которых числится «пустынькой» другого), один в Литве, один в Молдавии, один в Эстонии; кроме того близ Иерусалима РПЦ принадлежит женская Горненская обитель); в двух монастырях совместно «временно» состояли по две братии — в Жировицком в Белоруссии помимо своей мужской еще переведенный из Гродно Рождество-Богородичный женский монастырь, в виленском мужском Свято-Духовском монастыре живет женская община закрытого виленского же Марие-Магдалининского монастыря). Грузинская православная и армянская григорианская имели на территории СССР по две действующих обители.

Зимой 1941 г., как гласит современное московское предание, изрядно смутившийся Сталин вспомнил свое единственно незаконченное образование — тбилисскую духовную семинарию (откуда, как соответственно излагает предание кавказское, он был изгнан не столько за воровство, сколько за кощунственную проделку: нагадил в алтаре) и призвал к себе в Кремль духовенство для молебна о даровании победы; тогда же, продолжает легенда, чудотворная Тихвинская икона Богоматери из Тихвинской в Алексеевском церкви была на самолете обнесена кругом Москвы и Москву от врага спасла. А 9 декабря после первого успешного контрнаступления, предшествовавшего московскому, был освобожен г. Тихвин.

Местоблюститель Патриаршего престола митр. Сергий, возвратившийся из эвакуации в Ульяновске, был принят в 1943 г. Сталиным в Кремле и вскоре собором архиереев избран Патриархом. Затем, в конце 1943 г. возобновился выпуск поныне издающегося ежемесячника «Журнал Московской Патриархии». В 1944 г. в Новодевичьем монастыре были открыты Православно-Богословский институт и Богословско-пастырские курсы, переведенные несколько лет спустя в Троице-Сергиеву Лавру, где доселе действуют как Московские духовные академия и семинария. В 1944 г. Патриарх Сергий скончался и был погребен в северном приделе Богоявленского собора в Елохове. Тогда же ради съехавшихся на собор с целью избрания его преемника иностранных архиереев был вновь открыт малый собор Донского монастыря, где погребен Патриарх Тихон (есть сведения, что в 1930-е гг. останки Святителя переносились на Введенское Немецкое кладбище и в 1944 г. возвращены обратно). Патриархам для резиденции передан особняк бывшего германского посольства в Чистом переулке, где освящена Крестовая церковь Владимирской Божией Матери.

Прихожане стали подавать прошения об открытии вновь своих затворенных храмов, и некоторые из них удовлетворялись: так, удалось добиться возрождения церквей Всех Святых на Соколе, Всех Скорбящих на Ордынке, Гавриила Архангела (Меншикова башня) и Феодора Стратилата рядом с нею — тут поместилось Антиохийское подворье, Успения в Вешняках. Другие заявления остались без ответа — не выдано позволения возобновить службу в церкви Покрова в Филях, Спаса Преображения в Спас-Тушине и проч. В 1940-е гг. кроме Антиохийского, было открыто подворье Болгарской церкви при храме Успения в Гончарах, Александрийское в г. Одессе (ранее было в Москве), Сербское при церкви Петра и Павла на Кулишках в Москве (закрыто при разрыве отношений между Сталиным и Тито и более не возобновлялось).

Война нанесла Москве и урон: в самом начале, в 1941 г. под тем предлогом, что высокие колокольни служат ориентиром для немецкой артиллерии и авиации, разрушили звонницы церквей Спаса на Сетуни и Рождества Богородицы в Крылатском, а Никольский храм в сельце Никольском снесли совсем.

В хрущевское гонение конца 1950-х — начала 1960-х гг. кафедральный храм Преображения в Преображенском, памятник архитектуры, основанный при Петре I и перестроенный в 1768 г., был взорван (летом 1964) вопреки множеству протестов — по той вздорной причине, что якобы здесь нужно поставить будку новой станции метро. На самом деле будка впоследствии выросла ста метрами далее, а место, где стоял храм, поныне остается порожним. Как нарочно, и станция метрополитена, и площадь, где располагалась эта церковь, удержали ее имя — Преображенские. Кроме того, сносились здания закрытых храмов — как церковь Николая Чудотворца на Николо-Ямской. Сам Хрущев был «освобожден» от управления страной всего три месяца спустя после разрушения кафедрального собора московского митрополита, а впоследствии как бы в назидание погребен близ его новой кафедры — на Новодевичьем кладбище. С выбытием Никиты,

не совладавшего с боровшим его бесом, гонение постепенно утихло.

С 1940-х годов до нынешних не прекращается реставрация многих памятников храмового зодчества Москвы. Часто она сопровождается показухой — см. ряд прекрасных церквей на Варварке, попавших под окна безобразной коробки гостиницы «Россия»; часто длится десятилетиями — как посейчас не конченное восстановление церкви Спаса на Троекуровском кладбище, где ранее было село Спас-Сетунь. Но все же нельзя не назвать ее отрадным явлением.

В 1960-х гг. чрезвычайно деятельный митрополит Никодим (Ротов), возглавлявший Отдел внешних церковных сношений, освятил на даче этого отдела свою домовую церковь во имя Благовещения; дача находится в Серебряном Бору, и храм поныне действует, но вход в него посетителям возбранен.

В 1969 г. вопреки возражениям общественности, в том числе опубликованной в газете «Комсомольская правда» статье народного художника Павла Корина, носившей знаменательное заглавие: «Как гражданин России», — был взорван один из замечательнейших храмов Замоскворечья — церковь Иоакима и Анны, семиглавое здание которой выстроено в 1684-1686 гг. и дало имя Якиманской улице. Апрельской ночью 1972 г. взлетел на воздух другой храм на той же улице — Казанский у Калужской, ныне Октябрьской площади. Старостой этой церкви состоял отец писателя Ивана Шмелева, и ее приходская жизнь запечатлена в прекрасной книге его сына «Лето Господне». Здание церкви, перестроенной в XIX в., было к тому времени занято кинотеатром «Авангард» и изрядно запущено, а поскольку Москву намеревался посетить президент США Никсон, долженствовавший следовать по Якиманской (ныне Димитрова) улице мимо, то «страха ради иудейска» решено было храм взорвать (что перекликается со сносом в конце 1950-х гг. остатков древнейшей церкви Благовещения на Бережках, простоявшей на высоком берегу Москва-реки у Ростовской набережной более пяти веков и снесенной «к приезду» другого президента США, Эйзенхауэра, к тому же не состоявшемуся).

В 1976 г. приступили к сносу огромной церкви Михаила Архангела при клиниках Московского университета на Девичьем поле. Его удалось остановить, но вплоть до сей поры на треть разрушенное здание не может найти себе хозяина и поэтому так и стоит в развалинах, разрушаясь само по себе далее (на что, возможно, и рассчитывают сторонники слома). В феврале 1978 г. взорван старообрядческий храм на современной Электрозаводской улице, а летом того же годв снесены церкви Рафаила Архангела и кельи последнего по времени основания Всехскорбященского монастыря на Новослободской улице.

Даже к 600-летнему юбилею Куликовской битвы не удалось завершить победой борьбу за восстановление выстроенной в 1509 г. церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове, в которой погребены герои поля Куликова Пересвет и Ослябя. Храм оказался на территории завода «Динамо», приведшего его в ужасающее состояние и никак не желающего отдать назад. Ни неоднократные выступления печати, в том числе академика Лихачева в газете «Правда» и фоторепортаж в «Огоньке», ни усилия общественности не вызволили московской святыни — из нее только убрали сотрясавшие остатки стен моторы.

Разрушители не перевелись, но они предпочитают теперь скрывать свое имя: так, под 1 мая 1984 г. «кто-то» снес стоявшую на государственной охране богадельню при церкви Иоанна Воина прямо напротив французского посольства, выстроенную в XVIII в. Когда Общество охраны памятников и Государственная инспекция подняли вопрос о наказании виновных, оказалось, что производящий здесь работы по расширению улицы стройтрест никакого отношения к сносу как будто бы не имеет, и таким образом всего в версте от Кремля грубейшим образом был нарушен действующий «Закон об охране памятников», да еще «под праздник» — а кто совершил злодеяние, узнать невозможно.

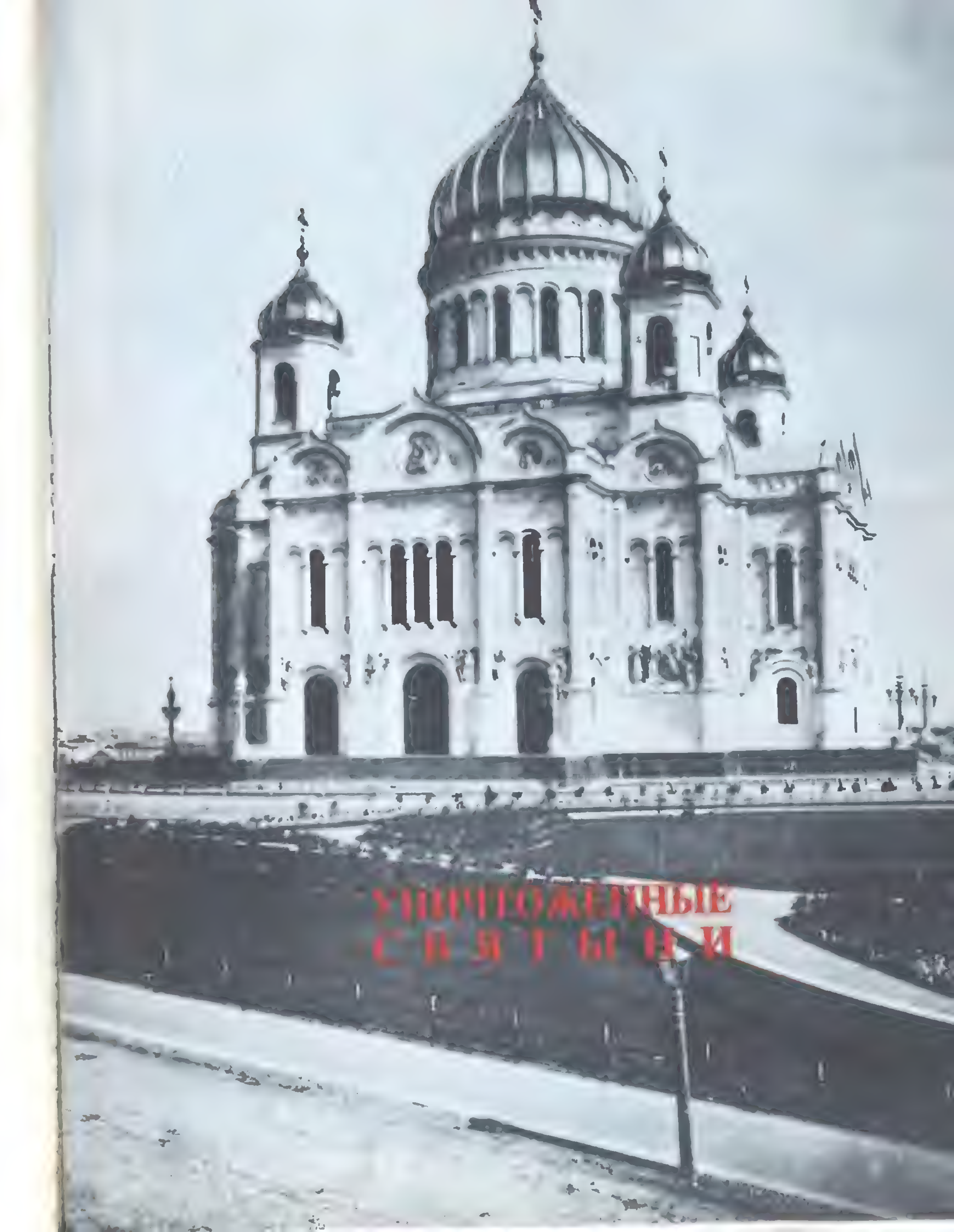
Мечта составить список «всех московских церквей» владела не одним десятком душ на протяжении десятилетий. Нам известно полдюжины более или менее завершенных попыток такого предприятия и множество оставленных без окончания. Тем не менее, данная работа сделана самостоятельно и лишь после того сверена со всеми доступными существующими печатными и рукописными аналогами, что дало возможность при сопоставлении более точно выверить данные.

Первый повод к началу собирательского труда дал составителю его добрый приятель Алексей Булатов, подаривший в 1975 г. ксерокопию перечня храмов с адресами из справочника «Вся Москва» на 1916 г. Подоспевшим Великим Постом ему захотелось обойти хотя бы все монастыри, и примерно на половине он встретился в Алексеевской обители с замечательным двенадцатилетним мальчиком, удивительно много неизвестного доселе поведавшим о московской церковной старине.

Затем начались те друг за другом обычно следующие счастливые совпадения, когда как нарочно впору попадается нужная книга или кто-то будто невзначай рассказывает точно ложащуюся в строку историю, откуда-то «сами собою» появляются тщетно разыскивавшиеся прежде сведения либо просто выдается свободное время для поисков в городе на местности. О них уже не раз говорили и писали те, кто долговременно и с любовью занимался каким-либо исследовательским трудом. И тогда, попав в самое средоточие всех названных выше скрещений, составитель почувствовал себя попросту обязанным, оставив все прочие занятия, вплотную приступить к изучению истории московских святынь, итог которого пятнадцать лет спустя лежит перед читателем.

Недостающее слово не произнесено, и пустыня все еще алчет воплощения — но на пути ее встало Тысячелетие Крещения Руси. Буквально за год почти из праха возник Данилов монастырь, воскрешенный молитвенным тщанием первых его насельников и множества трудников, сошедшихся со всей страны восстанавливать стены своей святыни. Быть может, с вышней точки зрения вся наконец завершенная наша работа являлась не исполненным изгибов и закавык странствием в лабиринте улиц и бесчисленных строк, печатных и рукописных, — а всего лишь коротким прямым путем к той минуте, когда, дописав последнее предложение, составитель ее оказался в нижнем храме Данилова на всенощном бдении накануне дня памяти князя Даниила Московского. Здесь вместе с пришедшими от иконописных и прочих послушаний иноками и спустившимися с лесов рабочими и его грешным устам довелось пропеть всем миром возглашаемый тропарь преподобному основателю монастыря — который ныне завершает богослужение во всех московских церквах, а сочинен был взамен древнего здесь же в обители как раз вскоре после 1917 г: ЯВИЛСЯ ЕСИ В СТРАНЕ НАШЕЙ ЯКО ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ, СВЯТЫЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЖЕ ДАНИИЛЕ, ЛУЧАМИ СВЕТА ОЗАРЯЯ ГРАД ТВОЙ И ОБИТЕЛЬ ТВОЮ, ЛЮДЕМ ПРАВОСЛАВНЫМ ПОБОРНИК ЕСИ, ПЛЕННЫМ СВОБОДИТЕЛЬ И НИЩИМ ЗАЩИТИТЕЛЬ, МОЛИ ХРИСТА БОГА ДЕРЖАВЕ РОССИЙСТЕЙ ДАРОВАТИ МИР И СПАСТИ ДУШИ НАША.

Московский коллекционер, собиратель почтовых открыток И. М. Перкас любезно предоставил нам, а фотомастер Ю. Н. Садовников переснял несколько старинных цветных открыток начала XX века, запечатлевших московские памятники, к нашему великому сожалению и скорби уничтоженные в пору советской власти. Это и белоснежный Казанский собор (см. стр. 40), знававший неистового Аввакума, Чудов (см. стр. 38) и Вознесенский (см. стр. 35) монастыри (1365 г.) — рукотворные свидетели собирания великой Руси...



УНИЧТОЖЕННЫЕ
С В Я Т Ы Н И

Москва. Общiй видъ Москвы съ Воробьевыхъ горъ.
MOSCOU. Vue générale prise des monts de moineaux.





УНИЧТОЖЕННЫЕ
СВЯТЫНИ
УНИЧТОЖЕННЫЕ
СВЯТЫНИ
KODAK EPY 6037





УНИЧТОЖЕННЫЕ
СВЯТЫНИ

УНИЧТОЖЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Москва. Красная площадь, Никольская улица.
MOSCOU. Place Rouge. Rue Nicolsky.

ИСТОРИЯ

Очерки. Мемуары. Документы.

ОТ ФЕВРАЛЯ



ДО ОКТЯБРЯ

Рубрику вели Андрей Кочетов и Алексей Тимофеев.

Летопись в рассказах лидеров, участников и очевидцев революционных дней.

Окончание.
Начало в № 11/1989, №№ 2—4, 7—10/1990.

7 ноября (25 октября) открылось торжественное заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Л. Троцкий от имени Военно-революционного комитета объявил, что Временного правительства больше не существует. Выступивший затем В. И. Ленин говорил: «...Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в конечном итоге привести к победе социализма... Да здравствует всемирная социалистическая революция».

Лишь в самое последнее время появилась возможность исследовать истинные причины глубокого кризиса, приведшего нашу страну к тяжким потрясениям, к таким жертвам и перенапряжению всех сил и ресурсов, что в наши дни во всей остроте стоит грозный вопрос «Есть ли у России будущее?» Знание событий 1917 года, всей истории русской смуты особенно важно сейчас еще и потому, что в сегодняшних событиях угадывается многое из того, что уже имело место...

Удалось ли в рамках нашей рубрики достичь тех целей, которые ставились год назад? В восьми выпусках были представлены почти все объявленные книги и авторы. Читатель получил возможность познакомиться с фаталистически-безысходными воспоминаниями председателя последней Государственной думы М. В. Родзянко, с крайне энергичными по тону рассказом большевика-организатора А. Г. Шляпникова и статьей И. В. Сталина, с дипломатически-суховатыми оправданиями английского посла Д. Бьюкенена и тонкими наблюдениями французского посла М. Палеолога, с записками быстро набирающего атаманскую силу анархиста Н. И. Махно и столь же стремительно падающих с вершины власти либералов и демократов В. Д. Набокова, В. М. Чернова и В. Б. Станкевича, ощутить пафос революционера С. Д. Мстиславского и горечь генерала А. И. Деникина, мужество терпящего поражение офицера Г. К. Графа и веру митрополита Вениамина, в своих эмигрантских раздумьях не теряющего надежд... Со страниц «Слова» повествуют об увиденном свидетели одного из самых драматических событий отечественной истории — отречения Николая II и попытки обуздать революционную стихию — корниловского выступления... Сожалеем о том, что объем публикаций был ограничен возможностями нашего журнала. Надеемся, что небесполезной для читателя была и хроника революции, связывающая воедино фрагменты из книг и рукописей.

Почему же не принесли ожидаемых результатов благие намерения участников тех событий, каждый из которых по-своему желал процветания своей стране, хотя бы и в качестве составляющей мировой революции? Почему судьба оказалась столь безжалостной к представителям всех противоборствовавших тогда политических течений? Эмигрантский публицист Иван Солоневич (который будет представлен в «Слове» одной из своих статей) писал в своей книге «Народная монархия» о том, что истоки кризиса очень глубоки, ибо еще с петровских времен, по его мнению, правящий слой и интеллигенция оказались оторванными от народной почвы, о том, что и правые и левые «искали идейных опорных точек где угодно, но только не у себя дома. Правое крыло базировалось на немцах-министрах и на немцах-управляющих, оно нуждалось в дисциплине, которая держала бы массы в беспрекословном повиновении. Левое крыло обращало свои взоры к французской революции и черпало оттуда свое вдохновение для революции и ГПУ. Центр пытался копировать Англию, забывая о том, что для английского государственного строя нужно и английское островное положение. Так шла история «русской общественной мысли», русская история, но без России». Далее И. Солоневич продолжает: «Оторванными от народа... оказались и красная, и белая сторона нашей гражданской войны... Красная сторона оказалась более гибкой, более организованной — и ее расплата еще не закончена».

В заключительном выпуске рубрики «От Февраля до Октября» мы представляем фрагменты из книг двух видных представителей политической борьбы того времени. Александр Федорович Керенский (1881—1970) — из присяжных поверенных (адвокат на государственной службе) выросший до председателя фракции трудовиков в Государственной думе, а затем, после Февраля, до главнокомандующего и министра-председателя во Временном правительстве. Весной 1917 года его называли «первым любовником революции», осенью — «главноуговаривающим», бессильным остановить надвигающийся хаос, удержать на фронтах разложившуюся армию...

Оказавшись в эмиграции во Франции, а затем в США (умер А. Ф. Керенский в Нью-Йорке), он обвиняет большевиков в сотрудничестве с германским Генеральным штабом, издает газету «Дни», пишет мемуары, составляет сборники документов Временного правительства (большая часть этих книг на русский язык не переведена). Публикуемый в «Слове» фрагмент взят из книги «Гатчина» (М., 1922).

Завершает наши публикации еще один отрывок из книги А. И. Деникина «Очерки русской смуты».

В 1990 году, как сообщает «Наша афиша», редакция в продолжение рубрики «От Февраля до Октября» открывает новый исторический раздел «Террор и гражданская война», основой которого также будут служить документы и свидетельства очевидцев тех лет.

А. Ф. КЕРЕНСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ АКТ



Последний акт борьбы Революционного Временного Правительства с большевиками слева и справа продолжается с 24-го октября по 1-ое ноября 1917 года. Да, я в особенности настаиваю на том, что мы боролись сразу на два фронта. И никто никогда не будет в состоянии опровергнуть ту несомненную связь, которая существовала между большевистским восстанием и усилиями реакции свергнуть Временное Правительство и повергнуть государственный корабль вспять к берегу социальной реакции.

После безуспешной для заговорщиков и столь несчастной для государства попытки свергнуть Временное Правительство вооруженной рукой ген. Корнилова, общественные группы, поддерживавшие «диктатора» и связанные с ним постановили: не оказывать правительству в случае столкновения его с большевиками никакой помощи. Их стратегический план состоял в том, чтобы сначала не препятствовать успехам вооруженного восстания большевиков, а затем после падения ненавистного Временного Правительства быстро подавить большевистский «бунт». Таким образом, должны были быть достигнуты, наконец, цели, поставленные Корниловскому восстанию.

Военные и штатские стратеги, авторы этого замечательного плана, были твердо убеждены в том, что большевистский триумф не представит из себя никакой серьезной опасности и что в 3-4 недели «здоровые элементы» русского народа справятся с бунтующей массой и установят в России «сильную власть». Увы, выполнив блестяще первую, так сказать, пассивную часть своего плана — «свергнув» руками большевиков Временное Правительство — наши «патриоты» оказались совершенно неспособными к осуществлению его второй, активной, действенной части: оказались неспособными победить большевиков не только в три месяца, но и в три года...

Около 20-го октября начали большевики осуществлять в С.-Петербурге свой план вооруженного восстания для свержения Временного Правительства во имя «мира, хлеба и скорейшего созыва Учредительного Собрания». Эта подготовка шла довольно успешно, в частности, и потому, что остальные социалистические партии и советские группировки, относясь ко всем сведениям о готовящихся событиях, как к «контрреволюционным измышлениям», даже не пытались своевременно мобилизовать свои силы, способные в нужный момент оказать сопротивление большевистским затеям внутри самой «революционной демократии». Со своей стороны правительство готовилось к подавлению мятежа, но не рассчитывая на окончательно деморализованный Корниловским выступлением СПб.-гарнизон, изыскивало другие средства воздействия. По моему приказу с фронта должны были в срочном порядке выслать в СПб. войска и первые эшелоны с Северного фронта должны были появиться в столице 24-го октября.

В то же время полк. Полковников, командующий войсками СПб. военного округа, получил приказ разработать подробный план подавления мятежа, ему же было предложено своевременно взять на учет и сорганизовать все верные долгу части гарнизона. Полк. Полковников каждое утро лично представлял мне рапорт: причем постоянно докладывал, что во вверенных ему войсках частей, которым может располагать Правительство, «вполне достаточно» для того, чтобы справится с готовящимся восстанием. К великому сожалению, мы, члены Правительства, слишком поздно узнали, что, как сам Полковников, так и часть его штаба вели в эти роковые дни д в о й н у ю и г р у и примыкали как раз к той части офицерства, в планы которого входило свержение Временного Правительства руками гг. большевиков.

24-го октября было уже совершенно очевидно, что восстание неизбежно, что оно уже началось. Около 11 часов утра я явился в заседание Совета Республики и попросил Н. Д. Авксентьева, председателя Совета, представить мне, как председателю Временного Правительства, немедленное слово для срочного сообщения, которое я должен сделать Совету Республики. Получив слово, я заявил, что в моем распоряжении находятся бесспорные доказательства организации Лениным и его сотрудниками восстания против Революционного Правительства. Я заявил, что все возможные меры для подавления восстания приняты и принимаются Вр. Пр.; что оно будет до конца бороться с изменниками Родины и Революции; что оно прибегнет без всяких колебаний к военной силе, но что для успешности борьбы Правительству необходимо немедленное содействие всех партий и групп, представленных в Совете Республики, всей меры доверия и содействия. Для того, чтобы восстановить себе настроение того времени, достаточно вспомнить, что во время моей речи члены Совета Республики не раз, стоя, с особым подъемом свидетельствовали о своей полной солидарности с Временным Правительством в его борьбе с врагами народа. В минуты этого всеобщего подъема только некоторые одиночные представители партий и группировок, тесно связанных с двумя крайними флангами русской общественности, не могли преодолеть в себе жгучей ненависти к Правительству Мартовской Революции: они продолжали сидеть, когда все собрание поднималось, как один человек.

Уверенный в том, что представители народа до конца осознали всю исключительную тяжесть и ответственность положения, я, не ожидая голосования Совета, вернулся в Штаб к прерванной срочной работе, думая, что не пройдет и часа, как я получу сообщение о всех решениях и деловых начинаниях Совета Республики в помощь Правительству.

Ничего подобного не случилось. Совет, раздираемый внутренними распрями и непримиримыми разноречиями мнений, до позднего вечера не мог вынести никакого решения. Вожди всех антибольшевистских и демократических партий вместо того, чтобы спешно организовать свои силы для трудовой борьбы с изменниками, весь этот день и весь вечер потеряли на бесконечные и бесполезные споры и ссоры.

А тем временем, уже господствуя в Смольном и готовясь к последнему удару, большевики повсюду кричали, что все утверждения о «каком-то» большевистском восстании являются измышлениями «контрреволюционера» и «врага народа» Керенского. К сожалению, хорошо зная психологию своих советских противников, большевики этим приемом превосходно достигли своих целей.

Никогда я не забуду следующей, поистине исторической сцены. Полночь на 25 октября. В моем кабинете в перерыве заседания Вр. Правительства, происходит между мной и делегацией от социалистических групп Совета Республики достаточно бурное объяснение по поводу принятой наконец левым большинством Совета резолюции по поводу восстания, которую я требовал утром. Резолюция, уже никому тогда ненужная, бесконечно длинная, запутанная, обыкновенным смертным мало понятная в существе своем, если прямо не отказала правительству в доверии и поддержке, то во всяком случае совершенно недвусмысленно отделяла левое большинство Совета Республики от правительства и его борьбы. Возмущенный, я заявил, что после такой резолюции правительство завтра же утром подаст в отставку; что авторы этой резолюции и голосовавшие за нее должны взять на себя ответственность за события, хотя, по-видимому, они о них имеют очень малое представление. На эту мою взволнованную филиппику спокойно и рассудительно ответил Дан, тогда не только лидер меньшевиков, но и т. д. председателя В.Ц.И.К. Конечно, я не могу сейчас воспроизвести заявление Дана в его собственных выражениях, но за точность смысла передаваемого ручаюсь; прежде всего Дан заявил мне, что они осведомлены гораздо лучше меня и что я преувеличиваю события под влиянием сообщений моего «реакционного штаба». Затем он сообщил, что неприятная «для самолюбия правительства» резолюция большинства Совета Республики чрезвычайно полезна и существенна для «перелома настроения в массах», что эффектное уже сказывается, и что теперь влияние большевистской пропаганды будет «быстро падать». С другой стороны, по его словам, сами большевики в переговорах с лидерами советского большинства изъявили готовность «подчиняться воле большинства советов», что они готовы «завтра же» предпринять все меры, чтобы потушить восстание, «вспыхнувшее» помимо их желания, без их санкции. В заключение Дан, упомянув, что большевики «завтра же» (все завтра) распустят свой военный штаб, заявил мне, что все принятые мной меры к подавлению восстания только раздражают массы и что вообще я своим вмешательством лишь мешаю представителям большинства советов успешно вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания... Для полноты картины нужно добавить, что как раз в то время, как мне делалось это замечательное сообщение, вооруженные отряды красной гвардии занимали одно за другим правительственные здания. А почти сейчас же по окончании этой беседы, на Миллионной улице по пути домой с заседания Вр. Правительства был арестован министр исповеданий Карташев и отвезен в Смольный, куда отправились и члены бывшей у меня делегации вести мирные беседы с большевиками.

Нужно признать, большевики действовали тогда с большой энергией и не меньшим искусством.

В то время, когда восстание было в полном разгаре и «красные войска» действовали по всему городу, некоторые большевистские лидеры, к тому предназначенные, не без успеха старались заставить представителей «революционной демократии» смотреть, но не видеть; слушать, но не слышать. Всю ночь напролет провели эти искусники в бесконечных спорах над различными формулами, которые якобы должны были стать фундаментом примирения и ликвидации восстания. Этим методом переговоров большевики выиграли в свою пользу огромное количество времени. А боевые силы с.-р. и меньшевиков не были вовремя мобилизованы. Что, впрочем, и требовалось доказать.

Не успел я кончить разговор с Даном и его товарищами, как ко мне явилась делегация от стоявших в С.-Петербурге казачьих полков, насколько помню, из двух-трех офицеров и стольких же строевых казаков. Прежде всего делегация эта сообщила, что казаки желают знать, какими силами я располагаю для подавления мятежа. А затем заявила, что казачьи полки только в том случае будут защищать правительство, если лично от меня получат заверение в том, что на этот раз казачья кровь «не прольется даром», как это было в июле, когда будто бы мной были приняты против бунтовщиков достаточно энергические меры. Наконец, делегаты особенно настаивали на том, что казаки будут драться только по особому моему личному приказу.

В ответ на это, я прежде всего указал казакам, что подобного рода заявления в их устах, как военнослужащих, недопустимы; в особенности сейчас, когда государству грозит опасность и когда каждый из нас должен до конца без всяких рассуждений исполнить свой долг. Затем я прибавил: «Вы отлично знаете, что во время первого восстания большевиков с 3-го по 6-е июля я был на Западном фронте, где начиналось тогда наступление; вы знаете, что, бросив фронт, я 6-го июля приехал в Петроград и сейчас же приказал арестовать всех большевистских вождей; вы знаете также, что тут же я уволил от должности командующего войсками ген. Половцева, именно за его нерешительность во время этого восстания». В результате этого переговора казаки категорически заявили мне, что все их полки, расположенные в Петрограде, исполнят свой долг. Я тут же подписал особый приказ казакам немедленно поступить в распоряжение штаба округа и беспрекословно исполнять все его приказания. В этот момент, в первом часу ночи, 25-го октября, у меня не было ни малейших сомнений в том, что эти три казачьих донских полка не нарушат своей присяги, и я немедленно послал одного из моих адъютан-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ОКТЯБРЬ

18—31 — среда. Заседание Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Выступление представителей фронта, заявивших, что «фронт сейчас желает только одного — прекращения войны во что бы то ни стало». Избрано 8 делегатов на Всероссийский Съезд Советов: 5 — с.-д. большевиков, 2 — эс-эра, 1 — меньшевик. Выступление Л. Д. Троцкого по поводу появившихся сообщений в печати о готовящемся выступлении, заявившего, что «если Петроградский Совет найдет необходимым назначить выступление, то он это сделает»...

21 — 3 — суббота. В заседании Петроградского Совета Военно-Революционный Комитет признан руководящим органом войск столицы. — Экстренное общее собрание полковых комитетов петроградского гарнизона, на котором были приняты резолюции, предложенные Л. Д. Троцким, о Военно-Революционном Комитете, которому петроградский гарнизон обещает поддержку во всех его шагах; о «Дне Петроградского Совета» 22/X — когда будет произведен подсчет революционных сил и о Всероссийском Съезде Советов, который, взяв власть в свои руки, обеспечит народу мир, землю и хлеб.

23 — 5 — понедельник. В заседании Петроградского Сов. Р. и С. Д. одобрена деятельность В.-Р. К. и решено дело организации рабочей гвардии, задача которой состоит в борьбе «с контр-революцией и в защите завоеваний революции», взять в свои руки. — В.-Р. К. опубликовал объявление к населению Петрограда, в котором он извещает о назначении комиссаров при воинских частях и особо важных пунктах столицы и окрестностей.

24 — 6 — вторник. Отрядом юнкеров закрыты газеты «Солдат» и «Рабочий Путь» и типографии, в которых газеты печатались. — Врем. Прав. постановило возбудить уголовное преследование против членов В.-Р. К. при Петроградском Совете, которым вменяется в вину распространение воззвания с призывом к неповиновению властям и деятельность, направленная против власти. — Мин. юстиции в срочном порядке отправил прокурору палаты приказ о немедленном аресте большевиков, участников событий 3-5 июля, которые после освобождения проявили себя какою-либо противоправительственной агитационной деятельностью. — Врем. Прав. затребовало ударный батальон из Царского Села, школу прапорщиков из Петрограда, артиллерию из Павловска. — Во все юнкерские училища отдано распоряжение находиться в полной боевой готовности. — Отдано распоряжение развести мосты через Неву, кроме Дворцового. — Патрулям юнкеров предписано контролировать автомобили. — В 3 часа дня прекращено всякое движение через мос-

ты. — К Зимнему дворцу вызваны юнкера и женский батальон. — Отдано распоряжение выключить из телефонной сети все аппараты Смольного И-та. — Для Ц.И.К. подготовлено помещение в штабе П.В.О. — Вечером происходили отдельные столкновения с отрядами солдат, противодействовавших разведению мостов. — В заседании Совета Республики выступил Керенский с заявлением, что руководящие «попыткой поднять чернь против существующего порядка «группы и партии» подлежат немедленной, решительной и окончательной ликвидации». Керенский сообщил, что им предложено начать судебное следствие и произвести необходимые аресты, и требовал поддержки Совета Республики. — На пленуме Ц.И.К. Л. Троцкий в своей речи призывал членов предстоящего съезда идти со штабом революции, а не со штабом его врагов. «Если вы не дрогнете, — говорил он, — то гражданской войны не будет, так как наши враги сразу капитулируют и вы займете место, которое принадлежит вам по праву, — место хозяина русской земли».

25 — 7 — среда. В 2 часа утра войсками В.-Р. К. занят вокзал, мосты, осветительные учреждения, главный телеграф, Петроградское телеграфное агентство.

В 7 ч. утра в руки В.-Р.К. перешла телефонная станция.

В 10 ч. утра В.-Р.К. выпустил воззвание, в котором объявлено, что «Врем. Прав. низложено и что государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Р. и С.Д., Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян». — По приказу В.-Р.К. из Крестов освобождены большевики, арестованные в связи с событиями 3—5 июля. — Керенский выехал в Гатчину. Вр. Правительство возложило на Кишкина исключительные полномочия по водворению порядка в столице и защите Петрограда. Помощниками назначены Пальчинский и Рутенберг. От имени мин. вн. дел Никитина разосланы телеграммы в провинцию об оказании «самого решительного сопротивления организациям, угрожающим своими анархическими выступлениями погубить дело революции и свободы». — Воззвание Вр. Пр. к гражданам и к фронту с призывом к борьбе с «безумцами, поднявшими восстание против единственной государственной власти, установленной народом впредь до Учр. Собр.,

ХРОНИКА СОБЫТИЙ — ОКТЯБРЬ

гов в штаб сообщить, что можно вполне рассчитывать на казаков.

Как утром, в Совете Республики, я еще раз жестоко ошибся. Я не знал, что пока я разговаривал с делегатами от полков, совет казачьих войск, заседавший всю ночь, решительно высказался за н е в м е ш а т е л ь с т в о казаков в борьбу Временного Правительства с восставшими большевиками.

После моих бесед с Даном и с казаками, я вернулся в заседание Временного Правительства. Всякому легко себе представить ту напряженную нервную атмосферу, которая царила в этом ночном заседании, в особенности после известия о захвате красной гвардией центрального телеграфа, почтамта и некоторых других правительственных зданий. Однако, ни у кого из нас не возникла даже мысль о возможности каких-либо переговоров или соглашений с засевшими в Смольном предателями. В этом отношении среди членов Временного Правительства господствовало полное единодушие. Зато некоторые из членов правительства весьма сурово критиковали «нерешительность» и «пассивность» высших военных властей, совершенно не считаясь с тем, что нам приходится действовать, все время находясь между молотом правых и наковальней левых большевиков. Впрочем, эти строгие критики не проявили ни малейшего стремления принять активное участие в организации борьбы с разгоравшимся восстанием или, хотя бы, более энергично поддержать меня. Насколько помню, заседание Временного Правительства окончилось в начале второго часа ночи и все министры отправились по домам. Я остался один с А. И. Коноваловым, моим заместителем, министром торговли и промышленности. Мы были с ним неразлучны всю ночь. Да М. Терещенко остался еще некоторое время после ухода остальных министров в Зимнем дворце.

Между тем, в городе восстание разрасталось с невероятной быстротой. Вооруженные отряды большевиков все тесней и тесней окружали здание Зимнего дворца и штаба военного округа. Солдаты лейб-гвардии Павловского полка устроили у своих казарм, в конце Миллионной ул. и Марсова поля настоящую западню, арестуя всех «подозрительных», шедших по направлению от дворца. Так был захвачен «в плен» Карташев, о котором я уже говорил, и управляющий делами Временного Правительства А. Вальперн. Дворец охранялся лишь юнкерами и небольшим отрядом блиндированных автомобилей. Сейчас же после окончания заседания правительства ко мне явился командующий войсками со своим начальником штаба. Они предложили мне организовать силами всех оставшихся верными Временному Правительству войск, в том числе и казаков, экспедицию для захвата Смольного института, — штаб-квартиры большевиков. Этот план получил сейчас же мое утверждение, и я настаивал на его немедленном осуществлении. Во время этого разговора я все с большим вниманием наблюдал за странным и двусмысленным поведением полк. Полковникова, все с большей тщательностью следя за кричащим противоречием между его весьма оптимистическими и успокоительными сообщениями и печальной известной мне уже действительностью. Ведь стало более чем очевидно, что все его рапорты последних 10—12 дней о настроениях в войсках, о степени готовности его собственного штаба к решительной борьбе с большевиками — все они были совершенно ни на чем не основаны.

Во время моего совещания с командующим войсками явился Роговский. Правительственный комиссар по градоначальству, с чрезвычайно тревожными новостями, ни в чем не совпадающими с только что мною выслушанными сведениями полк. Полковникова. Между прочим от Е. Ф. Роговского мы узнали, что значительное количество судов Балтийского флота в боевом порядке вошло в Неву; что некоторые из этих судов поднялись до Николаевского моста; что этот мост, в свою очередь, занят отрядами восставших, которые уже продвигаются дальше к Дворцовому мосту. Роговский обратил наше особое внимание на то обстоятельство, что большевики осуществляют весь свой план «в полном порядке», не встречая нигде никакого сопротивления со стороны правительственных войск. Мне же в отдельности Роговский передал неоднократно сделанное им наблюдение: Штаб петроградского военного округа с совершенным безразличием, не проявляя никакой деятельности, следит за происходящими событиями.

Из сопоставления рапорта полк. Полковникова с докладом Роговского выводы получились кричащие. Времени более нельзя было терять ни минуты. Нужно было все бросать и идти в Штаб.

Вместе с А. И. Коноваловым в сопровождении адъютантов отправились мы в Штаб, проходя по бесконечным, почти не освещенным коридорам и нижним залам дворца, где ложились уже спать бывшие в обычном карауле юнкера... Здание Штаба было переполнено офицерами всех возрастов и рангов, делегатами различных войсковых частей. Среди этой военной толпы повсюду шныряли какие-то никому не известные штатские. Поднявшись на 3-й этаж прямо в кабинет командующего войсками, я предложил полк. Полковникову сделать сейчас же подробный доклад о положении дел. Доклад окончательно убедил нас — Коновалова и меня — в невозможности больше полагаться на полк. Полковникова и на большинство офицеров его штаба. Необходимо было в срочном порядке хотя бы в последний час собрать вокруг себя всех оставшихся верными долгу. Нужно было сейчас же брать в свои руки командование, но только уже не для наступательных действий против восставших, а для защиты самого правительства до прихода свежих войск с фронта и до новой организации правительственных сил в самой столице.

В самом штабе округа было несколько высших офицеров, на которых я мог положиться с закрытыми глазами. Но этого было, очевидно, слишком мало. Я распорядился вызвать по телефону тех, чье присутствие мне казалось особенно нужным, и просить их явиться в Штаб без замедления. Затем я решил привлечь партийные военные организации П. С. Р.

Мучительно тянулись долгие часы этой ночи. Отовсюду мы ждали подкреплений, которые, однако, упорно не появлялись. С казачьими войсками шли беспрерывные переговоры по телефону. Под разными предлогами казаки упорно отсиживались в своих казармах, все время сообщая, что вот-вот через 15—20 минут они «все выяснят» и «начнут седлать лошадей». С другой стороны партийные боевые силы не только не появлялись в Штабе, но и в городе-то не проявляли никакой деятельности. Этот загадочный с первого взгляда факт объяснялся крайне просто. Партийные центры, увлеченные бесконечными переговорами со Смольным, гораздо более рассчитывая на авторитет «резолюции», чем на силу штыков, не удосужились вовремя сделать соответствующие распоряжения. Вообще, нужно признать, что в то время, как большевики слева действовали с напряженной энергией, а большевики справа всячески содействовали их скорейшему триумфу, в политических кругах, искренне преданных Революции и связанных в своей судьбе с судьбой Вр. Правительства, господствовала какая-то непонятная уверенность, что «все образуется», что нет никаких оснований особенно тревожиться и прибегать к героическим мерам спасения.

Между тем ночные часы шли. И чем ближе было утро, тем невыносимее и напряженнее становилась атмосфера в Штабе. Один из преданных и честных офицеров, вызванный мной на работу, отдав себе отчет в том, что происходит в Штабе, и, в особенности, присмотревшись к действиям полк. Полковникова, пришел ко мне и с волнением заявил, что все происходящее он не может назвать иначе, как и з м е н о й. Действительно, офицерство, собравшись в значительном количестве в Штабе, вело себя по отношению к правительству, а в особенности, конечно, ко мне, все более вызывающе. Как впоследствии я узнал, между ними по почину самого полк. Полковникова шла агитация за необходимость моего ареста. Сначала об этом шептались, а к утру стали говорить громко, почти не стесняясь присутствия «посторонних». Безумная идея владела тогда многими умами: без Керенского можно будет легче и скорее справиться с большевиками; можно будет без затруднений создать, наконец, эту, так называемую, сильную власть. И не подлежит никакому сомнению, что всю эту ночь полк. Полковников и некоторые другие офицеры Штаба округа находились в постоянных сношениях с противоправительственными правыми организациями, усиленно тогда действовавшими в городе, как, например, с Советом союза казачьих войск, с союзом георгиевских кавалеров, с СПБ. отделом союза офицеров и прочими подобного же рода военными и гражданскими учреждениями.

Конечно, эта удушливая атмосфера не могла не воздействовать на настроение всех тех защитников существующей власти, которые были в общении с Штабом. Уже с вечера юнкера, настроение которых сначала было превосходно, стали терять бодрость духа; позднее начала волноваться команда блиндированных автомобилей; каждая лишняя минута напрасного ожидания подкреплений все более понижала «боеспособность» и у тех и у других.

В седьмом часу утра, переговорив еще раз по прямому проводу со ставкой Главкосева о всяческом ускорении высылки в СПБ. верных войск, так и не дождавшись казаков, которые все еще «седлали лошадей», мы с Коноваловым, разбитые впечатлениями этой ночи и переутомленные, отправились назад в Зимний Дворец хоть немного вздремнуть. Помню, как по дороге нас не раз окружали группы взволнованных юнкеров; помню, как приходилось успокаивать и разъяснять все страшные для государства последствия успеха большевиков.

Поднявшись наверх в свои комнаты, я думал сейчас же собрать всю мою переписку, документы и отправить все это на хранение в верное место. Но тут же я почувствовал, какое тягостное впечатление произведет вся эта операция на всех, находящихся во дворце, и отказался от своего намерения. Таким образом, все бумаги, хранившиеся у меня лично и в некоторой своей части представлявшие значительный интерес, в следующую ночь частью попали в руки большевиков, частью просто исчезли.

Расставшись с Коноваловым, дав несколько неотложных распоряжений «на всякий случай», я остался один и лег, не раздеваясь, на стоявшую в моем кабинете оттоманку... Заснуть я не мог. Лежал с закрытыми глазами в какой-то полудреме.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ — ОКТЯБРЬ

против Врем. Прав.». — Радиотелеграмма В.-Р.К. «к тылу и фронту» с сообщением о низложении правительства Керенского, заканчивающаяся словами: «Власть на местах переходит в руки Советов Р., С. и Кр. Д.». Первое заседание Комитета общественн. безопасности, на котором решено приступить к организации районных комитетов общественной безопасности. — Радиотелеграммы В.-Рев. Комитета всем армейским комитетам Действующей армии и всем Советам Солдатских Депутатов о свержении правительства Керенского, восставшего против революции и народа. Переворот произошел бескровно. В.-Рев. Ком. призывает революционных солдат бдительно следить за поведением командного состава, не допускать отправки с фронта неверных частей на Петроград.

В 2 ч. дня был окружен Мариинский Дворец, в котором находился Совет Республики. Членам Совета было предложено немедленно оставить помещение. Совет старейшин Предпарламента постановил считать занятия «временно прерванными» и выразил протест против «насилия». — Из Кронштадта присланы отряды матросов, крейсер «Аврора» и 4 миноносца. — В Смольный доставлены арестованные министры Прокопович и Гвоздев.

В 2 ч. 35 мин. дня открылось торжественное заседание Петроградского Сов. Р. и С.Д. Л. Троцкий сделал сообщение: «От имени Военно-Революционного Комитета объявляю, что Вр. Пр. больше не существует. (Аплодисменты.) Отдельные министры подвергнуты аресту. (Браво). Другие будут арестованы в ближайшие дни или часы... Мы здесь бодрствовали всю ночь и, находясь у телефонной проволоки, следили, как отряды революционных солдат и рабочей гвардии бесстрашно исполняли свое дело. Вокзалы, почта, телеграф, П.Т.А., Гос. банк — заняты. Зимний Дворец еще не взят, но судьба его решится в течение ближайших минут». (Аплод.) Бурными овациями встречено сообщение Л. Троцкого о присутствии в заседании Н. Ленина, Г. Зиновьева. Речь Ленина: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась... Отныне наступает новая полоса в истории России и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма... В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Да здравствует всемирная социалистическая революция». После речи Луначарского и Зиновьева принимается резолюция с выражением непоколебимой уверенности, что «Рабочее и Крестьянск. Правительство, которое, как Советское Пра-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

вительство, будет создано революцией и которое обеспечит поддержку городскому пролетариату со стороны всей массы беднейшего крестьянства, что это правительство твердо пойдет к социализму, — единственному средству спасения страны от неслыханных бедствий и ужасов войны». Постановлено послать комиссаров на фронт для ознакомления с происшедшими событиями.

В 5 ч. в. к Зимнему Дворцу стали подходить войска В.-Р.К. и броневики.

В 6 ч. в. Комитет Петропавловской крепости предложил штабу округа сдать здание штаба в течение 20 мин. Через 10 м. по истечении срока штаб округа сдался.

К 7 ч. в. доступ во дворец был прекращен.

В 8 ч. 30 мин. в. Вр. Пр. было вручено ультимативное требование Петр. Совета Р. и С.Д. сдаться под угрозой взять дворец вооруженной силой. Вр. Прав., получив ультиматум В.-Р.К., постановило «обратиться к городской думе, как к единственному в столице законному органу, избранному всем населением... и просить самоуправление столицы оказать силой своего морального авторитета поддержку Вр. Прав.».

В 9 ч. в. «Аврора» сделала несколько холостых орудийных выстрелов. У дворца началась пулеметная и ружейная перестрелка. — Вр. Пр. выпустило обращение, что «первое нападение на Зимний Дворец отбито». Гласные городской думы, члены Ц.И.К. и И.К.Кр.Д., пытавшиеся пройти во дворец, не были пропущены осаждавшими. Радиотелеграмма Вр. Прав. «Всем, всем, всем...» о том, что оно постановило «не сдаваться и передать себя на защиту народа и армии».

В 10 ч. 45 мин. открылся Всероссийский съезд Советов Р.С. и Кр. Депутатов (382 большевика, 31 сочувств. бол., 70 левых эс-эров, 5 анархистов, 15 объединенных интернационалистов, 21 меньшевиков-оборонцев, 7 национальных с.-д., 36 эс-эров центра, 16 правых эс-эров, 3 национ. эс-эров). В президиум избраны большевики и левые эс-эры. По предложению Мартова первым поставлен вопрос о мирном разрешении кризиса. Меньшевики и эс-эры заявили о своем уходе со съезда, не желая нести ответственность за действия большевиков. Съезд в особой резолюции заклеймил бессильную и преступную попытку меньшевиков и эс-эров сорвать полномочное Всероссийское представительство рабочих и солдатских масс, признав необходимым продолжать свою работу. Покинули заседание также меньшевики-интернационалисты и поалейционисты. Принято обращение к рабочим, солдатам и крестьянам с извещением об открытии съезда и победе восставшего пролетариата и

Не прошло и часа, как из этого состояния вывел меня фельдъегерь, вошедший в комнату с экстренным сообщением. Большевики захватили центральную телефонную станцию, и все наши (дворцовые) телефонные сообщения с городом прерваны; дворцовый мост (под окнами моих комнат) занят пикетами матросов-большевиков; дворцовая площадь совершенно безлюдна и пуста; о казаках ни слуху, как и следовало, впрочем, ожидать.

Не прошло 10-ти минут, как мы оба — Коновалов и я, с адъютантами — мчались назад в штаб округа. Здесь за два часа нашего отсутствия ничего не изменилось... Впрочем, нет, изменилось — у блиндированных автомобилей «исчезли» некоторые части и они стали столь же полезны для обороны, как и водовозные бочки. Подходы к дворцу и Штабу совершенно никем и ничем не охранялись. Никаких сведений о высланных с Северного фронта эшелонах, хотя они должны были быть уже в Гатчине, не поступало. Началась паника. Не успел я войти в Штаб, как ко мне явилась делегация от охранявших Дворец юнкеров. Оказалось, им большевики прислали форменный ультиматум с требованием покинуть дворец под угрозой беспощадных репрессий. Делегаты просили указаний, заявляя при этом, что огромное большинство их товарищей готово исполнить свой долг до конца, если только есть какая-нибудь надежда на подход каких-либо подкреплений. В этих условиях было очевидно, что только действительное появление через самое короткое время подкреплений с фронта могло еще спасти положение.

Но как их получить? Оставалось одно: ехать, не теряя ни минуты, навстречу эшелонам, застрявшим где-то у Гатчины и протолкнуть их в СПБ., несмотря ни на какие препятствия. Посоветовавшись с министрами Коноваловым и Кишкиным (к этому времени подоспевшим); переговорив с некоторыми оставшимися верными присяге офицерами Штаба, я решил прорваться через все большевистские заставы и лично встретить подходившие, как мы думали, войска.

Прежде всего для этого нужно было среди белого дня проехать через весь город, не возбуждая подозрения разбросанных повсюду большевистских войск и караулов красной гвардии. Это было самым трудным... После некоторого размышления решили идти напролом: чтобы усыпить всякую осторожность, будем действовать с о т к р ы т ы м з а б р а л о м.

Я приказал подать мой превосходный открытый дорожный автомобиль. Солдат-шофер был у меня отменно мужественный и верный человек. Один из адъютантов объяснил ему задачу. Он ни секунды не колеблясь, ее принял. Как назло у машины не оказалось достаточного для долгого пути количества бензина и ни одной запасной шины. Предпочитаю лучше остаться без бензина и шин, чем долгими сборами обращать на себя внимание. Беру с собой в дорогу кроме двух адъютантов еще капитана Кузьмина, пом. коман. войсками и его штаб офицера. Каким образом, не знаю, но весть о моем отъезде дошла до союзных посольств. В момент самого выезда ко мне являются представители английского и, насколько помню, американского посольств с заявлением, что представители союзных держав желали, чтобы со мной в дорогу пошел автомобиль под американским флагом. Хотя было более, чем очевидно, что американский флаг, в случае неудачи прорыва, не мог бы спасти меня и моих спутников, и даже, наоборот, во время проезда по городу мог бы усилить к нам ненужное совсем внимание, я все-таки с благодарностью принял это предложение, как доказательство внимания союзников к русскому Правительству и солидарности с ним.

Пожав в последний раз руку Кишкину, взявшему на себя на время моего отсутствия руководство обороной столицы, я с самым беззаботным видом сошел вместе со своими спутниками во двор штаба. Сели в автомобиль. Тут оказалась кстати американская машина: одному из офицеров не хватило у меня места и он поехал отдельно, но с условием держаться от нас в городе со своим американским флагом на «почтительном расстоянии». Наконец, мы пустились в путешествие. Вся привычная внешность моих ежедневных выездов была соблюдена до мелочей. Сел я, как всегда, на свое место — на правой стороне заднего сидения в своем полувоенном костюме, к которому так привыкло население и войска. В самом начале Морской, у телефонной станции, мы поехали мимо первого большевистского караула. Потом у Астории, у Мариинского Дворца — повсюду стояли патрули и отряды красных. Нечего и говорить, что вся улица — и прохожие, и солдаты, — сейчас же узнавали меня. Военные вытягивались, как будто и впрямь ничего не случилось. Я отдавал честь, как всегда. Наверное секунду спустя моего проезда ни один из них не мог себе объяснить, как это случилось, что он не только пропустил этого «контрреволюционера», «врага народа», но и отдал ему честь.

Благополучно проехав через центральные части города, мы, въезжая в рабочие кварталы и приближаясь к Московской заставе, стали развивать скорость и, наконец, помчались с головокружительной быстротой. Помню, как на самом выезде из города стоявшие в охранении красногвардейцы, завидя наш автомобиль, стали с разных сторон сбегаться к шоссе, но мы уже промчались мимо, и они не только попытки остановить не сделали, они и распознать-то нас не успели.

В Гатчине мы въехали прямо под ворота Дворца к подъезду коменданта. Продрогли во время бешеной этой гонки до мозга костей. Узнав к нашему величайшему удивлению о том, что никаких эшелонов с фронта в Гатчине нет и никто тут об них ничего не слышал, решаем сейчас же ехать в Лугу, а если понадобится, то и до Пскова. Пускаться в такой далекий путь по осенней дороге без запасных шин и бензина немыслимо, поэтому решаем на полчаса войти в квартиру коменданта, обогреться и выпить по стакану чая, пока наши машины сходят за всем нужным в гараж автомобильной команды. Однако, с первого шага на квартире коменданта мне его поведение показалось крайне странным. Он старался говорить как можно громче. Держался больше у открытых дверей в соседнюю комнату, откуда нас внимательно рассматривали какие-то солдаты. Как будто повинуясь какому-то внутреннему голосу, я вдруг приказал задержать мой автомобиль и предложил моим спутникам без всякого чая немедленно отправиться в путь. Только автомобиль под американским флагом с одним из офицеров отправился в гараж за всем необходимым..

Мы уехали вовремя. Через пять минут после нашего отъезда во двор Дворца влетел разукрашенный красными флагами автомобиль: это члены местного военно-революционного комитета примчались меня арестовывать. Оказывается, что в СПБ штабе нашлись предатели, которые успели известить Смольный о моем выезде в Гатчину. Из Смольного последовало сюда распоряжение о немедленном нашем задержании. Однако, наш автомобиль успел благополучно вырваться из города..

Так блестяще была выполнена первая часть хитро задуманного стратегического плана «патриотической» реакции. Руками большевиков Временное Правительство свергнуто и ненавистный человек больше не у власти. Оставалось осуществить вторую, главную часть — в три недели справиться с большевиками и установить в России здоровую, национальную, а главное, сильную власть..

Эти три недели тянутся слишком долго.

●

А. И. ДЕНИКИН
ЗА СПАСЕНИЕ РОССИИ

Власть падала из слабых рук Временного Правительства, и во всей стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в октябре 1917 года был произнесен приговор стране, народу и революции.

Троцкий имел основание сказать в Совете за неделю до выступления: «Нам говорят, что мы готовимся захватить власть. В этом вопросе мы не делаем тайны... Власть должна быть взята не путем заговора, а путем дружной демонстрации сил»

Действительно, весь процесс захвата власти происходит явно и открыто.

Северный областной Съезд советов, Петроградский совет, вся большевистская печать, в которой работал под своим именем и скрывшийся Ленин, призывали к восстанию. 16 октября Троцкий организовал военно-революционный комитет, к которому должно было перейти фак-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

с указанием на то, что вся власть на местах должна перейти в руки Советов.

В 2 ч. ночи войска В.-Рев. Комитета проникли во дворец. Зимний дворец был занят. Вр. Пр. арестовано. — Воззвание И.К. Сов. Кр. Деп. с призывом «не верить Петроградскому Совету Р. и С.Д. и органам, им поставленным». — Ц.И.К. Всероссийск. ж.-д союза постановил: поддержать Ц.И.К. Сов. Р. и С.Д. как в настоящем составе, так и в том, который будет избран съездом Советов, приостановить все продвижения казачьих войск на Петроград.

26 — 8 — четверг. Второе заседание Съезда Советов. По докладу Н. Ленина единогласно приняты — декрет о войне и мире и декрет о земле. Отменена восстановленная А. Керенским смертная казнь на фронте. Восстановлена полная свобода агитации на фронте. Съезд Советов постановил «образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного Собрания, Временное Рабочее и Крестьянское Правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров. Заведывание отдельными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной съездом программы, в тесном единении с массовыми организациями рабочих, работниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит Коллегии председателей этих комиссий, т. е. Совету Народных Комиссаров. Контроль над деятельностью Народных Комиссаров и право смещения их принадлежит Всероссийскому Съезду Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету». Совет Народных Комиссаров составился из следующих лиц: Председатель Совета — Владимир Ульянов (Ленин), Народный Комиссар по Внутренн. Делам — А. И. Рыков, Земледелия — В. П. Милютин, Труда — А. Г. Шляпников. По делам военным и морским — комитет в составе В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко. По делам торговли и промышленности — В. П. Ногин. Народного Просвещения А. В. Луначарский, Финансов — И. И. Скворцов, по делам Иностранным — Л. Д. Троцкий, Юстиции — Г. И. Оппоков (Ломов), по делам продовольствия — И. А. Теодорович, Почт и телеграф. — Н. П. Авилов (Глебов). Председателем по делам Национальностей — И. В. Джугашвили (Сталин). В Ц.И.К. избрано 100 человек, из которых 70 большевиков, остальные — левые эс-эры, объединенные интернационалисты и т. д... Съезд закрылся в 5 час. утра 27 октября.

тическое и исключительное право распряжения петроградским гарнизоном. В последующие дни, после ряда собраний полковых комитетов, почти все части гарнизона признали власть революционного комитета, и последний в ночь на 22-е объявил приказ о неподчинении войск военному командованию.

Исполнительный комитет возмущенно протестовал: «Только безумцы или непонимающие последствий выступления могут к нему призывать. Всякий вооруженный солдат, выходящий на улицу по чьему-либо призыву, помимо распоряжения штаба округа.., явится преступником против революции»... Это воззвание было актом лицемерия. Ибо те же люди, когда они, казалось, обладали властью, в конце апреля говорили петроградскому гарнизону: «Товарищи солдаты! Без зова Исполнительного комитета (Петроградского совета) в эти тревожные дни не выходите на улицу с оружием в руках. Только Исполнительному комитету принадлежит право располагать вами». Не все ли равно, чьими руками хоронилась правительственная и военная власть — апрельской «семерки»[1] или октябрьской «шестерки»[2]?.. С 17 октября, при полном непротивлении служащих, из казенных складов выдавалось оружие и патроны по ордерам революционного комитета рабочим Выборгской стороны, Охты, Путиловского завода и друг. 22-го в различных частях Петрограда состоялся ряд митингов, на которых виднейшие большевистские деятели призывали народ к вооруженному восстанию[3]. Власть и командование находились в состоянии анабиоза и делали бесплодные попытки «примирения» с Советом, предлагая усилить его представительство при штабе округа. Только 24 октября в заседании «Совета Республики» председатель правительства решился назвать то положение, в котором находилась столица, восстанием.

Заседание это, не имевшее никакого реального влияния на ход событий, представляет, однако, большой интерес для характеристики настроений правивших кругов и демократии. Из речи Керенского страна узнала о великом долготерпении правительства, почитавшего своей целью стремление, «чтобы новый режим был совершенно свободен от упрека в неоправдываемых крайней необходимостью репрессиях и жестокостях». Что достоинства этого режима вполне признаны даже организаторами восстания, считающими, что «политические условия для свободной деятельности всех политических партий наиболее совершенны в настоящее время в России». Что до сих пор большевикам «предоставлялся срок для того, чтобы они могли отказаться от своей ошибки», но теперь все времена и сроки вышли и необходимы решительные меры, на принятие которых власть испрашивает поддержку и одобрение Совета[1].

Только в правой, «цензовой», части правительство нашло нравственную поддержку. Демократия в ней отказала. Поставленная на голосование формула левого блока (с.-д. меньшевики и интернационалисты, левые эсеры и эсеры) вместо поддержки выразила осуждение деятельности правительства и потребовала немедленной передачи земли в ведение земельных комитетов и решительных шагов к началу мирных переговоров; что касается ликвидации выступления, то она возлагалась на «комитет общественного спасения», который должны были создать городское самоуправление и органы революционной демократии. Формула прошла 122 голосами против 102 (прав. блока), при 26 воздержавшихся; в числе последних были нар. социалисты (Чайковский), часть кооператоров (Беркенгейм) и земцев.

Мотивы такого решения революционная демократия привела с полной откровенностью устами Гурвича (Дана): предстоящее выступление большевиков несомненно ведет страну к катастрофе, но бороться с ним революционная демократия не станет, ибо «если большевистское восстание будет потоплено в крови, то, кто бы ни победил — Временное Правительство или большевики — это будет торжеством третьей силы, которая сметет и большевиков, и Временное Правительство, и всю демократию». Что касается левых эсеров, то, по свидетельству Штейнберга, накануне открытия «Совета Республики» между ними и большевиками состоялось полное соглашение, и последним обещана полная поддержка в случае революционных выступлений вне Совета.

Итак, пусть гибнет страна во имя революции!

Вопрос решился, конечно, не речами, а реальным соотношением сил. Когда 25-го в столице началось вооруженное столкновение, на стороне правительства не оказалось никакой вооруженной силы. Несколько военных и юнкерских училищ вступили в бой не во имя правительства, а побуждаемые к тому сознанием общей большевистской опасности; другие, считавшиеся лояльными части, вызванные из окрестностей столицы, после моральной обработки их посланными Троцким агитаторами отказались выступить; казачьи полки сохраняли «доброжелательный» к большевикам нейтралитет. Весь остальной гарнизон и рабочая красная гвардия были на стороне Совета; к ним присоединились прибывшие из Кронштадта матросы и несколько судов флота.

Снова, как восемь месяцев тому назад, на улицы столицы вышел вооруженный народ и солдаты, но теперь уж без всякого воодушевления, с еще меньшим, чем тогда, пониманием совершающегося, в полной неуверенности и в своих силах, и в правоте своего дела, даже без чрезмерной злобы против свергаемого режима.

Описания жизни обеих столиц в эти дни свидетельствуют о невероятной путанице, нелепости, противоречиях и о той непроходимой, подавляющей пошлости, которая, вместе с грязно-кровавым налетом, облекла первые шаги большевизма. Вообще, самый переворот перейдет в историю без легенды, без всякой примеси героического элемента, заслоняя декорациями из «Вампуки» и подлинные личные драмы, и великую трагедию русского народа. Немногим лучше была обстановка и в противном лагере: наступление на Петроград войск Краснова, отъезд-бегство Керенского, диктатура в Петрограде в лице глубоко мирного человека доктора Н. М. Кишкина, паралич штаба петроградского округа и метание «комитета спасения», рожденного петроградской думой.

Только военная молодежь — офицеры, юнкера, отчасти женщины — в Петрограде и в особенности в Москве — опять устлали своими трупами столичные мостовые, без позы и фразы умирая... за правительство, за революцию? Нет. За спасение России.

РЕДКИЕ КНИГИ ОБ ЭТИХ ДНЯХ:

Федотов Г. П. ХРИСТИАНИН В РЕВОЛЮЦИИ. Сб. статей. Париж, 1957.

Чириков Е. Н. СМЕРДЯКОВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. София, 1921.

Струве П. Б. РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. София, 1921.

Троцкий Л. Д. ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Берлин, 1917.

Лукомский Г. К. ХУДОЖНИК В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Берлин, 1923.

ЛЕНИН. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ. Лондон, 1969.

Фишер Л. ЖИЗНЬ ЛЕНИНА. Лондон, 1970.

Мельгунов С. П. СУДЬБА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II ПОСЛЕ ОТРЕЧЕНИЯ. Париж, 1951.

[1] По постановлению И. К. 21 апреля власть над петроградским гарнизоном вручена была: Чхеидзе, Скобелеву, Бинасику, Скалову, Гольдману, Филипповскому и Богданову.

[2] В бюро военно-революционного комитета под руководством Бронштейна (Троцкого) вошли: Лазимир, Антонов, Садовский, Подвойский, Сахарков.

[3] Это был «день Петроградского совета», мирная демонстрация, вылившаяся, говоря словами т. Троцкого, «в смотр сил пролетарской армии». *Ред.*

[1] Речь идет, конечно, о «Совете Республики», а не о Петроградском С. Р. и С. Д. *Ред.*

Н. ВАЛЕНТИНОВ

ПОПЫТКИ УЗНАТЬ ЛЕНИНА

Имя Н. Валентинова (один из псевдонимов Николая Владиславовича Вольского, 1879—1964) знакомо читателям нашего журнала. Год назад в «Слове» публиковалась статья этого эмигрантского публициста о встречах с Г. Л. Пятаковым (№ 11, 1989).

В этом номере мы представляем Н. Валентинова в том его качестве, которое и принесло ему известность на Западе, — как автора книг «Встречи с Лениным» (Нью-Йорк, 1953), «Ранние годы Ленина» (Ann Arbor, 1969), «Малознакомый Ленин» (Париж, 1972), «Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Годы работы ВСНХ во время НЭПа. Воспоминания» (Stanford, 1971). В предисловии к одной из этих работ пишется о том, что «ничего подобного, ничего столь поучительного на эту тему не было опубликовано ни в России, ни вне ее».

Сама жизнь Валентинова во многом типична для целого поколения русской интеллигенции. Уроженец г. Моршанска Тамбовской губернии, сын уездного предводителя дворянства, он в конце 90-х годов вступает на путь революционной борьбы (за что и лишается отцом наследства). Оставив университет, работает слесарем, участвует в забастовках и манифестациях, во время одной из которых даже получает удар по голове казацкой шашкой. В марксизме, как пишет Н. Валентинов, увлекал присущий этому учению «социологический и экономический оптимизм», «веяло, пахло не домашней плесенью, самобытностью, а чем-то новым, свежим, заманчивым. Марксизм был вестником, несущим обещание, что мы не останемся полуазиатской страной, а из Востока превратимся в Запад...» Очень многим русским интеллигентам социализм представлялся тогда «чем-то очень хорошим, теплым, светлым, красивым и за эти качества желаемым». Не принимались идеи таких мыслителей, как С. Н. Булгаков, с которым студент Политехнического института Николай Вольский не раз беседовал, сохранив об этих встречах «очаровательное воспоминание».

После ареста и непродолжительной голодовки Н. Валентинов был выпущен из тюрьмы и в январе 1904 г. бежал за границу. В Женеве в течение года он, будучи тогда «твердым ленинцем», изо дня в день общается с будущим вождем Октября (Ленин и Крупская благоволят молодому революционеру, прозванному Самсоновым за богатырское сложение), после чего обвиняется в «ревизионизме» и перестает быть большевиком.

Возвратившись в Россию, Н. Валентинов становится известным публицистом меньшевистского толка, ведущим сотрудником сытинской газеты «Русское слово», переписывается с Э. Махом, М. Туган-Барановским, М. Горьким, А. Белым, В. Дорошевичем. Летом 1917 г. он выходит из меньшевистской организации и больше ни к какой партии не принадлежит.

После работы во время НЭПа в руководстве ВСНХ, получив основательное знакомство с советской экономикой, он эмигрирует. Сотрудничает в русской и французской прессе, пишет книги и статьи, во время оккупации Франции немцами влачит полунищенское существование и умирает в парижском пригороде в доме дешевых квартир.

Основным делом жизни Н. Валентинова стали книги о В. И. Ленине. Независимый характер, искренность, феноменальная память (которую подтверждает и его работа «Два года с символистами») позволили ему воссоздать облик лидера большевиков с обилием многих характерных черт, без «групповой схоластики» апологетов, но и без искажений, от которых не смогли удержаться враги.

В этом номере мы публикуем главу из книги «Встречи с Лениным».

Известно, что в русской рабочей, крестьянской, мещанской среде была в ходу — не знаю существует ли она сейчас — кличка по отчеству — «Петрович», «Иванович», «Ильич» и т. д. Обычно она прилагалась или к пользующимся уважением старым людям, или от присутствия особых черт — седины, большой бороды, придающих им пожилой вид. Элемент фамильярности, почти как правило, этой кличке сопутствовал. Ленину, когда я с ним познакомился, было 34 года. Несмотря на лысину, в его облике я не видел ничего, что придавало бы ему старый вид. Крепко сколоченный, очень подвижный, лицо подвижное, глаза молодые. Тем не менее, большевистское окружение (за исключением А. А. Богданова и меня) в личном общении и за глаза его величали «Ильичом». Так называли его и сверстники, и те, кто намного были старше его, например, Ольминский, с седой головой и бородой выглядевший старым человеком. Однако, при наименовании Ленина «Ильичом» фамильярность отсутствовала. Никто из его свиты не осмелился бы пошутить над ним или при случае дружески хлопнуть по плечу. Была какая-то незримая преграда, линия, отделяющая Ленина от других членов партии, и я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее переступил.

Ленина называли не только «Ильичом». Я не мог сразу понять, о ком идет речь, впервые услышав от Гусева: «Идем к старику». Считаться «стариком» в России, вообще говоря, было не трудно. Нужно было лишь несколько превышать среднюю продолжительность жизни, а она была низка. Тургенев в «Дворянском гнезде» называет стариком Лаврецкого, которому было только 43 года. Однако Ленина называли «стариком» не в этом смысле. Несмотря на свой афишированный интернационализм, даже космополитизм, среда, которой «командовал» Ленин, была очень русской. Русское же не значит еще «родился от русского отца и русской матери». Это обычно бессознательное проникновение «русским духом», бытом, вкусом, обычаями, представлениями, взглядами, а из них многие нельзя в их генезисе оторвать от православия — исторической религиозной подосновы русской культуры. Приняв это с Востока, русская церковь с почтением склонялась пред образом монаха — старца, святого и одновременно мудрого, постигающего высшие веления Бога, подвизающегося «в терпении, любви и мольбе». В «Братьях Карамазовых» монах Зосима мудр не потому только, что стар, а «старец» потому, что мудр. «Старец» не возрастное определение, а духовно-качественное. Именно в этом смысле Чернышевский называл Р. Овэна «святым старцем». И когда Ленина величали «стариком» — это, в сущности, было признание его «старцем», т. е. мудрым, причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться.

«Старик мудр, — говорил Красиков, — никто до него (?!) так тонко,

Совершенно иначе видел Ленина А. Н. Потресов. Впервые встретившись с Лениным, когда тому было 25 лет, — Потресов о нем писал: «Он был молод только по паспорту. Поблекшее лицо, лысина во всю голову, оставлявшая лишь скудную растительность на висках, редкая рыжеватая бородка, немолодой сиплый голос».

так хорошо не разбирал детали, кнопки и винтики механизма русского капитализма»

«Старик наш мудр», — по всякому поводу говорил Лепешинский. При этом глаза его делались маслянисто-нежными и все лицо выражало обожание. Именование «стариком», видимо, нравилось Ленину. Из писем, опубликованных после его смерти, знаем что многие из них были подписаны «Ваш Старик», «Весь ваш Старик»

Очень ценя Ленина еще до личного знакомства с ним, я, приехав в Женеву, был все-таки несколько смущен атмосферой поклонения, которой его окружала группа, называвшая себя большевиками. Это меня как-то шокировало. На моем духовном развитии несомненно отразились встречи с двумя лицами. Сначала с проф. М. И. Туган-Барановским, который, когда я был в 1897-98 г. г. студентом Технологического Института в Петербурге, ввел меня в марксизм и не переставал потом толкать на изучение экономики. Второе лицо это уже в Киеве в 1909-1903 г. г., проф. С. Н. Булгаков, благодаря которому я стал интересоваться другим предметом — философией. Оба они крайне отрицательно относились к Ленину. В июне 1903 г. Туган-Барановский, после поездки по югу России приехав в Киев, сделал на расширенном заседании местного социал-демократического комитета интересный доклад, предсказывавший появление в недалеком будущем крестьянского движения. После заседания мы долго беседовали с Туган-Барановским, гуляя в Царском саду на берегу Днепра. Зашла речь и о Ленине.

— Я не буду, — говорил Туган-Барановский — касаться Ленина как политика и организатора партии. Возможно, что здесь он весьма на своем месте, но экономист, теоретик, исследователь — он ничтожный. Он вызубрил Маркса и хорошо знает только земские переписи. Больше ничего. Он прочитал Сисмонди и об этом писал, но, уверяю вас, он не читал как следует ни Прудона, ни Сен-Симона, ни Фурье, ни французских утопистов. История развития экономической науки ему почти неизвестна. Он не знает ни Кенэ, ни даже Листа. Он не прочитал ни Менгера, ни Бем-Баверка, ни одной книги критиковавших теорию трудовой стоимости, разрабатывающих теорию предельной полезности. Он сознательно отвертывался от них, боясь, что они просверлят дыру в теории Маркса. Говорят о его книге «Развитие капитализма в России», но ведь она слаба, лишена настоящего исторического фона, полна грубых промахов и пробелов

Отзывы Булгакова были не менее резки

— Ленин нечестно мыслит. Он загородился броней ортодоксального марксизма и не желает видеть, что вне этой загородки находится множество вопросов, на которые марксизм бессилен дать ответ. Ленин их отпихивает ногой. Его полемика с моей книгой «Капитализм и земледелие» такова, что уничтожила у меня дотла всякое желание ему отвечать. Разве можно серьезно спорить с человеком, применяющим при обсуждении экономических вопросов приемы гоголевского Ноздрева

Получив от меня «Что делать?» Ленина, Булгаков, возвращая книгу, воскликнул:

— Как вы можете увлекаться этой вещью! Брр! До чего это духовно мелко! От некоторых страниц так и несет революционным полицейским участком

В отзывах Тугана и Булгакова я видел след их личных столкновений с Лениным. У Туган-Барановского могло играть и чувство «конкуренции»: он написал книгу «Русская фабрика», а Ленин одновременно почти на ту же тему «Развитие капитализма». Кроме того, их отход от марксизма, у Тугана тогда не столь далекий, у Булгакова уже полный, я считал отказом в сторону мягкотелого либерализма, в моих глазах исключавшего возможность беспристрастно судить и оценивать Ленина. Кое-что (может быть даже многое) из их критики во мне все же отлагалось, а поскольку это имело место, создавались априорные посылки, при всем уважении к Ленину не видеть в нем не подлежащее никакой критике «партийное божество». Отсюда некоторый скрытый протест против «религиозного» преклонения пред ним женевских большевиков. Решение не поддаваться чувству преклонения однако скоро испарилось. Сказать, что Ленин мне понравился, — было бы мало. Сказать, что я в него «влюбился», немножко смешно, однако этот глагол, пожалуй, точнее, чем другие определяет мое отношение к Ленину в течение многих месяцев. А. Н. Потресов, еще с 1894 г. знавший Ленина, вместе с ним организовавший и редактировавший «Искру», позднее в течение первой и второй революций ненавидевший Ленина, познавший в годы его диктаторства тюрьму, нашел в себе достаточно беспристрастности, чтобы через 23 года после смерти Ленина, написать о нем (в «Die Gesellschaft») следующие строки

«Никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личности, как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, по-видимому, не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей, я бы сказал господства над ними. Только за Лениным беспрекословно шли как за единственным бесспорным вождем, ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, спивающей фанатическую веру в движение, в дело, с неменьшей верой в себя. Эта своего рода волевая избранность Ленина производила когда-то и на меня впечатление».

На меня гипнотическое воздействие Ленина, наверное, было больше, чем на Потресова, хотя в числе причин не стояла на первом месте влюбленность в его волю и энергию. Во-первых мне пришлось видеть Ленина в состоянии полной подавленности, безволия, а потом какого-то болезненного изнеможения, и, во-вторых, волей и энергией меня нельзя было удивить. К Ленину притягивала не только гармония слова и дела (оказавшаяся мнимой!), о которой я говорил. Производило впечатление что-то другое, сложное и, вероятно, эта загадочная сила и обаятельность, о которой говорил Потресов. Мне представлялось, что в нем есть нечто крайне важное, что мне неизвестно. Что? Я не мог бы на это ясно ответить. Знаю только, что к Ленину что-то притягивало. А узнать его было совсем нелегко. Откровенность ему была чужда. Он был очень скрытный. В разговоре с Гусевым — и вы при этом, — вспоминая жизнь в Лондоне, — Ленин как-то сказал

— Нельзя жить в доме, где все окна и двери никогда не запираются, постоянно открыты на улицу и всякий проходящий считает нужным посмотреть, что вы делаете. Я бы с ума сошел если бы пришлось жить в коммуне, вроде той, что в 1902 г. Мартов, Засулич и Алексеев организовали в Лондоне. Это больше, чем дом с открытыми окнами, это проходной двор. Мартов весь день мог быть на людях. Этого я никак не могу. Впрочем, Мартов вообще феномен. Он может одновременно писать, курить, есть и не переставать разговаривать хотя бы с десятком людей. Чернышевский правильно заметил: у каждого есть уголок жизни куда никто никогда не должен залезать, и каждый должен иметь «особую комнату» только для себя одного

«Уголок», куда он никому не позволял «залезать», у Ленина был очень обширным. Домом с открытыми дверями и окнами он совсем не был. На окнах всюду были ставни с крепким запором. В то, что он считал своей частной жизнью, никто не подпускался. Но как узнать Ленина, не зная ровно ничего из этой части жизни? Из одних разговоров на партийные темы, как бы они ни были интересны, Ленина не узнаешь. Чтобы заглянуть в Ленина, нужно было подходить к нему с самых разных сторон. Например: любит ли он театр, любит ли он музыку? Разговор о театре однажды возник и тут же заглох. Что же касается музыки, прекрасно помню слова Ленина, сказанные Красикову (тот играл и, кажется, хорошо на скрипке)

«Десять, двадцать, сорок раз, могу слушать Sonate Pathetique Бетховена и каждый раз она меня захватывает и восхищает все более и более»

Вступать в разговор о Бетховене мне не полагалось. В этой области был и остаюсь полнейшим профаном. Две смежные вещи все-таки заметил. У Ленина был превосходный музыкальный слух. Сужу по тому, что он мастерски во время игры со мною в шахматы (играл превосходно!), насвистывал сквозь зубы разные мелодии. Несомненно, было и другое: огромная любовь к пению. Присяжным певцом при Ленине был Гусев, при весьма неказистой наружности, обладавший прекрасным баритоном. В течение января и февраля до момента, когда Ленин весь ушел в писание «Шаг вперед — два шага назад», Гусев постоянно пел на раутах, еженедельно происходивших у Ленина с целью укрепления связи между большевиками Женевы. В его репертуаре было четыре коронных арии, особенно нравившиеся Ленину: первая — «Нас венчали не в церкви», кажется — Даргомыжского, вторая ария из оперы «Нерон» Рубинштейна — «Пою тебе, бог Гименей». За этим всегда следовал романс, написанный Чайковским на слова славянофила Хомякова

В 1927 г. в день трехлетия смерти Ленина советское радио, сообщая о разных фактах его жизни, указало, что Ленин любил пение, и в Женеве в 1904 г. ему часто пела моя жена. В. Н. Вольская помнит только один случай, когда пела в присутствии Ленина. Пела романс «Пусть плачет и стонет мятежная буря» и революционную песню «Как дело измены, как совесть тирана» — вещи, очень понравившиеся Ленину

Подвиг есть и в сраженьи
Подвиг есть и в борьбе
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе

Подвижничество, выражающееся в «терпении, любви и мольбе», было, разумеется, абсолютно чуждо Ленину. Он хотел подвига в сражениях, хотел «драться», и Гусев, как бы отвечая на такое желание Ленина, оборачиваясь в его сторону, глядя на него, нажимая, «педалировал» следующую строфу романса

С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них!

Это звучало приглашением, вместе с тем пророчеством, и оно сбылось. Вещью, которой Гусев обычно оканчивал свое вокальное выступление, был элегический романс того же Чайковского на слова великого князя К. Романова

Растворил я окно, стало душно невмочь,
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
А вдали где-то чудно запел соловей,
Я внимал ему с грустью глубокой
и т. д.

Какие переживания связывались у Ленина с последним романсом? Он, конечно, никому бы об этом не сказал. Романс Чайковского, очевидно, ему говорил что-то многое. Он бледнел, слушал не двигаясь, точно прикованный, смотря куда-то поверх головы Гусева, и постоянно просил Гусева повторить. Однажды Гусев, принимаясь за вторичное исполнение, захотел немного подурачиться и, дойдя до слов «опустился пред ним на колени», действительно, стал на колени и в таком положении, повернувшись к окну, продолжал петь. Все присутствующие рассмеялись. Ленин же сердито цыкнул на нас: «Тсс! Не мешайте!». После одного такого раута я сказал Гусеву: «Заметили ли вы, какое впечатление производит на Ленина ваш романс! Он уходит в какое-то далекое воспоминание. Уверен — cherchez la femme». Гусев засмеялся

— Я то же предполагаю. Думали ли вы когда-нибудь, откуда происходит псевдоним Ленина? Нет ли тут какой-то Лены, Елены? Я спросил Ильича — почему он выбрал этот псевдоним, что он означает? Ильич посмотрел на меня и насмешливо ответил: много будете знать, — скоро состаритесь

Кроме того, что Ленин был в ссылке, а перед этим жил в Петербурге, у меня не было никаких сведений о его прошлой жизни. Полагая, что он об этом знает, я обратился к П. Н. Лепешинскому. Я уже сказал, что он обожал Ленина почти так, как сентиментальные институтки «обожают» некоторых своих учителей. У него была не только уверенность в полной победе Ленина над меньшевиками, было еще предчувствие какой-то особой, великой судьбы, ожидающей Ленина.

— Ильич, — таинственно сказал он мне однажды, — нам всем покажет, кто он. Погодите, погодите — придет день. Все тогда увидят, какой он большой, очень большой человек

Узнав, что меня интересует прошлая жизнь Ленина, Лепешинский вытянулся во весь рост, наставительно поднял над головою палец и учительским тоном, в упор глядя на меня белесоватыми глазами, сообщил

— Запомните, хорошенько запомните на всю жизнь. Ленин родился в 1870 г. в Симбирске. Окончив гимназию, стал студентом Университета в Казани, откуда был исключен за революционное поведение. Жил потом в Самаре, потом переехал в Петербург, где обнаружились его великие политические таланты и где появились его первые блестящие произведения. Он сидел в Петербурге в тюрьме, был сослан в Сибирь, в Минусинский район. Там, тоже находясь в ссылке, живя от него на расстоянии 30 верст, я имел счастье и честь познакомиться с Ильичом. Это там он написал свою замечательную книгу «Развитие капитализма в России»

Города, указанные Лепешинским, я знал: и Самару, и Казань, и Симбирск. В последнем от парохода до парохода я пробыл целый день. С его зданиями конца XVIII и начала XIX столетия, садами, тихими улицами, площадью у Собора, заросшей кудрявой травкой, дивными видами на Волгу — Симбирск показался мне самым красивым приволжским городом. «Заведу, — думал я, — разговор с Лениным о всех городах, где он жил, наверное, многое узнаю о его прошлой жизни. Лучшего предлога втянуть «Ильича» в такой разговор — не найти»

— Владимир Ильич, вы родились в Симбирске — значит на Волге. Вы учились в Казани — тоже на Волге. Жили потом в Самаре — опять же на Волге. Можно сказать, почти две трети вашей жизни прошли около Волги. Она должна вам что-то говорить, и конечно, больше чем другим. Вы, наверное, Волгу очень любите. Не правда ли? То, что входит в душу человека в детские и юношеские годы, остается в ней навсегда. Не правда ли?

Ленин как-то странно, искоса, посмотрел на меня и, может быть, это мне почудилось, пожал плечами. И ничего не ответил. Вышло как будто я развязно залезаю в «уголок», куда Ленин никого не пускает, пристаю к нему с вопросами, отвечать на которые, откровенничать, говорить о себе, он не испытывает никакого желания. Заминая оказавшийся неуместным вопрос «о Волге», я быстро перешел к Каме. Мне много раз приходилось ездить на пароходе от Уфы по реке Белой, Каме до Казани. Там, где Белая впадает в Каму, и дальше берега покрыты липами. Когда эта масса лип цветет, от сладкого аромата даже у находящихся на пароходе кружится голова. Недаром одна из пристаней на Каме называлась «Пьяный Бор»

Ленин, внимательно выслушав меня сказал, что Кама — действительно «красавица», он с большим удовольствием, перед отъездом за границу, прокатился по ней и Белой, отправляясь в Уфу. О Волге — ни слова! Он явно не хотел о ней говорить. Вход посторонним в этот уголок был закрыт

Наш разговор происходил во время прогулки в ближайшие к Женеве горы. Ленин, Крупская и я сидели на небольшом выступе. Сзади нас, точно обрубленная топором, подымалась гладкая, как стена, высокая гора. Спереди — глубокая пропасть с прицепившимися к ее краю кустами. На горизонте цепь холмов, от игры солнца с несущимися облаками постоянно менявших окраску, казавшихся то серыми, то темно-синими, то почти черными.

— Вот мы любуемся этой красотой, — и Ленин указал на горы, — а десятки, сотни миллионов людей, кроме курной избы, зловонной фабрики, грязной улицы ничего во всю жизнь не увидят. И непременно найдутся дурни (Ленин произносил: «дурррни» с раскатом), которые будут уверять, что народ по своей толстокожести не способен понимать и ценить красоту природы. Дурни не понимают, что у людей, истомленных тяжелым, а иногда каторжным трудом, — больше желания вдоволь выспаться, чем любоваться восходом солнца. В этом суть. Не так давно мы с Надеждой Константиновной (Крупской) взбирались на Салэв (гора у Женевы) встречать восход солнца. Компаньонами оказались двое рабочих, на вершине горы от нас отделившихся. Спускаясь с горы, мы их опять встретили и спрашиваем, не правда ли, восход солнца был очень красив? Они отвечают. «К сожалению, ничего не видали, весь день до этого работали, устали, в ожидании восхода солнца прилегли немного отдохнуть, да и проспали». Вот вы говорите о воспоминаниях детства и их идеализации. Такое явление имеет место главным образом среди состоятельных классов общества. У меня, по-видимому и у вас, сохраняются весьма приятные воспоминания о детстве. Жили мы в тепле, голода не знали, были окружены всякими культурными заботами, книгами, музыкой, развлечениями, прогулками. Но ведь этого нельзя сказать о детях рабочих и крестьян. Какие приятные воспоминания о детстве может сохранить крестьянский мальчуган, которого чуть ли не в шесть лет заставляют нести тяжелую работу вроде полки? Только социализм может принести изменения в этой области и создать у массы любовь к природе, иное к ней отношение. До этого народным массам любить природу — невозможно. Состоятельные классы могут во всем ее разнообразии познавать красоту природы, практикуя путешествие, туризм. Но рабочим и крестьянам туризм недоступен. Посмотрите на маленьком примере, что из этого получается. В горах Германии, мы это с Надеждой Константиновной видели, совершая экскурсии из Мюнхена, устраиваются шалаши, домики для усталых или просто желающих в них провести ночь туристов. То же самое есть и в других странах. Те, кто имеют возможность заниматься туризмом, следовательно при надобности и пользоваться этими шалашиками, разумеется, их ценят и охраняют. Но для других, для массы — туризм неизвестное явление. Случайно попадая в горы и видя такой шалаш, они обращаются с ним как с вещью ненужной, они ее больше не

Ленин, несомненно, очень часто испытывал тоску по Волге. В 1902 г. он писал из Лондона матери: «Хорошо бы летом на Волгу. Как мы великолепно по ней прокатились с тобой и Анютой весной 1900 г.!» В 1910 г., — направляясь из Марселя к Горькому на Капри, он пишет матери: «Ехал как по Волге — дешево и приятно», а Горькому говорит: «Едучи к Вам — все Волгу вспоминал». В 1911 г. в письме к М. Т. Елизарову — мужу старшей сестры — признается: «Соскучился я по Волге». В 1912 г. в марте запрашивает мать: «Как-то у вас весна на Волге?»

Кравченко в своей книге «Я избрал свободу» упоминает о «Красном Боре» на Каме. Пьяный Бор, очевидно, переименован

увидят и назначение ее не ценят. Добро, если бы дело ограничивалось одними дурацкими, иногда и похабными, надписями. Бывает хуже. Шалаши от нечего делать, от того, что руки чешутся, подвергаются мамаеву побоищу. Все сломают, а потом уйдут. Уйдут, конечно, безнаказанно, — кто их там видит! Почему буржуа этого не сделают, а иной из рабочих на это оказывается способным? Да, именно по причинам только что указанным. Шалаши — вопросик микроскопический, а когда думаешь о нем, видишь, что связан он с вопросами большими — изменением социальных условий, повышением культурности народа, воспитанием масс и, добавлю, если не хотят походить на персонажа из басни Крылова «Кот и повар», с некоторыми принудительными и репрессивными мерами. Об этом не следует забывать. Когда мальчишка сидит в школе и перочинным ножом жестоко увечит парту, в какой-то момент бывает очень полезен щелчок по рукам, как бы на это ни возражала Надежда Константиновна. А иные взрослые бывают много хуже и вреднее этого мальчишки.

Итак, по Ленину, а я передаю его речь, следовало, что при существующих социальных условиях народные массы по-настоящему любить природу никак не могут. Утверждение до такой степени неверное, надуманное, противоречащее фактам, что оспаривать, опровергать его мне и в голову не пришло. Стоит только заметить, что оно очень гармонирует с позднейшим «пораженческим» тезисом Ленина: пролетариат не может любить свою страну и быть патриотом, пока строй, в котором он живет, не превращен в социалистический. Не на эту сторону его речи я обратил внимание, слушая Ленина. Гораздо интереснее мне показалось указание на щелчок мальчугану, портящему парту, и на те принудительные и репрессивные меры, которыми нужно обеспечивать сохранность того, что Ленин назвал «шалашиками» — их нужно понимать, конечно, в расширенном смысле. Помню, что насчет щелчка я вполне согласился с Лениным, но Крупская укоризненно качала головой. Не только Крупская не сходилась с «Ильичом» в этом вопросе. Можно с уверенностью сказать, что в партии никто тогда не думал, что социалисты могут прибегать к «щелчкам» и репрессивным мерам по отношению к народным массам. О щелчках, притом жестоких, весьма думали, но они предназначались не «своим», а «чужим» — слугам самодержавия, буржуазии, входя в понятие революции и «диктатуры пролетариата». Что же касается воздействия на народную массу, оно представлялось исключительно в виде идейного воспитания, внушения, уговаривания, апелляции к разуму, совести, расчету. Я почувствовал, что в этой очень важной области взгляды Ленина далеко отходят от сентиментальной и политической «педагогики», разделяемой всеми социалистами. Это найденное отличие Ленина от других партийцев лишь увеличило у меня желание заглянуть, если удастся, поглубже в Ленина. Что я в нем еще найду?

Хорошим способом узнать побольше о Ленине мне казался разговор о художественной литературе. Какие произведения он любит, какие люди ему в них интересны, что в них нравится или не нравится? Я сказал об этом В. В. Воровскому — в отеле его комната была рядом со мною; до отъезда в Россию он часто со мною вел разговор на самые разнообразные темы. С ним можно было говорить о многом: о дифференциалах, интегралах, механике и художественной литературе. Воровский улыбнулся.

— Поисследовать Ленина хотите, ну что же — попробуйте. Он всех нас исследует, займемся и мы им. Я тоже этим делом занимался. Но предупреждаю — Ильич очень часто любит делать «глухое ухо». Я хотел однажды узнать — читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера. В ответ ни да, ни нет не получил, все же понял, что никого из них он не читал и дальше того, что слышал в гимназии, не пошел. Изучая в Сибири немецкий язык, он прочитал в подлиннике «Фауста» Гете, даже выучил наизусть несколько тирад Мефистофеля. Вы здесь недавно, поживете подольше — непременно услышите, как в полемике с кем-нибудь Ленин пустит стрелу:

«Ich salutiere den gelehrten Herrn
Ihr habt mich weidlich Scwitzen macher".

Но, кроме «Фауста», ни одну другую вещь Гете Ленин не знает. Он делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями пользуется при этом различении — мне неясно. Для чтения всех сборников «Знания» он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал. «На эту дрянь у меня нет свободного времени». Прочитав «Записки из мертвого дома» и «Преступление и наказание», он «Бесов» и «Братьев Карамазовых» читать не пожелал. «Содержание сих обоих пахучих произведений, — заявил он, — мне известно, для меня этого предостаточно. «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость, подобная «Панургову стаду» Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна, — что она мне может дать?»

После того, что услышал от Воровского, желание «поисследовать» Ленина с помощью его отзывов о художественной литературе не уменьшилось, а скорее увеличилось. Как к этому приступить? Ведь было бы смешно ни с того, ни с другого спрашивать: «Владимир Ильич, сочинения какого автора и почему вы больше всего любите?» То, что я мог в этой области получить, могло бы быть только случайным и при случайно возникшем разговоре. Так, случайно я узнал, что Ленин любит «Войну и мир» Толстого, а морально-философские размышления, которые вклеены в роман, считает глупостью. Это ничего не давало. Я не встречал еще ни одного русского человека, заявившего, что он не ценит и не любит это произведение.

Мимолетный разговор был о романах Гончарова. «Обрыв» Ленин совсем не ценил. Главного героя романа Райского назвал «никчемным болтуном» и другим, уже непечатным, словом, а в поднадзорном Марке Волохове видел «скверную карикатуру на революционеров». Отношение к «Обломову» Гончарова у него было иным и весьма оригинальным.

— Я бы взял не кое-кого, а даже многих из наших партийных товарищей, запер бы их на ключ в комнате и заставил читать «Обломова». Прочитали? А ну-ка еще раз. Прочитали? А ну-ка еще раз. А когда взмолятся, больше, мол, не можем, тогда следует приступить к допросу: а поняли ли вы, в чем суть обломовщины? Почувствовали ли, что она и в вас сидит? Решили ли твердо от этой болезни избавиться?

Случайно узнал, что в гимназии Ленин написал сочинение на тему «Пророк» Пушкина, однако, разговор о том был прерван и больше не возобновлялся. Лишь позднее мне стало известно, что в Симбирской гимназии, где учился Ленин, литературу преподавал Ф. М. Керенский — отец Александра Федоровича Керенского[1]. Это он многим своим ученикам, в том числе и Ленину, внушил великое почтение и любовь к Пушкину. Немилосердно ругая сына Керенского и очень хорошо отзываясь о Керенском-отце, Ленин рассказывал об этом П. А. Красикову, а разговор о том возник по следующему поводу. В 1921 г. (или 1920 — не могу точно сказать) Ленин посетил Вхутемас — Высшее художественное училище в Москве. Если не ошибаюсь, в какой-то заметке есть о том и у Крупской. На вопрос Ленина, что читает сейчас молодежь, любит ли она, например, Пушкина, — студенты и студентки Вхутемаса почти единогласно ответили, что Пушкин «устарел», они его не признают, он «буржуй», представитель «паразитического феодализма», им никто теперь не может увлекаться, и все они стоят за Маяковского — он революционер, а как поэт намного выше Пушкина[2]. Ленин слушал это, пожимая плечами. Стихи Маяковского он совершенно не переносил. После посещения Вхутемаса, беседуя с Красиковым, Ленин говорил:

— Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания штукарство, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция». По моему убеждению, революции не нужны играющие с революцией шуты гороховые вроде Маяковского. Но если решат, что и они ей нужны — пусть будет так. Только пусть люди меру знают и

[1] Когда Ленин писал сочинение о «Пророке» Пушкина, сыну директора гимназии Керенского было только шесть лет. Через тридцать лет эти два уроженца Симбирска, города, по выражению Гончарова (тоже уроженца Симбирска!), погруженного в непробудный сон, «в оцепенение покоя», в своего рода «штиль на суше», предстали на фоне величайшей, потрясшей Россию социальной бури, бешеного урагана, встав в центре не только всероссийского, а мирового внимания. Борьба этих двух русских людей из Симбирска — по своему смыслу, значению и последствиям — вышла далеко из русских границ.

[2] По словам Ю. П. Денике (журнал «На Рубеже»), в СССР издано, главным образом за позднейшие годы, более сорока миллионов экземпляров Пушкина, в том числе около пяти миллионов на других языках, кроме русского. Маятник с 1920 года качнулся в противоположную сторону: от отрицания «буржуя» Пушкина, от признания его «устарелым» — к глубочайшему преклонению пред ним. Это хороший показатель и общественного выздоровления, и роста культуры.

не охальничают, не ставят шутов, хотя бы они клялись революцией, выше «буржуя» Пушкина и пусть нас не уверяют, что Маяковский на три головы выше Беранже.

— Я передаю, — рассказывал мне Красиков, — подлинные слова Ленина. Можете их записать. Давайте сделаем большое удовольствие Ильичу — трахнем по Маяковскому. Так статью и озаглавим: «Пушкин или Маяковский?». Нужны ли революции шуты гороховые? Конечно, на нас накинутся, а мы скажем: обратитесь к товарищу Ленину, он от своих слов не откажется.

Статья не была написана, но, оставляя в стороне вопрос о нашей компетентности в этой области, она могла быть напечатанной, тогда как теперь, когда Сталин изрек, что «Маяковский был и остается талантливейшим поэтом советской эпохи», «Правда» (от 12 ав. 1951 г.) как всегда лживо заявила, что «многие стихи Маяковского написаны под непосредственным впечатлением выступлений тов. Сталина» — всякая критика сего поэта стала невозможной — ее приказано считать «клеветой классового врага».

Более основательным был у меня разговор с Лениным о Некрасове. Ленин его превосходно знал и, конечно, любил. Ничего удивительного в том нет. На иконостасе нескольких революционных поколений Некрасов неизменно и по праву занимал место любимой иконы. Если, что мне и показалось странноватым, так это почти нежное сочувствие Ленина крестьянофильским пассажам в стихотворениях Некрасова и особенно в «Кому на Руси жить хорошо». В моих глазах это плохо увязывалось с марксистской любовью Ленина к пролетариату, — ведь обычно его мыслили как антипода крестьянства. Говоря о Некрасове, я заметил (знаю теперь — ошибочно), что хотя он много писал о деревне — у него нет особо хороших описаний природы.

— Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь! — воскликнул Ленин. — А ну-ка попробуйте найти лучше, чем у Некрасова описание ранней весны. — И картавя, катая «р», он продекламировал:

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум,
Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая
И белая березонька
С зеленою косою!

Ленин после этого два раза, точно вталкивая в меня, чтобы я это понял, повторил:

И липа бледнолистая
И белая березонька
С зеленою косою!

— А вы любите липу? — спросил я.

— Это самое, самое любимое мною дерево!

С большим жаром продекламированный «Зеленый Шум» и то, что мимоходом уже приходилось слышать от него, — мне показали, что Ленин действительно любит природу, хотя об этом нельзя предположить судя, например, по тем невероятно, до дикости, грубым строкам, которые изредка он посвящал искусству и литературе. «Поэтическая» любовь к природе у человека, столь мало поэтического как Ленин, конечно, вызвала у меня удивление, а через несколько дней мне пришлось испытать и другое удивление.

Некая дама приехала в Женеву с специальной целью познакомиться с Лениным. У нее от Калмыковой (persona grata, дававшая в 1901-2 г.г. деньги на «Искру») было письмо к Ленину. Имея его, она была уверена, что будет им принята с должным вниманием и почтением. После свидания дама жаловалась всем, что Ленин принял ее с «невероятной грубостью», почти «выгнал» ее. Гусев передал об ее сетованиях Ленину, и тот пришел в величайшее раздражение:

— Эта дура сидела у меня два часа, отняла меня от работы, своими расспросами и разговорами довела до головной боли. И она еще жалуется. Неужели она думала, что я за ней буду ухаживать. Ухажерством я занимался, когда был гимназистом, на это теперь нет ни времени, ни охоты. И за кем ухаживать? Эта дура — подлинный двойник Матрены Семеновны, а с Матреной Семеновной я никаких дел иметь не желаю.

— Какая Матрена Семеновна? — с недоумением спросил Гусев.

— Матрена Семеновна Суханчикова из «Дыма» Тургенева. Стыдно не знать Тургенева.

С этого дня, к величайшему моему удивлению и особому удовольствию (Тургенева я очень любил), я узнал, что Ленин великолепно знает Тургенева, намного лучше меня. Он помнил и главные его романы, и рассказы, и даже крошечные вещицы, названные Тургеневым «Стихотворения в прозе». Он, очевидно, читал Тургенева очень часто и усердно, и некоторые слова, выражения Тургенева, например, из «Нови», «Рудина», «Дыма» въелись в его лексикон. Кроме Воровского и меня, этого никто не замечал. Так, по поводу самоубийства в Сибири Федосеева он сказал: «Однако, Федосеев не был барчуком и хлюпиком вроде Нежданова (персонаж из «Нови»). Другой раз от Ленина можно было услышать: «Это не человек, а китайский болванчик, слова, слова, а дел нет» (лишь немножко измененная фраза из «Рудина»). Он очень часто пользовался ненавистным ему образом Ворошилова из романа «Дым» Тургенева. Представление о нем у Ленина обычно сопровождалось накатом жгучего презрения. Обозвать кого-нибудь из пишущей братии Ворошиловым он считал одним из сильнейших оскорблений, и из произведений Ленина мы знаем, что таким эпитетом немилосердно злоупотреблял. Например, в статье «Аграрный вопрос и „критики Маркса"», напечатанной в «Заре» (1901 г. № 2-3), полемизируя с В. М. Черновым, Ленин 14 раз именует его Ворошиловым, делая к этому добавления вроде: «Ворошилов извращает», «Ворошилов безбожно путает», «Ворошилов хвастается», «За Ворошиловым не угнаться» и т. д. Явно наслаждаясь, что нашел наименование достаточно ругательное, он в той же статье называет Ворошиловым проф. С. Н. Булгакова (за большую работу последнего «Капитализм и земледелие»), австрийского социалиста Герца, писавшего на ту же тему, сотрудников журнала «Sozialistische Monatshefte», чтобы в конце концов заявить, что Ворошиловы, «критикующие взгляды Маркса на аграрный вопрос» — «везде одинаковы: и в России, и в Австрии».

К бежавшему в 1902 г. из ссылки молодому Троцкому Ленин одно время относился с большим благоволением, но после съезда Троцкий оказался в рядах меньшевиков, и Ленин иначе как Ворошиловым его уже не называл, причем для большего клеймения к Ворошилову присоединял эпитет «Балалайкин» (Щедрина). Помню — 1 мая 1904 г. в Женеве Троцкий на митинге эмигрантов произнес излишне цветистую, все же эффектную речь. Когда я передал Ленину мое впечатление об этом выступлении, в глазах его пробежал насмешливый огонек: «С печалью констатирую — вам нравятся речи Ворошиловых-Балалайкиных».

— Но вы не можете отрицать, что Троцкий превосходный оратор?

— Все Ворошиловы-Балалайкины — ораторы. В эту категорию входят недоучившиеся краснобаи-семинаристы, болтающие о марксизме приват-доценты и паскудничающие адвокаты. У Троцкого есть частицы от всех этих категорий.

Через полтора месяца в категорию Ворошиловых попаду и я!

Если мотивы влечения Ленина к некоторым произведениям Тургенева («Будучи в гимназии, — сказал он мне, — я очень любил «Дворянское гнездо») приходится узнавать лишь с помощью догадок, различных сопоставлений и сближений с различными его высказываниями, есть одна вещь Тургенева, в которой можно уже точно указать, какие в ней мысли им особенно ценились. Имею в виду рассказ «Колосов», а касаясь его, мы неизбежно придем к весьма интимной стороне жизни Ленина.

В тот период, когда ко мне «благоволила» и Крупская, она часто рассказывала о разных фактах из его жизни. Лишь после одного происшествия, о нем я скажу позднее, она стала весьма осторожной или, употребляя выражение из ее «Воспоминаний», «скупой» в своих рассказах. Я узнал от нее, что, будучи в ссылке в Сибири, Ленин, желая возможно скорее и лучше овладеть немецким языком, решил переводить с русского на немецкий и обратно произведения авторов, которых он знал и любил. В 1898 г. в качестве приложения к журналу «Нива» было издано полное собрание сочинений Тургенева. Ленин, именно потому, что еще со времен юности любил Тургенева, попросил родных прислать ему это собрание вместе с немецким словарем, грамматикой и существующими переводами на немецкий язык произведений Тургенева.

«Мы, — рассказывала Крупская, — иногда по целым часам занимались переводами... Ильич выбирал у Тургенева страницы по тем или иным причинам наиболее для него интересные. Так, с большим удовольствием Ильич переводил ехидные речи Потугина в романе «Дым»[1]. По настоянию Ильича осо-

[1] Выражение «ехидные речи» Потугина слишком мягко! Ведь Потугин доказывал, что Россия ничего не дала мировой цивилизации и культуре, что «даже самовар, лапти, дугу — эти наши знаменитые продукты, — не нами выдуманы». Он высмеивал русскую науку: «у нас, мол, дважды два тоже четыре, да выходит как-то бойчее». Ныне в Кремле объявлено, что все мировые открытия и изобретения сделаны в СССР — России, она венец мировой культуры, — поэтому Потугина за «подлое», «изменническое, космополитическое преклонение пред Запа-

бенно тщательно мы перевели некоторые страницы из рассказа «Колосов». На эту вещь он обратил внимание еще в гимназии и крайне ценил ее. По его мнению, Тургеневу в нескольких строках удалось дать самую правильную формулировку, как надо понимать то, что напыщенно называют — «святостью» любви. Он много раз мне говорил, что его взгляд на этот вопрос целиком совпадает с тем, что Тургенев привел в «Колосове». Это, — говорил он, — настоящий, революционный, а не пошло-буржуазный взгляд на взаимоотношения мужчины и женщины»

Весьма заинтересованный тем, как же Ленин смотрит на «святость любви», я, конечно, отыскал «Колосова» и вновь прочитал его. Рассказ слабый, бесцветный, не я один, а обычно все проходят мимо него. Ничего из него не западает, ничто в нем не останавливает. Странно, — думал я, — как могла такая вещица «крайне цениться» Лениным! В Женеве я мог этим удивлением ограничиться и о том, что говорила Крупская, позабыть. Но в свете того, что с Лениным позднее случилось — о «Колосове» нужно поговорить подробнее.

Лицо, от имени которого ведется рассказ, называет Колосова человеком «необыкновенным». Он полюбил девушку, потом разлюбил ее и от нее ушел. Помилуйте, что же тут необыкновенного? Это ежедневно и ежечасно всюду случается. Необыкновенно то, — отвечает рассказчик, — что Колосов это сделал смело, порывая со своим прошлым, не боясь упреков.

«Кто из нас умел вовремя расставаться со своим прошлым? Кто, скажите, кто, не боится упреков, не говорю — упреков женщины, упреков первого глупца? Кто из нас не поддавался желанию, то щегольнуть великодушием, то себялюбиво поиграть с другим преданным сердцем? Наконец, кто из нас не в силах противиться мелкому самолюбию, мелким хорошим чувствам: сожалению и раскаянию? О, господа, человек, который расстается с женщиной, некогда любимой в тот горький и великий миг, когда он невольно сознает, что его сердце не все, не вполне проникнуто ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости, продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец. Мы все прозвали Андрея Колосова человеком необыкновенным. И если ясный простой взгляд на жизнь, если отсутствие всякой фразы в молодом человеке может называться вещью необыкновенной, Колосов заслужил данное ему имя. В известные лета быть естественным — значит быть необыкновенным»

дом» наверное посадили бы в концлагерь или прикончили в подвале МГБ. — Роман «Дым», насколько мне известно, не перепечатывается в СССР, так же как, но уже по другим причинам (оскорбление революции), тургеневский роман «Новь». Речи Потугина в «Дыме» представляют в русской литературе крайнее, искривленное, перегнутое проявление западничества. Это по поводу «Дыма» Достоевский злобно писал, что Тургеневу (Кармазинову в «Бесах») водосточные трубы в Карлсруэ дороже всех вопросов России. Очевидно, Ленин в Сибири был охвачен «низкопоклонством» пред Западом — раз с «большим удовольствием переводил» ехидные речи Потугина»!

В этих словах квинтэссенция рассказа Тургенева. Является ли поведение Колосова «революционным» или «пошло-буржуазным», в это входить, конечно, не буду. Важно, что рассуждения Колосова Ленин одобрял, именно таков, по словам Крупской, был его взгляд на вопрос. Близкие отношения мужчины и женщины должны быть основаны на безраздельной, полной любви и искренности. Как только человек чувствует и сознает, что его сердце уже «не вполне» проникнуто женщиной, еще недавно им любимой, не боясь упреков, не поддаваясь «мелким чувствам» (Ленин очень часто употреблял эти слова), он должен с нею расстаться. Этого требует «святость любви», так поступать — значит «быть естественным».

Многие страницы жизни Ленина в частности в бытность его гимназистом, остались для всех его биографов неизвестными. Они не выплыли ни в одном из воспоминаний о нем: канонизация Ленина не допускала появления каких-либо сообщений вне тех, коими очерчен его, установленный верхами, партийный образ вождя. Опираясь на фразу, брошенную Лениным Гусеву — «ухажерством я занимался, когда был в гимназии», — можно предположить, что экспансивный, бурливый юноша, каким был Владимир Ульянов, — этим делом действительно занимался (я это плохо себе представляю!). В садах на берегу Волги или в Киндяковском лесу, — описанном в романе «Обрыв» и бывшем местом свидания влюбленных парочек, ему, допустим, случалось объясняться в любви каким-нибудь гимназисткам, а потом эта «любовь» ему надоедала, и без долгих фраз он расставался с предметом своего увлечения. Тургеневский Колосов с его «ясным и простым взглядом на жизнь» мог служить примером. И так как отсутствие клятв в вечной любви, «отсутствие всякой фразы в молодом человеке» в этом возрасте — вещь необыкновенная, Владимир Ульянов мог считать себя уже тогда человеком необыкновенным. О «необыкновенности» тут, конечно, смешно и говорить. Здесь только малюсенькая и легкомысленная «философия», свойственная сотням тысяч или миллионам юношей.

Иным и весьма серьезным делается воззрение Колосова в зрелом возрасте. Раз Ленин прожил с Крупской без малого тридцать лет (они познакомились в 1894 г.) и все время придерживался кодекса Колосова — значит его сердце всю жизнь было проникнуто любовью к ней одной. Будь иначе, во имя проповедуемой им «святости любви», не боясь упреков «глупцов», не поддаваясь «мелким чувствам» (среди них — раскаянию и сожалению), он смело расстался бы со своим прошлым, покинул бы Крупскую, хотя в течение многих и многих лет она была верней шей и преданной спутницей его жизни. Так должен бы я заключить, слушая в 1904 г. Крупскую, но то, что произошло с Лениным позднее — свидетельствует о полном попрании им кодекса Колосова.

Жизнь больших исторических фигур, — а кто будет отрицать, что Ленин вошел в большую историю? — всегда интересует людей. Все хотят знать (биографы спешат на это ответить), не только чем облагодетельствовал мир, например, Наполеон, или сколько сотен тысяч людей он отправил на тот свет, но кем он был, как жил, что любил, как любил. Только обладая множеством данных, вплоть до мелочей, можно иметь пред глазами полный, не вымышленный образ человека, «сделавшего историю». С этой точки зрения могла быть интересной появившаяся в издании Bandinière книга «Les amours secrètes de Lenine», написанная двумя авторами — французом (вероятно, он был только переводчиком) и русским. Впервые в виде статей она появилась в 1933 г. в газете «Intransigeant». За книгу многие ухватились, даже много писали о ней, поверив, что у Ленина были интимные отношения с некоей Елизаветой К. — дамой «аристократического происхождения». В доказательство авторы приводили якобы письма Ленина и этой К. Даже самый поверхностный анализ названного произведения немедленно обнаруживает, что оно плод тенденциозной и очень неловкой выдумки. Но если у Ленина не было этой секретной любви — отсюда не следует выводить, что в течение всей своей жизни он оставался верным только Крупской и не имел связи с другой женщиной. Это очень интимная область, о ней было как-то неловко писать, но теперь, когда имя этой «другой женщины» названо полностью в печати (со слов А. М. Коллонтай ее называет г. Марсель Боди в апрельском номере 1952 г. журнала «Preuves») — ничто уже не мешает подробно рассказать об этом происшествии в жизни Ленина, никогда не бывшим секретом для его старых товарищей (Зиновьева, Каменева, Рыкова). Ленин был глубоко увлечен, скажем, — влюблен в Инессу Арманд — его компаньонку по большевистской партии. Влюблен, разумеется, по-своему, т. е., вероятно, поцелуй между разговором о предательстве меньшевиков и резолюцией, клеймящей капиталистических акул и империализм.

Инесса Арманд родилась в 1879 г в Париже, ее родители французы, отец артист, избравший псевдонимом имя Стеффен. После смерти родителей Инесса осталась бесприютным ребенком и была взята на попечение своей тетки, бывшей гувернанткой в семье Евгения Арманд, имевшего фабрику шерстяных изделий в Пушкино, в 30 километрах от Москвы. Инесса воспитывалась вместе с А. Е. Арманд — сыном фабриканта — и за него потом вышла замуж (от этого брака трое детей). На путь революционной деятельности Инессу, по-видимому, толкнул старший брат ее мужа — Борис Евгеньевич, еще в 1897 г. привлекавшийся полицией за хранение мимеографа для печатания революционных прокламаций. Но этот сын фабриканта, агитировавший рабочих против своего отца, постепенно «отрезвляется» и от революции отходит; наоборот, Инесса все более и более страстно ей предается. В качестве агитаторши и пропагандистки она выступает сначала в Пушкино, потом в Москве. Те, кому приходилось ее видеть в Москве в 1906 г., надолго запомнили ее несколько странное, нервное, как будто асимметричное лицо, очень волевое, с большими гипнотизирующими глазами. Ее арестовывают в первый раз в 1905 г., потом в 1907 г. и отправляют на два года в ссылку в Архангельскую губернию, не дождавшись двух месяцев до окончания срока, она срывается за границу, в Брюссель, где слушает лекции в Университете. Несмотря на ее разрыв с мужем происшедший, кажется, без всяких драм, семья Арманд ее снабжает средствами. Все время своей эмиграции, т. е. до 1917 г., в деньгах она не нуждается. В 1910 г она приезжает в Париж и здесь происходит ее знакомство с Лениным. В кафе на avenue d'Orleans его часто видят в ее обществе. В 1911-12 г.г. внимание, которым ее окружает Ленин, все время растет. Оно бросается в глаза даже такому малонаблюдательному человеку, как французский социалист — большевик Шарль Рапопорт: «Ленин, — рассказывал он, — не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки» («avec ses petits yeux mongols il épiait toujours cette petite française»). Наружность Инессы, ее интеллектуальное развитие, характер, делали из нее фигуру бесспорно более яркую и интересную, чем довольно-таки бесцветная Крупская. Ленин ценил в Инессе — пламенность, энергию, очень твердый характер, упорность.

— Ты, — писал он ей 15 июля 1914 г., — из числа тех людей, которые развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту.

Он восхищался ее знанием иностранных языков; в этом отношении она была для него незаменимым помощником на международных конференциях в Кантале и Циммервальде в 1915 г и на первом и втором Конгрессе Коминтерна в 1919 и 1920 г.г. Он доверял и ее знанию марксизма: в 1911 г. в партийной школе в Longjumeau (около Парижа) поручил ей вести дополнительные, семинарские занятия с лицами, слушающими его лекции по политической экономии. Наконец, Инесса была превосходная музыкантша, она часто играла Ленину «Sonate Pathetique» Бетховена, а для него это голос Сирены. «Десять, двадцать, сорок раз могу слушать Sonate Pathétique, и каждый раз она меня захватывает и восхищает все более и более», — говорил Ленин.

После смерти Ленина Политбюро вынесло постановление, требующее от партийцев, имеющих письма, записки, обращения к ним Ленина, передать их в архив Центрального Комитета, что в 1928 г. фактически было передачей в полное распоряжение Сталина. Этим путем, нужно думать, попали в архив и письма Ленина к Инессе. В отличие от писем, обращенных к другим лицам, почти всех напечатанных еще до 1930 г., — письма Ленина к Инессе — за исключением трех напечатанных в 1939 г. — начали появляться в «Большевике» лишь в 1949 г., т. е. через 25 лет после смерти Ленина. Ряд понятных соображений («разоблачение интимной жизни Ильича») препятствовало их появлению. Только в 1951 г. — 27 лет после смерти Ленина — в 35 томе четвертого издания его сочинений опубликованы (конечно, не все, а с осторожным выбором!) некоторые письма, свидетельствующие, что отношения Ленина с Инессой были столь близкими, что он обращался к ней на ты. Из писем можно установить, что это интимное сближение произошло осенью 1913 года. Инесса тогда только что бежала из России, куда поехала с важными поручениями Ленина и попала в тюрьму. Ленин и Крупская жили в это время в Кракове. В своих «Воспоминаниях» Крупская пишет: «Осенью 1913 г. мы все очень сблизились с Инессой. У нее (после сидения в тюрьме) появились признаки туберкулеза, но энергия не убавилась. У нее много было какой-то жизнерадостности и горячности. Уютнее и веселее становилось, когда приходила Инесса. Мы с Ильичом и Инессой много ходили гулять. Ходили на край города, на луг (луг по-польски — блонь). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Инесса была хорошая музыкантша. Очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил Sonate Pathetique и просил ее постоянно играть»...

В конце 1914 г., Ленин в письмах к Инессе с целью, вероятно, не афишировать их отношения, переходит с «ты» снова на «вы». Между ними в это время происходит любопытная переписка о свободе любви, однако, то, что писала Инесса Ленину, известно лишь по немногим словам, в своем ответе цитируемых Лениным. Инесса прислала ему план своей брошюры о женском вопросе, выставив в ней «требование свободной любви». Ленин в письме от 17 января 1915 г. советует это требование выкинуть. «Это не пролетарское, а буржуазное понимание любви». У «буржуазных дам», по его мнению, оно сводится к «свободе от деторождения и свободе адюльтера». Инесса, возражая, «не понимает, как можно отождествлять свободу любви с адюльтером»

«Вы, — отвечает ей Ленин, (письмо от 24 января 1915 г.), — забыв объективную и классовую точку зрения, переходите в атаку на меня.. «Даже мимолетная страсть и связь, — пишете Вы, — поэтичнее и чище, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов». Так собираетесь Вы писать в брошюре. Логично ли это противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен, им надо противопоставить... что? казалось бы, — поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?). Выходит по логике — будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским. Странно! Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентский-крестьянский пошлый и грязный брак без любви пролетарскому гражданскому браку с любовью. С добавлением, если уж непременно хотите, что и мимолетная связь, страсть, может быть грязной, может быть чистой»..

Крошечная стычка, эхо которой дошло до нас, чрез стену партийной цензуры, — отнюдь не изменила их отношений. В 1915 г. Инесса приезжает в Берн и поселяется рядом с Лениным, «наискосок от нас, — пишет Крупская, — в тихой улочке, примыкавшей к Бернскому лесу. Мы часами бродили по лесным дорогам. Большей частью ходили втроем: Владимир Ильич и мы с Инессой». На лето Ленин и Крупская поехали в Соренберг — «к нам туда приехала Инесса»..

Инесса Арманд умерла от холеры 24 сентября 1920 г. в Нальчике на Кавказе, куда поехала отдыхать. Похоронена, как Воровский, Дзержинский и другие коммунисты, на Красной площади у стен Кремля, в «братской могиле» между Никольскими и Спасскими воротами. Смерть ее глубоко потрясла Ленина. На похоронах, по словам Коллонтай, он «был неузнаваем». Он шатался, «мы думали, что он упадет»

Знала ли Крупская об отношениях между Лениным и Инессой? Не могла не знать, трудно было не заметить. Со слов той же Коллонтай (она хорошо знала Инессу и с нею переписывалась), Марсель Боди сообщает, что Крупская хотела «отстраниться», но Ленин не шел, не мог идти на такой разрыв. «Оставайся», — просил он С точки зрения кодекса Колосова здесь все данные, чтобы расстаться с прошлым, не бояться упреков, не поддаваться мелким чувствам — раскаянию и сожалению. Но Ленин не хотел расстаться с прошлым, он любил Крупскую и, вместе с тем, Инессу — налицо два параллельных чувства. Жизнь оказалась не влезающей ни в т и «революционные» декларации Колосова, ни в чепуху о «пролетарском браке» и «классовой точке зрения в любви». Нельзя не отметить проявленное потом Крупской, совершенно особое, мужество самозабвения. Под ее редакцией вышел сборник статей, посвященных «Памяти Инессы Арманд», и ее портрет и теплые строки о ней она поместила в своих воспоминаниях (см. издание 1932 г.). Это требовала память о Ленине. Далеко не всякая женщина могла бы так забыть себя...

В попытках узнать Ленина у меня были «открытия», приятно удивлявшие (например, его любовь природы, отношение к Тургеневу и т. д.), но были и открытия другого рода, ставившие просто в тупик. Об одном из них я сейчас и расскажу.

В конце января 1904 года в Женеве я застал в маленьком кафе на одной из улиц, примыкающих к площади Plaine de Plainpalais, — Ленина, Воровского, Гусева. Придя позже других, я не знал, с чего начался разговор между Воровским и Гусевым. Я только слышал, что Воровский перечислял литературные произведения, имевшие некогда большой успех, а через некоторое, даже короткое, время настолько «отцветавшие», что, кроме скуки и равнодушия, они ничего уже не встречали. Помню, в качестве таких вещей он указывал «Вертера» Гете, некоторые вещи Жорж Санд и у нас «Бедную Лизу» Карамзина, другие произведения, и в их числе, — «Знамение времени» Мордовцева. Я вмешался в разговор и сказал, что раз указывается Мордовцев, почему бы не вспомнить «Что делать?» Чернышевского.

— Диву даешься, — сказал я, — как люди могли увлекаться и восхищаться подобной вещью? Трудно представить себе что-либо более бездарное, примитивное и в то же время претенциозное. Большинство страниц этого прославленного романа написаны таким языком, что их читать невозможно. Тем не менее, на указание об отсутствии у него художественного дара Чернышевский высокомерно отвечал: «Я не хуже повествователей, которые считаются великими».

Ленин до сего момента рассеянно смотрел куда-то в сторону, не принимая никакого участия в разговоре. Услышав, что говорю, он взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул заскрипел. Лицо его окаменело, скулы покраснели — у него это всегда бывало, когда он злился.

— Отдаете ли вы себе отчет, что говорите? — бросил он мне. — Как в голову может придти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышевского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса! Сам Маркс называл его великим русским писателем

— Он не за «Что делать?» его так называл. Эту вещь Маркс, наверное, не читал, — сказал я.

— Откуда вы знаете, что Маркс ее не читал? Я заявляю: недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать!». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Мог-

ло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепахал. Когда вы читали «Что делать?»? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда не годное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют.

— Значит, — спросил Гусев, — вы не случайно назвали в 1903 году вашу книжку «Что делать?»?

— Неужели, — ответил Ленин, — о том нельзя догадаться?

Из нас троих меньше всего я придал значение словам Ленина. Наоборот, у Воровского они вызвали большой интерес. Он начал расспрашивать, когда, кроме «Что делать?», Ленин познакомился с другими произведениями Чернышевского и, вообще, какие авторы имели на него особо большое влияние в период, предшествующий знакомству с марксизмом. Ленин не имел привычки говорить о себе. Уже этим он отличался от подавляющего большинства людей. На сей раз, изменяя своему правилу, на вопрос Воровского он ответил очень подробно. В результате получилась не написанная, а сказанная страница автобиографии. В 1919 году В. В. Воровский — он был короткое время председателем Госиздата — счел нужным восстановить в памяти и записать слышанный им рассказ. Стремясь придать записи наибольшую точность, он обратился за помощью к памяти лиц, присутствовавших при рассказе Ленина, т. е. к Гусеву и ко мне. Лучшим способом установить правильность передачи было бы обращение к самому Ленину. Воровский это и сделал, но получил сердитый ответ: «Теперь совсем не время заниматься пустяками». Ленин тогда очень сердился на Воровского — за скверное выполнение Госиздатом партийных поручений[1]. Гусев, находившийся на фронте гражданской войны, оказал Воровскому минимальную помощь. Тетрадку, — а в ней для замечаний и добавлений к записи Воровский оставил широкие поля, — он возвратил почти без пометок, ссылаясь, что многое не помнит. В отличие от него, я внес в запись кое-какие добавления и некоторые выражения Ленина, крепко сохранившиеся в памяти. Впрочем, мои добавления были очень невелики. Запись Воровского была сделана так хорошо, с такой полнотой, что в них не нуждалась. После этого я больше Воровского не видел. Вскоре он был назначен на пост посла в Италию, а в 1923 году убит в Лозанне.

Запись Воровского, восстанавливая рассказ Ленина, бросает новый свет на историю его духовного и политического формирования. Должен сознаться, что я понял это с громадным опозданием. Нужно было предполагать, что в СССР, где собираются даже самые ничтожные клочки бумажек, имеющие отношение к Ленину, — запись Воровского будет напечатана. Однако, сколь ни искал я ее в доступной мне советской литературе — нигде не нашел. О ней нет ни малейшего упоминания. Чем и как это объяснить? Запись Воровского со слов самого Ленина устанавливает, что он стал революционером еще до знакомства с марксизмом, в сторону революции его «перепахал» Чернышевский, и потому, не поддаваясь упорно поддерживаемому заблуждению, нельзя утверждать, будто только один Маркс, марксизм «вылепил» Ленина. Под влиянием произведений Чернышевского Ленин, к моменту встречи с марксизмом, оказался уже крепко вооруженным некоторыми революционными идеями, составившими специфические черты его политической физиономии именно как Ленина. Все это крайне важно и находится в резком противоречии с партийными канонами и казенными биографиями Ленина. Весьма возможно, что именно по этой причине — запись Воровского и не опубликована. Вот что рассказал Ленин.

«Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани[1]. Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику, очень увлекался Некрасовым, причем мы с сестрой[2] состязались, кто скорее и больше выучит его стихов. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные Записки», «Вестник Европы». В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие десятилетия. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли, и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля и то, как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал замечательные по глубине мысли, обзоры иностранной жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского «с карандашиком» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые все это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант — меня покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти[1]. Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных иносказательно, в полунамеках[2]. Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский. По сей день нельзя указать ни одного русского революционера, который с такой основательностью, проницательностью и силою, как Чернышевский, понимал и судил трусливую, подлую и предательскую природу всякого либерализма. В бывших у меня в руках журналах, возможно, находились статьи и о марксизме, например, статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать — читал ли я их или нет[3]. Одно

---

[1] Ленин пришел в ярость за небрежное издание Госиздатом брошюры о конгрессе Коминтерна. Объявляя за это выговор Воровскому, Ленин в октябре 1919 г. ему писал:
«Брошюра издана отвратительно. Это какая-то пачкотня. Какой-то идиот или неряха, очевидно безграмотный, собрал, точно в пьяном виде, все «материалы», статейки, речи и напечатал». Ленин приказывал виновных «засадить в тюрьму» и заставить их вклеивать исправления во все экземпляры. Никто не был посажен в тюрьму, но переполох был большой...

[1] Ленин был выслан в Кокушкино, 40 верст от Казани, имение его матери и тетки. «Ссылка» продолжалась от начала декабря 1887 года по ноябрь 1888 года. «Что делать?» он прочитал в Кокушкине летом 1887 г.

[2] Сестра — Анна Ильинична, высланная в мае 1887 г. из Петербурга после казни Александра Ульянова. Некоторое время только она и Ленин жили в Кокушкине. Потом туда переехала вся семья Ульяновых. Ленин со всеми удобствами жил в семейной обстановке. Трудно это называть «ссылкой».

[1] Чернышевский умер в 1889 г. в Саратове.

[2] «Расшифровке» политических взглядов Чернышевского могла помочь и сестра Анна. Она была старше Ленина на 6 лет, вращалась в Петербурге в среде оппозиционно настроенного студенчества и до 1893 года разделяла народнические воззрения.

[3] В записке Воровского было указано, о каких статьях говорил Ленин. В моих «извлечениях» этого, как и многого другого, нет. Ленин, вероятно, имел в виду статью Ю. Жуковского «К. Маркс и его книга о капитале», помещенную в «Вестнике Европы» в 1877 г., и статью в том же году в «Отечественных записках» Михайловского: «Карл Маркс пред судом Ю. Жуковского». Возможно, что речь шла о другой статье Михайловского в «Отечественных записках» 1872 года — о русском переводе 1 тома «Капитала». В то время они могли остаться Ленину неизвестными по той причине, что, в отличие от «Современника», — «Вестник Европы» и «Отечественные Записки» в книжном шкафу в Кокушкине были представлены не полными годовыми комплектами, а лишь разрозненными книгами. Указание на это сделано Воровскому Анной Ильиничной.

только несомненно — до знакомства с первым томом «Капитала» Маркса и книгой Плеханова («Наши разногласия») они не привлекали к себе моего внимания, хотя благодаря статьям Чернышевского я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня. На это наталкивали очерки В. В. (Воронцова), Глеба Успенского, Энгельгардта, Скалдина. До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подавляющее, влияние имел на меня только Чернышевский, и началось оно с «Что делать?». Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления. Пред этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных отношений его времени.

Говоря о влиянии на меня Чернышевского как главном, не могу не упомянуть о влиянии дополнительном, испытанном в то время от Добролюбова — друга и спутника Чернышевского. За чтение его статей в том же «Современнике» я тоже взялся серьезно. Две его статьи, — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне» — ударили, как молния. Я, конечно, и до этого читал «Накануне», но вещь была прочитана рано, и я отнесся к ней по-ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это произведение, как и «Обломов», я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать! Когда организовывалась «Заря», я всегда говорил Староверу (Потресову) и Засулич: «Нам нужны литературные обзоры именно такого рода». Куда там! Добролюбова, которого Энгельс называл социалистическим Лессингом, у нас не было».

Когда после этого рассказа Ленина я возвращался с Гусевым в наш отель, он посмеивался надо мною:

— Ильич за непочтительное отношение к Чернышевскому вам глаза хотел выдрать. Старик, видимо, и по сей день не забыл его. Никогда все-таки не предполагал, что Чернышевский ему в молодости так голову вскружит.

Гусев этого не предполагал, я тем менее. Роман Ленина с Чернышевским мне был совершенно непонятен, возбуждал только недоумение. Мне казалось каким-то курьезом, что такая тусклая, нудная, беззубая вещь, как «Что делать?» могла «перепахать» Ленина, дать ему «заряд на всю жизнь». Как небо от земли была далека от меня мысль, что есть особая, скрытая, но крепкая революционная, идеологическая, политическая, психологическая линия, идущая от «Что делать?» Чернышевского к «Что делать?» Ленина, и речь идет не только о совпадении заголовков. Я должен был констатировать, что какой-то и видимо очень важной стороны мировоззрения Ленина — не понимаю. Мое удивление, что Ленин считает Чернышевского в числе своих главных учителей, увеличивалось еще следующим обстоятельством.

В Уфе в 1899 г. я был знаком со старым народником Ольшевским (или Ольковским, боюсь, что искажаю его фамилию). Сей старичок, живший во дворе того же дома, где и я — и отсюда частые встречи с ним, — был большой любитель «рюмочки» с закуской из соленых грибов. После шестого или седьмого к ней припадания на него накатывал сентиментально-политический транс с пролитием слезы. Он вспоминал в такие моменты свое участие в революционных кружках 60-х годов и неизменно говорил о Чернышевском, называя его великим революционером, учителем, вождем, о котором благоговейно люди будут помнить и через «сто лет». Откликаясь на просьбу дать мне наиболее важные сочинения Чернышевского, Ольшевский из какого-то тайника извлек, кажется, женевское издание «Что делать?», «Очерки политической экономии по Миллю» и еще какие-то статьи. Для него это были сосуды со священными дарами. Вручая их, Ольшевский взял с меня честное слово беречь книги как зеницу ока, немедленно возвратить после прочтения без единого пятнышка, без единой неловко перевернутой страницы. Я с трудом одолел «Что делать?», находя, что еще не читал книги более бездарной, пустословной, варварским языком написанной. Еще с большим трудом прочитал статьи и «Очерки политической экономии». После первого тома «Капитала» Маркса, с которым мы, молодые социал-демократы, тогда не разлучались, написанного блестящим языком, полного всякими яркими социальными формулами и перспективами, Чернышевский мне представился в образе какого-то Тредьяковского, подвизающегося в политической экономии. Возмущение Ольшевского моим кощунством не знало пределов. Обругав меня «ничего не понимающим, фаршированным марксизмом поросенком», он недели три после этого со мною не разговаривал. Гнев Ольшевского я мог себе объяснить: он был народник и вполне понятно не терпел какого-либо умаления Чернышевского, пророка народнического мировоззрения. Но разве не странно, что через пять лет почти аналогичное происшествие: но на этот раз уже не народник, а ортодоксальный марксист — Ленин свирепо накидывается на меня в защиту Чернышевского и объявляет недопустимым говорить о нем недостаточно почтительными словами. «Он меня всего глубоко перепахал». Большая новость для тех, кто, как я, до сих пор думал, что это Маркс перепахал Ленина!

В конце 1904 г., уже уйдя из большевистской группы и встречаясь с В. И. Засулич, я однажды высказал ей мое недоумение, что люди ее поколения видели в лице Чернышевского великого учителя революции.

— А вы его знаете? — ответила Засулич.

— Почему же не знаю, читал его, как все, и того, что вы и, например, Ленин — в нем находите, не нашел...

— Не знаете, не знаете, не знаете, — упрямо твердила Засулич. — И вам трудно это знать. Чернышевский, стесненный цензурой, писал намеками, иероглифами. Мы умели и имели возможность их разбирать, а вы, молодые люди девятисотых годов, такого искусства лишены. Читаете у Чернышевского какой-нибудь пассаж, и вам он кажется немым, пустым листом, а за ним в действительности большая революционная мысль. Вставляя в свои статьи загадочные иероглифы, Чернышевский всегда объяснял своим друзьям и главным сотрудникам «Современника», что он имел в виду, и эти объяснения оттуда долетали до революционной среды, в ней схватывались и переходили из уст в уста. Поэтому, даже когда Чернышевский был в Сибири и свои статьи не мог объяснить, долгое время существовал, был в обращении, можно сказать, некий шифр для ясного понимания того, что, по принуждению, он выражал прикрыто и очень темно. Такого шифра у вас ныне нет, а если нет, Чернышевского вы не знаете, а раз не знаете, то и не понимаете, что он совсем не таков, каким по своему неведению, хотя оно простительно, вы себе его представляете.

Засулич дала затем несколько примеров, как нужно понимать некоторые фразы и заявления Чернышевского, без обладания «шифром» на самом деле непонятные. К большому моему сожалению, эти примеры я забыл, запомнился лишь один. В одной из своих статей, говоря об устройстве в России земледельческих коммунистических ассоциаций, Чернышевский намекает, что для этой цели очень пригодится разбросанное по всей стране множество «старинных зданий». Чтобы цензуре было трудно догадаться, о каких старинных зданиях идет речь, Чернышевский сопровождает свои указания нарочито туманными и сбивчивыми дополнениями.

— Вы читаете теперь, — говорила Засулич, — это место, и оно вам непонятно. Пожалуй, даже глупостью, болтовней назовете. А нам в 60 и 70 годах, потому что до нас объяснения долетали, и мы кое-что слышали,— все было понятно. «Старинные здания» — это главным образом монастыри, отчасти церкви, их надо уничтожить, а здания их утилизировать для организации в них филанстер. Такова была мысль Чернышевского.

Объяснения Засулич я слушал с интересом, но глубоко они не западали. Восемнадцатилетний Ленин, не имея того «шифра», о котором говорит Засулич, все же превосходно понял Чернышевского, вероятно потому, что обладал особым чутьем распознавать и тянуться к революционному «динамиту». Чернышевского я плохо знал, не понял, а вместе с этим непониманием обнаружилось, что не могу понять — как я уже сказал, что-то крайне важное, глубоко заложенное в строй воззрений и чувств Ленина. Однако, не хочу оставить впечатления, что с этим непониманием, подобно многим другим, я остался и по сей день. Когда я стал тоже «с карандашиком в руках» штудировать сочинения Чернышевского и собирать все, что нужно для знания его и его времени, — мне представился, думаю, с достаточной ясностью весь процесс — как, чем, в какую сторону Чернышевский «перепахал» Ленина?

●

Я приду на рассвете



Фото АНАТОЛИЯ КОСТИНА

В октябре этого года исполнилось шестьдесят лет со дня рождения замечательного русского поэта Алексея ПРАСОЛОВА (1930—1972). Но его творчество не заняло пока достойного места в сознании читателей. За четверть века издано (не очень большими тиражами) девять книг поэта. Много ли, мало ли это! Немало — при естественном состоянии культуры. Но может ли духовно нездоровое общество, барахтающееся в набегающих мутных валах псевдокультуры, разглядеть тех, кто несет ему глоток живой, высокой поэзии! По усам течет, да в рот не попадает: тянет вниз тинное болото, напруженное и пополняемое умело и мощно всеми средствами, назначенными внедриться в наши мозги, переродить наши души. Катят и катят на нас вал за валом нужные имена и их продукцию, но никогда не услышим мы имя Поэта. Тысячи и тысячи раз покажут и расскажут нам, что мыслит своим нездоровым умишком такой-то по поводу того-то и что сочинил тот-то по поводу сего-то, но ни разу не услышим мы голос Поэта.
И не запрещал его никто, не уничтожал: просто в ы т е с н и л и мастера дел локоточных, как вытеснили и подменили очень многое, принадлежащее русской культуре. Потому что никогда не была эта культура нахрапистой и наглой — не вылезала, не предлагала себя. Никогда не была она н а п р о д а ж у. А была она в душе. И была у нее совесть.
И пока повсеместно пляшет имеющая противоестественные наклонности агрессивная и модерновая «культура», кукушачья и рыночная, пока булькает и бульнает косноруссскоязычная «поэзия» незванных эилонавтов — разыщем, раскроем и почитаем стихи настоящего русского поэта — Алексея Прасолова. Сами. Нам на них не укажут, ибо говорит поэт о родине, о России, о душе человеческой.
В 1965 году в статье о Сергее Есенине Алексей Прасолов писал: «Русский человек не прочь пощеголять в заморском костюме. Он может говорить языком, в котором, кажется, нет русского корня, он упьется модернистским стихом.
Но приходит час, и человеку страшно хочется чего-то глубокого, простого и проникновенного до боли... И — «к черту я снимаю свой костюм английский»! Вот оно, духовное здоровье русского человека.
Щегольство кончилось — заговорила душа. Заговорила русским языком, русским певучим стихом, заговорила о своей Родине, в которой так сложно преломляются лучи родной старины и лучи новизны».
Так пусть душа наша з а г о в о р и т. И ее услышат.

Ю. ЧЕХОНАДСКИЙ

КНИГИ АЛЕКСЕЯ ПРАСОЛОВА

ДЕНЬ И НОЧЬ. — Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1966.
ЛИРИКА. — М.: Мол. гвардия, 1966.
ЗЕМЛЯ И ЗЕНИТ. — Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1968.
ВО ИМЯ ТВОЕ. — Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1971.
ОСЕННИЙ СВЕТ. — Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1976.
СТИХОТВОРЕНИЯ. — М.: Сов. Россия, 1978.
СТИХОТВОРЕНИЯ. — М.: Сов. Россия, 1983.
СТИХОТВОРЕНИЯ. Поэмы. Повесть. Статьи. Письма. — Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1984.
СТИХОТВОРЕНИЯ. — М.: Современник, 1988.

ПРОЛОГ

Итак, с рождения вошло —
Мир в ощущении расколот:
От тела матери — тепло,
От рук отца — бездомный холод.

Кричу, не помнящий себя,
Меж двух начал, сурово слитых.
Что ж, разворачивай, судьба,
Новорожденной жизни свиток.

И прежде всех земных забот
Ты выставь письмена косые
Своей рукой корявой — год
И имя родины — Россия.

1963

* * *

Уже заря пошла на убыль
И с желтым облачком свела
И черный крест, и черный купол,
И черные колокола.

В разноголосице весенней
Неслись трамваи и такси,
И просквозило сумрак пенье
Пасхальным отзвуком Руси.

И пенье гасло — будто ждали,
Что им ответят с высоты...
Казалось, души улетали
Через чернеющие рты.

Казалось, светоносный кто-то
Ответит сонмищу людей:
Мир в напряженье — перед взлетом
Иль перед гибелью своей?

Но замелькали шапки, шали,
Карманный зазвенел металл...
Нет, никого они не ждали
И осмеяли б тех, кто ждал.

Им слишком трезво ясен жребий.
И в переулки потекли
Они — бескрылые для неба
И тягостные для земли.

1963

* * *

Тревога военного лета.
Опять подступает к глазам
Шинельная серость рассвета,
В осколочной оспе вокзал.

Спешат санитары с разгрузкой.
По белому красным — кресты.
Носилки пугающе узки,
А простыни смертно чисты.

До жути короткое тело
С тупыми обрубками рук
Глядит из бинтов онемело
Не детский глазастый испуг.

Кладут и кладут их рядами,
Сквозных от бескровья людей.
Прими этот облик страданья
Мальчишеской жизнью твоей.

Забудь про Светлова с Багрицким,
Постигнув значенье креста,
Романтику боя и риска
В себе задуши навсегда!

Душа, ты так трудно боролась...
И снова рвалась на вокзал,
Где поезда воинский голос
И далекое зарево звал.

Не пряча от гневных сполохов
Сведенного болью лица,
Во всем открывалась эпоха
Нам — детям ее — до конца.

...Те дни, как заветы, в нас живы.
И строгой не тронут души
Ни правды крикливой надрывы,
Ни пыл барабанящей лжи.

1963

* * *

Я услышал: корявое дерево пело,
Мчалась туч торопливая, темная сила
И закат, отраженный водою несмело,
На воде и на небе могуче гасила.

И оттуда, где меркли и краски и звуки,
Где коробились дальние крыши селенья,
Где дымки — как простертые в ужасе руки,
Надвигалось понятное сердцу мгновенье.

И ударило ветром, тяжелою массой,
И меня обернуло упрямо за плечи,
Словно хаос небес и земли подымался
Лишь затем, чтоб увидеть лицо человечье.

1965

* * *

Еще метет во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупу труп, —
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя метель.

Свозили немцев поутру.
Лежачий строй — как на смотру,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упертых в белую метель.

А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мертвой переклички их
Нарушить не хотел.

Какую боль, какую месть
Ты нес в себе в те дни!
Но здесь
Задумался о чем-то ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.

1967

«Поразителен — в отличие от поэтов — полный consensus русских мыслителей в восприятии Революции: лишенная всякой созидательной силы, она для всех них, с самого начала, глубочайшая духовная катастрофа», — писал в 1967 году Н. Струве о сборнике «Из глубины», имея в виду прежде всего «веховцев» П. Струве, С. Франка, П. Новгородцева, А. Изгоева, С. Булгакова, выпустивших в 1918 году сборник «Из глубины», конфискованный и уничтоженный как контрреволюционный.

Крупнейший русский философ Иван Александроаич Ильин (1883—1954) не был среди авторов «Вех» и «Из глубины», но и его тоже вполне можно назвать «веховцем» по отношению к революции. Здесь «consensus русских мыслителей» действительно был полным, что и послужило основной причиной их высылки в 1922 году на «философском пароходе». И. А. Ильин тоже оказался среди высланных за контрреволюционные взгляды, за неприятие пути насилия и террора. Пройдут десятилетия, и в цикле статей 1948—1954 годов «Наши задачи» он обратится именно к тем проблемам, которые были сформулированы «веховцами» в 1909 и 1918 годах, во многом подводя итоги этому общему мировоззренческому кредо русских философов. Если «Вехи» были «призывом и предостережением», «робким диагнозом пророков России», «слабым предчувствием катастрофы», то в сборнике «Из глубины» эти предчувствия стали трагической реальностью. Но русские мыслители не просто констатировали факт катастрофы России, они пытались заглянуть в будущее, иачертать путь ее возрождения. «8 том, что русская революция в своем разрушительном действии дошла до конца, — отмечал Петр Струве в программиой статье 1918 годе «Исторический смысл русской революции и национальные задачи», — есть одна хорошая сторона. Она покончила с властью социализма и политики над умами русских образованных людей... Если есть русская «интеллигенция», как совокупность образованных людей, способных создавать себе идеалы и действовать во имя их, и если есть у этой «интеллигенции» какой-нибудь «долг перед народом», то долг этот состоит в том, чтобы со страстью и упорством нести в широкие народные массы национальную идею как оздоровляющую и организующую силу, без которой невозможно ни возрождение народа, ни воссоздание государства».

Разработка этой н а ц и о н а л ь н о й и д е и в философском, историческом, нравственном, религиозном, эстетическом планах стало делом жизни И. А. Ильина. Национальной идее, как противовесу революции и разрушению, посвящены его работы «Родина и мы» (Белград, 1926), «Яд большевизма» (Женева, 1931), «О России» (София, 1934), «Творческая идея нашего будущего, об основах духовного характера» (Берлин, 1937), «Основы борьбы за национальную Россию» (Берлин, 1938). Суть этих идей наиболее полно выражена также в статьях 1948—1954 годов, объединенных в книге «Наши задачи» (Париж, 1956), фрагменты из которой мы предлагаем вниманию читателей. Публикацию подготовил Ю. Лисица.

И. А. ИЛЬИН

О РЕВОЛЮЦИИ

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БЫЛА КАТАСТРОФОЙ

После всего, что произошло в России за последние 32 года (1917—1949), нужно быть совсем слепым или неправдивым, чтобы отрицать **катастрофический характер** происходящего. Революция есть катастрофа в истории России, величайшее государственно-политическое и национально-духовное крушение, по сравнению с которым Смута бледнеет и меркнет.

Смута была брожением; народ перебродил и опомнился. Революция использовала новую смуту и брожение и не дала народу ни опомниться, ни восстановить свое органическое развитие.

Смута была хаотическим бунтом и дезорганизованным разбоем. Революция оседлала бунт и государственно организовала всеобщее ограбление.

Смуту никто не замышлял: она была эксцессом отчаяния, всенародным грехопадением и социальным распадом. Революция готовилась планомерно, в течение десятилетий; в известных слоях интеллигенции она стала традицией, передававшейся из поколения в поколение; с 1917 года она стала систематически проводиться по заветам Шигалева и чудовищным образом закрепляться: она ломала русскому человеку и народу его нравственный и государственный «костяк» и нарочно неверно и уродливо сращивала переломы.

Смута длилась 9 лет (1604 — появление самозванца, 1613 — избрание на царство Михаила Федоровича). Революция тянется уже 32 года, и конца ей не видно. Подрастают новые поколения, живущие в России, но не знающие ни ее истории, ни ее священных традиций, ни ее международного положения.

Смута разразилась в сравнительно первобытной России, расшатанной и оскудевшей от террора Иоанна Грозного. Революция была подготовлена и произведена в России, которая культурно цвела, хозяйственно богатела и прогрессивно реформировалась. Россия начала 20 века имела две опасности: войну и революцию. Войну ей сознательно навязала Германия, чтобы остановить ее рост; революцию в ней сознательно раздули революционные партии, чтобы захватить в ней власть.

После смуты Россия была разорена (засевалась всего одна двадцать третья часть прежней площади); но она сохранила свой национальный лик. Революция разоряет и вымаривает ее систематически, и симулирует ее мнимое «богатение»; она исказила ее национальный лик, отменила даже ее имя и превратила ее в **мировую язву**, грозящую всем народам.

Поэтому русская революция есть величайшая катастрофа — не только в истории России, но и **в истории всего человечества**, которое теперь слишком поздно начинает понимать, что советский коммунизм имеет **европейское происхождение** и что он теперь ломится назад, — на свою «родину». Ибо он готовился в Европе сто лет в качестве социальной реакции на мировой капитализм; он был задуман европейскими социалистами и атеистами и осуществлен международным сообществом людей, сознательно политизировавших уголовщину и криминализировавших государственное правление. В мире встал аморальный властолюбец, сделавший науку и государственность орудием всеобщего ограбления и порабощения, — жестокий и безбожный, **величайший лжец и пошляк мировой истории**, научившийся у европейцев клясться именем «пролетариата» и оправдывать своими целями самые гнусные средства.

Итак, русская революция подготовлялась на протяжении десятилетий (с семидесятых годов) — людьми сильной воли, но скудного политического разумения и доктринерской близорукости. Эти люди, по слову Достоевского, **ничего не понимали в России**, не видели ее своеобразия и ее национальных задач. Они решили политически изнасиловать ее по схемам Западной Европы, «идеями» которой они как голодные дети объелись и подавились. Они не знали своего отечества; и это незнание стало для русских западников гибельной традицией со времен главного поносителя России — католика Чаадаева...

Русские революционеры не понимали **величайших государственных трудностей**, создаваемых русским **пространством**, русским **климатом** и ничтожной **плотностью** русского населения. Они совершенно не разумели того, что русский народ является носителем порядка, христианства, культуры и государственности среди своих многонациональных и многоязычных сограждан. Они не желали считаться с суровостью русского **исторического бремени** (на три года жизни — два года оборонительной войны!) и хотели только использовать для своих целей накопившееся в народе утомление, горечь и протест. Они не понимали того, что государственность строится и держится живым народным **правосознанием** и что русское национальное правосознание держится на двух основах — на **Православии** и на **вере в Царя**. Как «просвещенные» неверы, они совершенно не видели драгоценного своеобразия русского Православия, не понимали его мирового смысла и его творческого значения для всей русской культуры. Они не видели тех опасностей, которые заложены для России — в неуравновешенности русского темперамента, в незрелости русского добродушного, по-детски увлекающегося и шаткого характера и в его многостолетней непривычке активно и ответственно строить свое государство. Они не понимали, что западные демократии держатся на многочисленном и организованном «среднем сословии» и на собственническом крестьянстве и что в России нет еще ни того, ни другого.



Они видели только **сравнительную бедность и нравственную удобособлазнимость** русского народа, — и десятилетиями демагогировали его. И никому из них и в голову не приходило, что народ, непривыкший к политической свободе, не поймет ее и не оценит; что он **злоупотребит** ею для дезертирства, грабежа и резни, а потом **продаст ее тиранам за личный и классовый прибыток**... Подпиливали столбы и воображали себя титанами «Атлантами», способными принять государственное здание на свои плечи. Закладывали динамит и воображали, что удастся снести одну крышу, которая немедленно сама вырастет вновь из «нерухнувшего» здания. Сеяли ветер на все четыре стороны и, пожиная бурю, удивлялись, что их парусную лодчонку опрокинуло волною...

На этой политической близорукости, на этом доктринерстве, на этой безответственности, — была построена вся программа и тактика русских революционных партий. Они наивно и глупо верили в политический произвол и не видели **иррациональной органичности русской истории и жизни**. И слишком поздно поняли свои ошибки. Благороднейшие из них признали свои недоразумения и промахи уже в эмиграции (Плеханов, Церетели, Фундаминский), тогда как другие и доселе восхищаются своим «февральским» безумием...

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БЫЛА БЕЗУМИЕМ

Она была безумием и притом **разрушительным безумием**. Достаточно установить, что она сделала с русской религиозностью всех исповеданий, в особенности с православной церковью; что она учинила с русским образованием, в особенности с высшим и средним образованием, с русским искусством, с русским правом и правосознанием, с русской семьею, с чувством чести и собственного достоинства, с русской добротой и с патриотизмом...

Она была безумием со стороны самых **умеренно-революционных и полуреволюционных партий**, кои вскоре были уничтожены со всеми их планами, программами, кадрами, газетами и традициями.

Но она же обнаружила и безумную беспечность и близорукость **правых — охранительных партий**, которые не имели ни творческих идей, ни социальных программ, ни верных кадров в стране. Их хватило только на то, чтобы затруднить великую реформу Столыпина... А «крайне-правые» только и умели обманно уверять Государя в «многомиллионности» своего «союза» и в его «верноподданничестве», с тем, чтобы в грозный час опасности предать Царя и его семью на арест, увоз и убиение...

Революция была безумием и для **русского крестьянства**. Русское крестьянство стояло перед исполнением всех своих желаний; оно нуждалось только в лояльности и терпении. Равноправие и полноправие давалось ему от Государственной Думы (законопроект, выработанный В. А. Маклаковым). Земля переходила в его руки столь стремительно, что по подсчету экономистов к 1932 году в России не осталось бы ни одного помещика: все было бы продано и куплено по закону и нотариально закреплено. Земля отдавалась ему в частную собственность (реформа П. А. Столыпина, 1906). К началу этой реформы Россия насчитывала 12 миллионов крестьянских дворов. Из них 4 миллиона двороа уже владело землею на праве частной собственности; а 8 миллионов числилось в общинном владении. За 10 лет (1906—1916) на выдел из общины записалось 6 миллионов дворов из восьми. Реформа шла полным ходом в связи с прекрасно организованным переселением; она была бы закончена к 1924 году. Но революционные партии позвали к «черному переделу», осуществление которого было сущим безумием: ибо только «тело земли» переходило к захватчикам, а «право на землю» становилось спорным, шатким, непрочным и прекарным (т. е. срочным до востребования); оно обеспечивалось лишь обманно — будущими экспроприаторами, коммунистами. Итак, историческая эволюция давала крестьянам землю, право на нее; мирный порядок, культуру хозяйства и духа, свободу и богатство; революция лишила их всего. Подготовительный нажим большевиков начался немедленно вслед за «черным переделом» и длился 12 лет. Вслед за тем (1929—1935) коммунисты приступили к коллективизации и, погубив казнями и ссылками не менее 600.000 дворов и семей, ограбили и пролетаризировали крестьян и ввели государственное крепостное право.

Революция была безумием и для русского **промышленного пролетариата**. Война 1914—1917 гг. поставила его непосредственно перед легализацией свободных рабочих союзов. Революция дала ему — гибель его лучших технически-обученных кадров; долгие годы безработицы, голода и холода; порабощение в тоталитарных трэд-юнионах; снижение уровня жизни на целые поколения; падение реальной зарплаты; государственную «потогонную систему» (стахановщина); систему взаимного политического сыска, доносительство и концлагеря.

Революция была проявлением безумия и со стороны русского **промышленно-торгового класса**, который в лице Саввы Морозова, Ивана Сытина и других финансировал революционеров до тех пор, пока не был истреблен ими. А когда гибель стояла уже у порога, этот же самый класс не захотел или не сумел своевременно изыскать средства для борьбы с большевиками. Во время гражданской войны на юге, когда горо-

да переходили из рук в руки, — промышленники по уходе белых считали свои «убытки» и «протори» и роптали, а по уходе красных — подсчитывали свои «остатки» и благодарили судьбу за спасение

Но наибольшим безумием революция была для русской **интеллигенции**, уверовавшей в пригодность и даже спасительность западно-европейских государственных форм для России и не сумевшей выдвинуть и провести необходимую **новую русскую форму участия народа в осуществлении государственной власти.** Русские интеллигенты мыслили «отвлеченно», формально, уравнительно; идеализировали чужое, не понимая его; «мечтали» вместо того, чтобы изучать жизнь и характер своего народа, наблюдать трезво и держаться за реальное; предавались политическому и хозяйственному «максимализму», требуя во всем **немедленно наилучшего и наибольшего;** и все хотели политически сравняться с Европой или прямо превзойти ее.

И теперь еще люди этого сентиментально-мечтательного поколения покидают земную жизнь, не передумав и вменяя себе это самодовольное упрямство в заслугу «стойкости» и «верности»... Они так и не поймут, что глупо глотать все лекарства, полезные другим; что пальмы и баобабы не всюду растут на воле; что страусы не могут жить в тундре; что **республика и федерация требуют особого правосознания,** которого многие народы не имеют и **коего нет и в России.** Не поймут, что народы, веками проходившие через культуру римского права, средневекового города, цеха и через школу римско-католического террора (инквизиция! религиозные войны! крестовые походы против еретиков! грозная исповедальня!) — нам не указ и не образец... Ибо мы, волею судьбы, проходили совсем другую школу — сурового климата, татарского ига, вечных оборонительных войн и сословно-крепостного строя. Что «немцу здорово», то русского может погубить..

Так безумие русской революции возникло не просто из военных неудач и брожений, но из отсутствия политического опыта, чувства реальности, чувства меры, патриотизма и чувства чести у народных масс и у революционеров. Люди утратили органическую национальную традицию и социально-политическое трезвение. В труднейший час исторической войны, когда монарх и указанный им наследник двукратным отречением погасили в народе присягу на верность, — все это вызвало развал правосознания, безумную толкотню и давку из-за эфемерного полно-равноправия и столь же мнимого обогащения захватом. Все это брожение возникло отнюдь не из «нищеты», «гнета» или «разрухи». Брожение шло от нежелания отстаивать Россию и держать фронт и от жажды революционного грабежа. По прозорливому слову Достоевского — русский простой народ понял революционные призывы (Приказ № 1) и освобождение от присяги — как данное ему «право на бесчестие», и поспешил бесчестно развалить фронт, удовлетвориться «похабным миром» и приступить к бесчестному имущественному переделу. Это бесчестие выдвинуло наверх демагогов-интернационалистов

Русские летописи пишут о Смуте, что она была послана нам за грехи, — «безумного молчания нашего ради», т. е. за отсутствие гражданского мужества, за малодушное «хоронячество» и непротивление злодеям. Несомненно, что эти слабости и недостатки сыграли свою роль и в нынешней революции. Но были и иные грехи, важнейшие: утрата русских органических и священных традиций, шаткость нравственного характера, безмерное политическое дерзание и отсутствие творческих идеи

О СТРАДАНИЯХ И УНИЖЕНИЯХ РУССКОГО НАРОДА

Каждый русский, любящий свой народ и гордящийся своей культурой, наверное не раз спрашивал себя: «Почему именно России суждена такая ужасная судьба? Почему именно Русскому народу надо переносить такие мучения и унижения? Почему именно России пришлось стать гигантской камерой пыток, всемирным позорищем и рассадником заразы?!»...

Этот вопрос духовно естествен и патриотически понятен; плох тот русский человек, которому он никогда не приходил в голову. Но обычно он формулируется неясно и сбивчиво, и это чрезвычайно затрудняет ответ. В нем скрыты по крайней мере четыре различных вопроса: **1. Почему? 2. Кто виноват? 3. За что? и 4. Зачем!**

«Почему?» — есть вопрос **национально-исторический;** это вопрос о причинах русской революции, т. е. об **общих и частных факторах,** приведших к этой национальной трагедии. — Над разрешением этого вопроса мы все обязаны постоянно думать, созерцая и исследуя, но отнюдь не облегчая себе ответ поверхностной, дешевой и часто клеветнической ссылкой на «реакционное правительство», ссылкой, продиктованной не историческим пониманием, а политической ненавистью

«Кто виноват?» — есть вопрос **обывательско-политический,** исходящий из наивного и близорукого представления о том, что все дело в отдельных людях и их заблуждениях, ошибках, глупостях и преступлениях; что надо этих людей — «сыскать» и по рецепту щедринских «Глуповцев» — «сбросить с раската колокольни». — Этот вопрос наиболее лично-страстный и партийно-пристрастный и потому самый неумный и самый опасный; впрочем и наименее плодотворный

Третий вопрос — «за что нам это послано?» — есть вопрос **религиозно-философский,** который следует рассматривать только среди людей однородного миросозерцания и одной религиозной веры; это вопрос самый трудный, ибо он посягает на уразумение путей Божественного Провидения; и поэтому он обречен на то, чтобы разрешаться как бы «зерцалом в гадании»..

И наконец четвертый вопрос — «зачем?» — есть вопрос **практически-волевой;** это самый важный и плодотворный в жизненном отношении вопрос, над решением которого мы все должны были бы неустанно трудиться духовно и политически.

Не следует думать, что все эти вопросы могут быть быстро и окончательно разрешены. Их будут теоретически исследовать и практически разрешать **еще целые поколения.** Но кое-что **основное, необходимое и полезное для их разрешения, должно быть сказано** немедленно

1. Прежде всего — по вопросу о **причинах** русской революционной трагедии. Они сложны и глубоки: все то, что задерживало политическое и культурное развитие России — климат, почва с ее «мерзлотою», открытая незащищенная равнина, обилие пространства континентальная замедленность жизни оторванность от морей, обилие малых и чужеродных племен, особливость языка и быта, положение страны между Востоком и Западом, вечный нажим презрительно-завистливой Европы и вторжения хищно-погромной Азии, бесконечное татарское иго, нескончаемые оборонительные войны, всяческое «воровство», «кривизна» и «неправда» самих русских людей всех сословий (о ней уже взывал Хомяков, обличительно и покаянно!), все государственные ошибки, упущения, вся политическая близорукость былой русской власти и многое другое..., все это создало известную образовательно-политическую и хозяйственно-техническую отсталость России и русской народной массы; все это затруднило нам нашу национальную борьбу с внешними врагами двадцатого века и с Третьим Интернационалом; все это должно быть впоследствии вскрыто в составе исторических причин крушения Императорской России

Но при всем том надо признать следующее

Болезнь, ныне изводящая Россию, а именно: **воинствующее безбожие; антихристианство; материализм, отрицающий совесть и честь; террористический социализм; тоталитарный коммунизм; вселенское властолюбие, разрешающее себе все средства** — весь этот единый и ужасный недуг имеет **не русское; а западно-европейское происхождение.** В течение девятнадцатого века русская интеллигенция соблазнялась им, как «последним словом передовой культуры», мечтательно, сентиментально и безвольно заражаясь им. В двадцатом веке — многонародно-международная, полурусская полуинтеллигенция, зараженная им до мозга костей, тупая, волевая и жестокая, — пошла в грозный час мировой войны на штурм, захватила власть в России и превратила нашу страну в опытный рассадник этой духовной чумы. Эта-то чума и принесла нам все наши национальные мучения и унижения, с тем, чтобы впоследствии (ныне!) наградить ими и соседние народы Запада и Востока, считавшие себя «неугрожаемыми».

Но почему же нам не удалось оборониться от этого засилия? — Потому что русская национальная интеллигенция не понимала своего народа, не разумела его монархического правосознания, не умела верно вести его и отвернулась от своих Государей. И еще по невежеству, ребячливой доверчивости и имущественной жадности народной массы. И еще: по недостатку волевого элемента в русском Православии последних двух веков. И, главное, — по незрелости русского национального характера и русского национального правосознания

Запад выносил погубительную идею и программу, но именно он сам мог противопоставить ей волевой, социальный и организованный отпор; а в русском народном организме не оказалось — для занесенных в него «бактерий» — необходимых «антитоксинов» **Полуинтеллигенция Востока уверовала в западного дьявола, как в бога, и поработила многоплеменную российскую массу — сначала соблазном разнузда**

ния, а потом страхом голода, унижения, муки и смерти...

2. На вопрос о **«виноватых»** — может быть только один ответ: **все виноваты** — по-своему и на своем месте. По-своему правители, и по-своему подданые; по-своему соблазнители, и по-своему соблазненные; по-своему волевые люди, и по-своему безвольные. Однако соблазненные и покоренные, страдающие и унижаемые искупают свою вину мукою, очищаются и преображаются; а ныне правящие, соблазнители и волевые мучители делают свое дьяволово дело до конца. У одних вина в прошлом и теперь они поступили бы иначе; а у других вина — и в прошлом, и в настоящем, и до века. И однажды русский народ, совершив свой крестный путь и свое очищение, в благоприятный час истории ответит им по достоинству и по заслугам.

3. Третий вопрос — **«за что нам это послано»** — пытается сам предвосхитить свой ответ, ибо он обращается **не к Богу любви, милосердия, и прощения, а к «богу»** лютого гнева «талионной» кары (око за око) и неумолимой жестокости. Однако и такой «бог» должен был бы отмерять **каждому** грешнику **по «талиону»** т. е. столько кары, сколько греха, справедливою мерою. Мы же видим множество невинных в муке и погибели — беспризорных детей, исповедников, людей светлой веры и светлого порыва, самоотверженных героев; мы видим и средних людей в незаслуженной ими сверхсильной муке. А злодеев и соблазнителей мы видим в животном благоденствии и безнаказанности. Вот почему люди, настаивающие на вопросе «за что?», — неизбежно приходят к самым фантастическим выдумкам: еще недавно один из таких «следопытов» утверждал, будто в русских людях наших живут «переселившиеся души» злого народа из иного многогрешного века, ныне претерпевающие свое возмездие в новом обличии... Фантазия — поистине нехристианская!

Посему третий вопрос надо изменить в корне, спрашивая не «за что нам это послано?», а **«для чего, в какое испытание, в какое научение и удостоверение, закаление и преображение нам посланы эти мучения и унижения?»,** с тем, чтобы волею и сердцем принять посланное и вступить на предуказанный путь обновления. Не следует думать, будто страдание всегда посылается человеку в наказание за его грехи. Бог не есть Бог мести и безжалостного воздаяния; Он есть Бог искупления, очищения, одухотворения и преображения. И христианину надлежит помышлять не только о заслуженной мзде, но прежде всего и больше всего — о совершенствовании через сердечное созерцание

4. И вот третий вопрос подводит нас к четвертому: **«ЗАЧЕМ?»**. Страдания и унижения русского народа должны **умудрить и очистить его, открыть ему новые горизонты и новые небесные высоты, пробудить его сердце и укрепить его волю.** Весь наш душевный уклад должен быть **обновлен:** в этой трагедии должен завязаться и окрепнуть **новый русский национальный характер,** укоренный во Христе, сердечный и волевой, достойный и прямой, без изворотливо-лживой хитрости и с живым чувством духовного ранга. В русской душе должен быть **преодолен раб;** в ней должно начаться новое **гражданственно-свободное правосознание.**

Русский человек должен перестать поклоняться чужим идолам и дьяволам. Он должен «вернуться к себе», к живым и драгоценным корням своей национальной культуры. Он должен понять, принять и выговорить **свою русскую Идею,** с тем, чтобы затем осуществить ее во всем — в религии и в науке, в праве и в государственной форме, в искусстве и в труде, в суде, в медицине и в воспитании.

Страдания и унижения революции даны нам для того, чтобы мы увидели ту **бездну,** в которую нас тянули дореволюционные соблазнители, и чтобы мы восхотели **Божьего;** чтобы мы очистились, возродились и **заткали ткань новой России.** И потому нелепо нам гордиться тем, что мы-де «ничего не пересмотрели» и «ничему не научились»; и еще нелепее нам опять «идти побираться под окнами» западной культуры, западной религиозности, философии и политики, и выпрашивать себе «на бедность» черствые корки европейских рассудочных выдумок. Россия ждет от нас — **своего** видения, **своей** веры, **своей** мысли и новой, **своей** государственной формы. И мы должны готовиться к тому дню, когда рухнет в России засилие дьявола.

ЗАВЕТЫ ФЕВРАЛЯ

I

В определенных кругах эмиграции, склонных к политическому доктринерству и социализму, опять заговорили о «традициях», «заветах» и «идеалах» февральской революции (1917 г.), об их единоспасительности и о необходимости вернуться к ним. Поскольку при этом подразумеваются **личные мечты февральских деятелей,** постольку мы в этом вопросе не компетентны. Это дело будущей истории и притом ее биографической части: февралисты уже выпустили целый ряд мемуаров, и их будущие биографы, наверное, сумеют установить, каковы были их **мечты,** идеалы и намерения. Но для России февральская революция нисколько не сводится к этим мечтам и идеалам: она представляет из себя **ряд фатальных для русской истории деяний и событий,** которые имели совершенно определенный политический уклон и неизбежно вели к совершенно определенным последствиям. И когда нам начинают восхвалять эту злосчастную, постыдную и мучительную эпоху и рекомендовать этот политический уклон, как единоспасительный, то мы чувствуем себя обязанными открыто и недвусмысленно формулировать сущность этих деяний и этих «заветов». Предоставим февральским деятелям повествовать о своих идеалах и вздыхать о своих мечтах; предоставим им оправдываться перед Богом, перед своею совестью и перед русским народом. Нас интересует не их субъективно-политические переживания, а **объективно-государственный профиль февраля.**

В февральской революции надо различать **стихийно-массовый** процесс военного разочарования, смятения, возмущения, бунта, разнуздания и духовного разложения: здесь действовали не «идеалы» и «заветы», а нежелание идти на фронт, массовые вожделения и страсти. Это была не политика, **а длительный и нараставший эксцесс, поощрявшийся и разжигавшийся слева.** От этого противо-государственного и анархического «эксцесса снизу» надо отличать **политическую тактику сверху.** Мы будем сейчас говорить не о том, что делала «улица», «толпа» или «масса», а о тех **директивах, которые проводились в жизнь сверху,** о **мерах** Временного Правительства, воспринявшего «всю полноту власти»

Конечно, деятели февраля могут сказать нам, что улично-революционная и совдепско-большевицкая ситуация была такова, что они ничего иного не могли делать, кроме того, что делали, что у них не было выбора; что в их распоряжении не было ни сил, ни средств, что они просто рушились вместе с государственным аппаратом, с армией и национальным хозяйством и только старались обрушиться подостойнее Но, если так, то в чем же «традиции» и «заветы» февральского Временного Правительства? Не в том ли, чтобы рушиться в либерально-гуманно-демократической позе и «политически фигурировать» на тающей льдине, уносимой «полою водою революции»? О такой традиции не стоило бы говорить; к таким «заветам» нечего и призывать Дело, конечно, обстоит иначе: **февралисты и ныне поддерживают свои директивы и меры,** считают их **правильными** и призывают новые поколения русских людей **воспринять их и подражать им.**

Ведь на самом деле правительство, говорившее и решавшее дела от лица русского государства с марта по ноябрь 1917 года, **действовало, повелевало, разрешало, издавало указы и законы, назначало и увольняло,** прокладывая совершенно определенные пути и создавая совершенно определенные традиции («заветы»). Какие же это были пути и какие традиции, заслуживающие преклонения и подражания?

1. Тактика февраля началась 1 ноября 1916 года речью Милюкова в Государственной Думе, направленной против Государя и стремившейся подорвать в народе всякое доверие к нему и его семье. Слова «глупость или измена» были восприняты всей страной как **обоснованное обвинение Императора в национальной измене и как «штурмовой» сигнал к «революции — во имя победы».** На самом же деле Милюков не имел **никаких данных** для такого обвинения и **сам знал, что он никаких данных не имеет.** Следственная комиссия Н. К. Муравьева, состоящая сплошь из левых деятелей, установила в дальнейшем полную неосновательность этого обвинения. А Государь и его семья запечатлели свою верность России страшною смертью. Это означает, что измена была не на стороне Монарха, а на стороне его инсинуаторов и диффаматоров (ибо выступление Милюкова было обдумано и решено **не им единолично**).

Такова исходная директива февраля поднять революцию во время войны, не считаясь с войною, прикрываясь ее целями, и начать эту революцию изменническою клеветою на законного Государя

2. Следующим актом революции был «Приказ № 1». Нам безразлична подробная история его составления и опубликования: не существенны и имена его составителей. Существенно то, что он, по своему точному тексту и смыслу, сделал следующее: 1. Он ввел в армию выбранные «Комитеты от нижних чинов» и призвал в Совдеп представителей от «воинских частей» (пункты 1 и 2); 2. Политически — он подчинил армию выбранным комитетам и Совдепу, введя там двоевластие и предоставив право и комитетам и Совдепу дезавуировать приказы Военного Командо-

вания (пункт 3); 3. Он противопоставил приказам Военной комиссии Государственной Думы — приказы Совдепа и ввел там троевластие, т. е. полную и окончательную смуту (пункт 4); 4. Он изъял все оружие армии из ведения ее командного состава, отдав его в распоряжение ротных и батальонных комитетов; этим он вызывающе деградировал все русское офицерство в глазах солдат и всего народа (пункт 5); 5. Вне строя и службы — он провозгласил «политические права солдата», отменил вставание во фронт и отдание чести (пункт 6); 6. Наконец, он отменил субординационное титулование командного состава и превратил солдатские ротные комитеты в судилище над офицерами (пункт 7). Всем этим он вовлек армию в революционную политику и революционное разложение; и сделал ее совершенно небоеспособною.

Этот приказ мы цитируем по тексту, помещенному в номере 3 «Известий Петроградского Совета». Текст его, найденный нами во французском издании книги Керенского, — **не соответствует подлинному и первоначальному русскому тексту:** он переведен неточно-смягчающе, пункт четвертый пропущен совсем, так же как и пункт о «невставании во фронт» и «неотдании чести».

Напрасно указывают на то, что приказ Номер Первый касался только «гарнизона Петроградского Округа»: в действительности он был разослан по всей русской армии, читался и применялся везде.

Существенно также, что этот приказ не был отменен ни военным министром, ни Временным Правительством, ни революционной думой. Мало того, провозглашение «политических прав солдата» было через несколько дней подтверждено всем составом Временного Правительства, а также приказом № 114 военного министерства Гучкова, о чем вспоминает в своих воспоминаниях и Керенский (стр. 16В и сл., стр. 395 франц. издания).

Такова вторая директива февраля: политизировать воюющую армию; подорвать военную субординацию в ней; и следовательно — внести в нее революцию, разложить ее и лишить ее боеспособности: **все это из опасения, как бы верная армия не подавила революцию.**

3. Следующим актом революции была амнистия всем преступникам, как политическим, **так и уголовным.** Она была дана 19 марта 1917 года. О ней не раз упоминает Начальник Всероссийского Уголовного Розыска А. Ф. Кошко (том I, стр. 214. II, 22. III, 151). По соображениям, подсказанным фальшивою сентиментальностью и полным отсутствием государственного смысла, — в хаос революции было вброшено несколько сот тысяч опытных воров и удостоверенных убийц, которые тогда же объединились на съезде «уголовных деятелей» и, конечно, начали, как надо было предвидеть, «новую жизнь»: одна часть вступила в коммунистическую партию и даже прямо в Чеку, другая «завязалась» в толпе и возобновила свою прежнюю деятельность, но уже не угрожаемая распавшимся уголовным розыском.

Такова третья директива февраля: от «гуманной» веры в «человека» и от доктринерской веры в «свободу» — разнуздать все наличные в стране злые и преступные силы от большевиков до профессиональных рецидивистов.

4. Следующим актом Временного Правительства был разрыв с политически-опытными и социально-почвенными силами, ликвидация всего наличного государственного аппарата, как якобы контрреволюционного, и повальное дезавуирование прежней администрации. В результате этого **распались все силы, способные поддержать порядок,** а силам беспорядка были открыты все возможности. На место профессионального администратора — стал **дилетант;** опытные деятели порядка заменились **неопытными, но пронырливыми болтунами;** наивнейшие «общественные деятели» взялись за дело, в котором они ничего не понимали; и даже в славный и мудрый Правительственный Сенат были введены бездарные доценты и лево-радикальные адвокаты.

Такова четвертая директива февраля: разрушить аппарат государственного порядка, которым держалась страна; на все места выдвигать левых, независимо от их неопытности, неумения, бездарности, неискренности и авантюризма; т. е. **снижать качество государственного кадра в стране.**

II.

Систематическое разрушение государственного аппарата, проводившееся Временным Правительством, объясняется прежде всего **отвращением февралистов к государственному принуждению.**

5. В русском либерале 19 века дремал **сентиментальный анархист:** либерал начинает с мечты о свободе, воспринимал от всего христианства одно только требование «гуманности», отрицал «насилие», а потом и «всякое принуждение» и кончал в безвластьи. Так, для Керенского (Воспомин. гл. I) — государственное принуждение сводится к «террору» и «гильотине»; смертная казнь есть для него «классическое орудие самодержавия»; в русской дореволюционной администрации он видит «лакеев и палачей Николая II». Все это, конечно, отвергается с негодованием. Напротив, Временное Правительство **«творило новое государство»,** основанное на **«любви к ближнему»,** на **«гуманности, терпимости, прощении и кротости».** Внешне это выглядело, как «слабость», но на самом деле требовало, видите ли, «великой силы характера».

Вот откуда это разложение власти; февралисты **ничего не понимали** и ныне **ничего не понимают в государстве, в его сущности и действии.** Тайна государственного импонирования; сила повелевающего и воспринимающего внушения; секрет народного уважения и доверия к власти, умение дисциплинировать и готовность дисциплинироваться; искусство вызывать на жертвенное служение; любовь к Государю и власть присяги; тайна водительства и вдохновение патриотизма — все это они просмотрели, разложили и низвергли, уверяя себя и других, что Императорская Россия держалась «лакеями и палачами», что вся сила государства — в красноречивом «уговаривании» и что этим искусством они владеют, как никто. Понятно, почему Временное Правительство не организовывало никаких верных ему воинских частей; потому оно в критическую минуту имело за себя только добровольцев-юнкеров и женские батальоны; и, наконец, почему оно не могло оборонить Учредительное Собрание. У сентиментальных дилетантов от политики — все расползлось и пошло прахом.

Вот пятая традиция февраля: государство без принуждения, без религиозной основы, без монархического благоговения и верности, построенное на силах отвлеченного довода и прекраснословия, на пафосе безрелигиозной морали, на сентиментальной вере во «все высокое и прекрасное» и в «разум» революционного народа. Словом: «демократизм» в состоянии анархического «умиления».

6. Однако, разрушение государственного аппарата, проводившееся Временным Правительством, имело еще одно весьма трезвое основание: **страх перед правыми и перед якобы подготовляемой ими «контрреволюцией».**

Страх перед правыми был **психологически понятен:** слишком долго боролись левые с Императорским Правительством; слишком импонировал им его административный аппарат; слишком суровое возмездие предносилось каждому из них в случае провала революции и торжества консервативной государственности. К этому присоединились еще инерция и близорукость. Но политически этот страх был **противогосударствен и необоснован.** Противогосударствен — потому, что спасение России требовало объединения всех политических и государственно-опытных сил, каковые находились именно справа, а не в кругах революционного подполья, открывшего «Всероссийское Учредительное Собрание» пением гнусного «интернационала». Необоснован этот страх был потому, что «овцы», потерявшие «пастыря», рассеялись, а угрожающие выкрики Маркова Второго о «многомиллионном Союзе Русского народа» были обманны: он просто искал субсидий и заискивал у Государя. В течение всего 1917 года опасность грозила «слева», а не **справа.** Это понимали все трезвые и патриотически настроенные люди, кроме Временного Правительства, которое **боролось против «правых»,** включая сюда и демократически настроенных Корнилова и Деникина, и **браталось с левыми** — по совдепам и в комиссариатах разлагаемой армии.

Такова шестая директива февраля: опасаться мнимой контрреволюции; срывать ее начинания всеми средствами; верить в революционную демократичность большевиков и брататься с ними.

7. Было бы, однако, несправедливо приписывать февралистам только сентиментальное примиренчество. На внутреннем, социальном фронте они вели **замаскированное, но успешное наступление.**

Автор этой статьи состоял летом 1917 года членом Волостного Исполкома и председателем Волостного Комитета по выборам в Учредительное Собрание. Он имел возможность наблюдать агитацию партии социалистов-революционеров среди крестьян и сам читал и разъяснял вслух членам Волисполкома приказ министра земледелия Чернова, в котором выдвигалось два тезиса:

1) Высококультурные помещичьи имения должны быть сохранены до Учредительного Собрания. 2) Таких имений **чрезвычайно мало.** Выслушав этот приказ, крестьяне делали вывод, что «Временное Правительство разрешает немедленно приступить к разделу всех остальных имений», тогда как комментатор доказывал им анархическую, преступную и противогосударственную природу этого погромного приказа. Таким образом, Чернов **призывал к аграрным погромам;** Керенский выслушивал призывы с мест о помощи и **отказывал в защите;** а провинциальные деятели их партий **организовывали подвижные погромные отряды.**

Такова еще одна традиция февраля: немедленно проводить желательный имущественный передел, осуществляя его в виде фактического захвата и разгрома, но в сентиментально-непротивленчески-замаскированной форме, приписывая его «революционной активности масс»; Учредительное Собрание должно было быть поставлено перед совершившимся фактом». Само собою разумеется, что никакая сила не могла удержать солдат в армии при известии, что «черный передел» в стране идет полным ходом.

8. В то же самое время февралисты, разложив армию и порядок в стране, и замаскированно поощряя «черный передел», **попытались, в успокоение союзников, продолжать войну,** что и закончилось позором Тарнополя и Риги. Мнимое «предательство революции» Главнокомандующим Корниловым должно было прикрыть весь этот жалкий провал.

Такова восьмая традиция февраля: традиция полного государственного и стратегического бессмыслия.

С нас довольно этого: основные традиции февральской революции вскрыты и формулированы. Они выражались не в словах, в которых аффектированно изливались общие места радикального либерализма, революционной демократии и сентиментальной гуманности, **а в деяниях, в приказах, назначениях и смещениях, а также** в неизбежных **последствиях всего этого, погубивших Россию, ее свободу и ее демократические возможности.** Вся эта политическая линия проявила такую государственную наивность, такое политическое безволие, такую правительственную неспособность, что **стыд и ужас** овладевает русским сердцем, когда теперь вновь раздаются призывы к возрождению этих традиций и когда газеты приносят доказательство того, что февралисты опять собираются брать в свои руки «всю полноту власти».

Но страшен сон, да милостив БОГ!

БОЛЬШЕВИЗМ, КАК СОБЛАЗН И ГИБЕЛЬ

I.

Когда мы помышляем о грядущей России, то мы должны прежде всего поставить перед собой основной вопрос: **на чем мы будем строить грядущую Россию — на личности или на обезличении человека.** Этим определяется и предрешается многое, основное, может быть — все. И, казалось бы, что история России и особенно история ее последних тридцати лет должна была бы предрешить наш ответ.

История России переломилась на наших глазах революционной трагедией. Эта трагедия возникла из **несоответствия** между усиленной **индивидуализацией инстинкта** и отставшей **индивидуализацией духа** в русской народной массе. **Большевизм** с самого начала сделал ставку на **первую и через это захватил** власть; а в дальнейшем **коммунизм** подавил **и первую и вторую** и на этом **утвердил свою** власть. Историческое же движение России ведет **к признанию инстинктивной индивидуализации,** но **под условием насыщения и освящения ее — индивидуализацией духовной;** и на этом должна быть утверждена **русская национальная власть и грядущая Россия.**

Эта мысль требует, конечно, разъяснения и подтверждения.

Говоря об «индивидуализации инстинкта», я имею в виду следующее. От Бога и от природы человеку дано жить на земле в виде душевно замкнутой («чужая душа потемки») и телесно самостоятельной особи. Такая особь всегда и всюду, во все времена и у всех народов, была и будет **живым самостоятельным организмом,** инстинктивно строящим себя и свою жизнь. Этот инстинкт таинственно и бессознательно зиждет человека: его здоровье, его питание, его трудовую силу, его размножение и все его жизненные отправления и умения.

Несомненно, что в этом инстинкте есть и родовой примитив, **безличный или до-личный,** растворяясь в котором человек как бы утрачивает свои личные, относительные хотения и особенности и становится существом **стадно-мыслящим, стадно-страстным и стадно-действующим.** Этот родовой инстинкт, вероятно, владел нашими до-историческими предками — **всецело:** человек был элементарным по уровню своей жизни, скудным в своих жизненных содержаниях, первобытно-страстным в своих чувствах, наивным в мышлении и непосредственно-бессознательным по способу внутреннего бытия; и вследствии этого люди душевно **мало отличались** друг от друга и находили свою настоящую силу именно **в стадной совместности.**

По сравнению с этим первобытным укладом души — индивидуализированный человек есть существо высшей ступени: он имеет более сложную душу, более богатые жизненные содержания, он не растворяется в своих страстях, он менее наивен и менее бессознателен по способу своей жизни; он утверждает свою самостоятельность, сознает себя отдельным от других и не похожим на них; он сам несет свое жизненное одиночество и находит свою настоящую силу именно в развитии и утверждении своей особливости. Он уже не стадное существо, а **индивидуальное.** Его инстинкт требует **самостоятельности** в жизни и творчестве. Родовой примитив инстинкта не отмирает в нем, но лишь отходит на задний план; мало того, периодический возврат к родовому примитиву бывает и нужен, и полезен, и спасителен (напр., во время народных бедствий, национальных войн, государственного распада и т. д.). И тем не менее — индивидуализированный человек **выходит** из потока первобытности. Образно говоря: он как бы уже не земляная масса, а особый камень; не древесина, а отдельное дерево; не лава, а самостоятельно горящий огонь. И то, в чем он нуждается, есть, во-первых — **жизненное** (бытовое, хозяйственное и правовое) **осуществление этой самостоятельности** во вне, а во-вторых, — **духовное насыщение и освящение ее изнутри.**

Исторически дело обычно обстоит так, что оба эти процесса (внешнего осуществления и внутреннего освящения) идут параллельно, содействуя друг другу и воспитывая отдельных людей и целые народы. Но это бывает не всегда. Возможно, что **инстинктивная индивидуализация опередит духовную;** и тогда наступают опасности и трудности в построении и устроении жизни. Но возможно и то, что **духовная индивидуализация опередит инстинктивную;** и тогда наступают иные трудности и опасности в приятии и утверждении жизни.

Индивидуализация инстинкта есть явление неизбежное, **соответствующее** законам человеческой природы, и творчески драгоценное: нельзя и не подобает человеку пребывать в родовом всесмешении и недифференцированности, он должен **найти себя** в своем инстинкте, утвердить себя и начать самостоятельно творить свою жизнь. Этим он создает в душе своей как бы **почву** для своего духа, или как бы **жилище** для своей личности, или как бы **корабль** для своего жизненного мореплавания. Индивидуализированный инстинкт хочет «быть о себе»: иметь свои мнения и вкусы, самостоятельно искать в жизни точку для приложения своей силы, самостоятельно любить, строиться и работать, самостоятельно владеть вещами, приобретать и богатеть, утверждать свои права и отстаивать их. И все это естественно и необходимо.

Но, если индивидуализированный инстинкт остается **без духовного руководства,** то все эти желания, способности и права оказываются **соблазнами и опасностями:** «свои» мнения оказываются вздорными, а вкусы — дурными; «своя» сила изживается в драке и нападении; самостоятельная «любовь» становится развратом; строительство и работа сводятся к минимуму; приобретение заменяется разбоем; право заменяется произволом. Люди оказываются нестыдящимися себялюбцами и жадными грабителями.

II.

Индивидуализированный инстинкт **нуждается в духовном руководстве.** Это духовное руководство может исходить из недр **примитивной, недифференцированной** духовности (напр., из первобытной наивной религиозности массы; из наследственно и традиционно поддерживаемого правового обычая; из бессознательной преданности и верности королю или хозяину и т. д.). Но оно может исходить и от **индивидуализированного духа** (напр., от лично прочувствованной веры в Бога; от личного чувства совести, чести и долга; от лично воспитанного и утвержденного правосознания; от республиканской или монархической убежденности; от любви к своей родине и своему народу и т. д.).

Примитивная духовность есть великая и заслуженная историческая сила и заслуги ее в истории человеческой культуры чрезвычайны. Но, как показывает история, она не всегда бывает способна дать человеку определяющее руководство: индивидуализировавшийся инстинкт, именно в силу своей индивидуализации, — постепенно отрывается от **примитивной, родовой духовности,** и, если не находит себе обуздания, воспитания и руководства в **личной духовности,** то впадает во все соблазны, не справляется со всеми опасностями и предается разнузданию. Инстинктивная

индивидуализация требует — духовной: не просто — «какой-нибудь обуздывающей и принуждающей силы»; и не только «иррационального духовного авторитета», — а именно **личной духовности**, т. е. **самостоятельно держащейся в человеке веры, совести, чести, верности, любви, патриотизма и национального чувства.**

Духу подобает личная форма. Личной духовности подобает самостояние. Человек должен быть центром самообладания и самоуправления — духовным характером, нравственной личностью, субъектом права. Тогда личный дух может править личным инстинктом, а личный инстинкт — строить жизнь организма; а родовая духовность и родовой инстинкт **остаются тайным резервуаром сил,** — как бы «матерью сырой землей», припадание к которой дарует человеку **древний опыт и новую силу.**

Этот процесс **духовной индивидуализации** отнюдь не следует представлять себе как торжество «сознания», «рассудка», «рационализма», или материалистически и механически окрашенного «просвещения». **«Дух» и «мысль» не одно и то же:** так, напр., вера есть начало духовное, но совсем не рассудочное; точно так же совесть и художественный вкус духовны, но не умственны. Согласно этому индивидуализация совсем не ведет к отказу от веры, любви, созерцания и всех бессознательных даров человека; а личное начало совсем не увенчивается рассудочностью, безверием, материализмом и нигилизмом.

Индивидуализируясь, дух не оскудевает, а расцветает. Все великие писатели, художники, музыканты, ученые, политики, полководцы, герои имели индивидуальный дух, — но плоских рассудочников, умствующих кропателей, поверхностных рационалистов среди них не найти. Самостояние не то же самое, что висение в отвлеченной пустоте. Стать личным духом значит **самому узреть Бога** и исповедать Его, но не значит погасить в себе духовное видение и стать беспочвенным нигилистом. Человек совсем не стоит перед такой дилеммой: или преданность примитивной, родовой духовности — или самостоятельный нигилизм. Есть третий исход, верный, главный, спасительный; **личная духовность, не порывающая с древним, родовым, духовным опытом, но придающая ему индивидуальную творчески свободную форму.**

Итак, личный инстинкт нуждается в личной духовности; и индивидуализация инстинкта должна идти рука об руку с индивидуализацией духа.

Если индивидуализация духа опережает индивидуализацию инстинкта, то человек склоняется к отвержению инстинкта вообще: он видит в нем начало тьмы, страсти, греха и зла; он воспринимает его как начало родового хаоса, всесмешения и окаянного неистовства. Тогда у человека возникает потребность отвергнуть не только всю жизнь инстинкта, но и вообще **всю земную форму жизни,** весь «мир», который, кажется ему или созданным не Богом, или же, хотя он и создан Богом, но все-таки «лежит во зле»: человеку остается только заживо уйти от мира и ждать смерти. Отсюда учения буддизма, платонизма, крайней аскетики и скопчества. Отсюда, напр., требование известного христианского богослова Афинагора (второй век по Р. Х.): «презирай мир и помышляй о смерти»

Если же индивидуализация инстинкта опережает индивидуализацию духа, то перед человеком встает опасность **отвергнуть дух вообще.** Пока индивидуализированный инстинкт сдерживается первобытной родовой духовностью, эта опасность не становится определяющей и роковой. Человек не предается разнузданию потому, что его держит **гипноз примитивной духовности,** — как бы лежащее на нем массовое заклятие веры, верности и лояльности; удерживающая его бессознательная узда запретности; некоторое духовно-верное и обоснованное «недерзание», которое, однако, остается **лично в его** душе не утвержденным в порядке свободного, авто-номного, т. е. само-законного вменения самому себе, и постольку — лишенным почвы. И наряду с этим недерзанием его инстинкт удерживается еще, может быть, смутно бессознательным, но опять таки лично не укрепленным, не превращенным в **твердыню характера, настроением доброты, совестливости, порядочности, чести и национальной гордости.**

Но стоит этому заклятию и настроению поколебаться под воздействием **соблазнов и страданий,** стоит первобытной духовности замутиться и обессилеть — и выступает обнаженная сила индивидуального инстинкта, не сдерживаемого никакой лично-духовной силой, не поддающегося ни личному чувству чести, ни удержам долга и дисциплины, ни устою личного духовного характера. **Человек человеку становится волком.** Начинается война всех против всех — «кулачное право», поножовщина, гражданская резня, революция, большевизм.

Отвергая инстинкт, его индивидуальную форму и мир, как соблазн, — нельзя создать на земле **христианскую культуру, ибо она невозможна вопреки законам природы.**

Но не имея личной духовности и утрачивая родовую духовность, тоже нельзя создать на земле **христианскую культуру,** ибо она **невозможна вопреки законам духа.**

Христианская культура возможна только на скрещении, сочетании, взаимопроникновении **законов природы и законов духа.** В силу законов природы человек индивидуален и самостоятелен — он есть **творческий организм.** В силу законов духа человек духовен и социален — он есть **творческая личность.** И вот человек, как природный организм, должен стать **духовною личностью;** а духовная личность должна принять законы природного организма (начиная от личной семьи и кончая частной собственностью).

Этим и определяются пути грядущей России

●

СКОЛЬКО МОЖНО?

микрорецензии

«Неужели и Николая II любили?
Как это ни странно — иные любили и любят до сих пор. Она не очень распространена, эта любовь, даже очень не распространена, но она все же существует, и в загадке этой любви интересно разобраться.
Не буду разбираться в идее монархизма и царизма вообще, с которыми необходимо идейно бороться», — пишется в заключении книги С. Любоша «Последние Романовы» (М.—Л., 1924), репринтное воспроизведение которой по цене 5 руб. появилось недавно на книжных прилавках.
Как можно «идейно бороться» с чем-либо, абсолютно не вникая в суть вопроса, всем стало очень хорошо известно в последние десятилетия нашей истории. И в этой брошюре «борьба» ведется на уровне бездоказательных обвинений, сплетен (об интимной связи императрицы Александры Федоровны с Распутиным, разврате А. Вырубовой и т. п. излюбленных темах «желтой прессы») и просто лихих выпадов типа «после Павла семья так называемых Романовых плодилась и множилась», «скорбный главою» (Николай 11) и т. п.
Легко переходят нападки на династию и в прямую русофобию — «звериный национализм, изуверская церковность, кулаческие и сословные вожделения, все это тянулось к «подножию трона»... Есть и главка о «русском фашизме». Конечно, какая-либо полемика с такого рода «историографией» лишена смысла. Остается только добавить, что никаких комментариев и послесловий в переиздании наших дней не имеется
Всем (или во всяком случае большинству) сейчас ясно сколь кощунственными и ненаучными с любой точки зрения были учебники русской истории М. Покровского, атеистическая пропаганда 20-х годов. Кажется, никому не приходит в голову переиздавать что-либо из шумного потока литературы «Союза воинствующих безбожников»
Вывод, безусловно, может быть только один — пора наконец прекратить тиражирование пошлости и откровенной лжи

А. ТИМОФЕЕВ

Любош С. ПОСЛЕДНИЕ РОМАНОВЫ. Репринтное воспроизведение издания 1924 года. СП «Бук Чембэр Интернэшнл». М., 1990

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Человек. Прогресс. Личность.

Каким видит современный мир писатель и философ Александр Зиновьев.

Он всегда — равен жизни. Его блестящие парадоксы — это парадоксы нашей парадоксальной действительности. Его частая неправота и субъективность — это всеобщая наша сегодняшняя неправота. Он — профессионал высочайшего класса, отказавшийся от профессионализма и сознательно ставший дилетантом, поскольку — вся наша эпоха безнадежно больна дилетантизмом.
Известный ученый, специалист в области математической логики, автор многих научных трудов, «остепененный» научными званиями, член разных редколлегий ведущих научных журналов — он отказался от науки, ибо «в науке быть одному нельзя», а его идеи противоречили догматическим установкам советской логики Он стал писателем. Как сказал он об этом в интервью: «Я дошел до того места, после которого человек в одиночестве не может сделать ничего. Отсюда — мой переход в литературу. Это наука, объясняемая литературным языком, и литература на службе у науки» Он создал своеобразный, ни на что не похожий стиль для своих сатирических произведений. Он описывает не характеры, а людей, толпу людей И сам он — из этой толпы. Посреди — зияющих высот нашего общества Не сбоку, не сверху, даже не из глубины, а — посреди нашей социальной действительности, он берет за рукав проходящих мимо и затаскивает — в свою зиновьеаду..
Александр Александрович Зиновьев — уроженец Костромской области Мать — крестьянка, отец — художник. Родился в 1922 году. Воевал. Был летчиком-истребителем. Окончил Московский университет, позже заведовал кафедрой в этом университете. Все вроде бы предвещало нормальную, спокойную научную карьеру Но он всегда был — наособицу. Поверх вкусов и мнений. В московских пивнушках он изучал социальную логику нашей жизни и давал точный анализ посреди всего показного благополучия времен застоя.
Его первые книги «Зияющие высоты», «Светлое будущее», «В преддверии рая», «Гомо советикус» — привлекли внимание во многих странах мира Множество анекдотов, бытовых эпизодов, случаев из жизни — пропущенных через безупречный аппарат математической логики, но одновременно абсурдных, алогичных — воссоздавали нашу действительность семидесятых годов во всей ее полноте. За публикацию книг, «порочащих советскую действительность», Александр Зиновьев был исключен из партии, отстранен от преподавания в МГУ (так же как и И. Р. Шафаревич). Разогнали его учеников, вывели из членов редколлегий... Одним словом, заработал аппарат репрессий, рассчитанный на физическое или нравственное уничтожение человека. В конце концов Александр Зиновьев оказался в Мюнхене. Но и там он не «вписался» в диссидентскую жизнь. Создал роман в третьей эмиграции с достаточно едкими характеристиками ее лидеров. И себя он причисляет не к диссидентам, а к «типичным представителям социальной оппозиции». Он — один из самых независимых русских эмигрантов на Западе. И — один из самых уважаемых. При всем скептицизме по отношению к переменам в нашей стране, он — неисправимый оптимист. Отсюда и создание «Манифеста социальной оппозиции», как опоры для нарастающего оппозиционного движения в России. Как вклад в обновление России. Но здесь необходимо внести одно уточнение. «Манифест» датирован автором августом 1989 года, но анализ строится на условиях 60—70-х годов, а не на нынешних, тем не менее это не снижает очевидной полезности документа. Александр Зиновьев — скептик, пишет новый роман «Катастройка», соединяя слова «катастрофа» и «перестройка» — в одно целое...
Александр Зиновьев — ученый и гражданин, сам ищет выход из «катастройки» в реформаторском движении социальной оппозиции. Он уверен, что когда русские «захотят, там будут лучшие компьютеры. Мы сделали водородную бомбу, в СССР начнут сразу же с десятого поколения компьютеров и превзойдут всех в мире. Эта страна выродится только в том случае, если она захватит весь мир». И еще: «Русский народ — это народ открытый всем. Он в принципе не есть народ-националист»
Зиновьев высмеивает изъяны системы, но сам же напряженно думает — как спасти общество, народ, государство. Ибо при всей своей блестящей иронии, сарказме, свифтовском издевательстве над пороками, Александр Зиновьев, подобно великому британцу — государственник. Ирония его от того, что — «за Державу обидно». Он всегда делал и делает ставку и как писатель, и как ученый-социолог, на людей реального действия, на социальную оппозицию, способную изменить общество и государство в лучшую сторону. Он уверен, что мы выстоим и в нынешней публичной свалке, самоистязании и самоуничтожении

В Б

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

МАНИФЕСТ СОЦИАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ

Предисловие. Я неоднократно обращал внимание на неоднородность оппозиционного движения в России в прошедшие годы и выделял в нем одну тенденцию, которую я назвал социальной оппозицией (см., например, статьи в №№ 44, 51 и 53 журнала «Континент»). В этой статье я хочу несколько подробнее разъяснить, как я представляю себе эту форму оппозиции и ее перспективы. При этом я буду вместо слова «Я» употреблять слово «МЫ», но не потому, что уже имеется много участников социальной оппозиции, разделяющих мои взгляды (этим я как раз не могу похвастаться), а исключительно по той причине, по какой так поступают многие авторы научных и публицистических сочинений: слово «Я» вызывает у читателей впечатление раздражающей нескромности, тогда как слово «Мы» придает тексту вид успокаивающей безличности. И назвал я свою статью манифестом не из претензии указывать новые пути человечеству, а с целью оттенить литературную форму текста, а именно — его безапелляционно декларативный стиль.

Название оппозиции. Мы называем себя оппозицией социальной, а не какой-либо иной, руководствуясь следующими соображениями. Прежде всего, мы тем самым хотим отличить себя от исчерпавшего себя диссидентства, от конъюнктурного антисталинизма и антибрежневизма, от либерального и культурного фрондерства, от национализма, от религиозного сектантства, от псевдооппозиционных «неформальных» групп, использующих перестроечную демагогию советского руководства и временные послабления режима, от притворной игры властей и их холуев в критиков советского общества. Мы находимся в оппозиции не к отдельным негативным фактам советского образа жизни, а к самому социальному строю, к системе власти и к идеологии страны, причем — не временно, а на все времена, пока существует коммунизм. Для нас состояние оппозиции есть не конъюнктурное средство в каких-то корыстных расчетах, а сознательно избранное жизненное призвание.

Называя себя оппозицией социальной, а не политической, мы тем самым хотим подчеркнуть, что не имеем ближайшей целью разрушение социального строя в нашей стране и даже реформирование его. Это не означает, что мы принимаем его. Это означает, что мы хотим действовать по правилам серьезной истории. Мы реалисты. Если бы нам было известно лучшее социальное устройство и если бы мы были уверены в возможности его реализации, мы стали бы бороться за него без колебаний. Но увы, мы пока не видим такой перспективы. Мы ставим перед собою более фундаментальную цель, а именно: борьбу за создание в нашей стране условий, в которых достаточно большое число граждан смогло бы начать обдумывание путей прогресса в интересах широких слоев населения, а не в интересах привилегированных слоев и правящей верхушки. В современных условиях никакая оппозиция не способна организовать жизнь общества лучше, чем это делает существующее руководство. Тем более, в ближайшие десятилетия вообще не предвидится никакая возможность для оппозиции принимать участие в системе власти и управления страной. Поэтому мы считаем бессмысленными всякие политические цели в качестве реалистических целей оппозиции.

Мы считаем, что в современных условиях никакие преобразования коммунистического общества, сохраняющие его социальный строй, систему власти и идеологию, не способны радикально изменить образ жизни населения страны. Незначительные же преобразования может осуществить само руководство обществом. Мы не хотим в этом становиться его добровольными помощниками. А чтобы созрели здравые идеи радикальной (а не фиктивной и пропагандистской, какой является горбачевская) перестройки общества и реальные условия для нее, нужен длительный исторический процесс. Мы отвергаем всякий реформаторский авантюризм. Мы не намерены дурачить массы соотечественников лозунгами, которые либо в принципе нереализуемы, либо в реальном исполнении ведут к еще худшим последствиям, чем те явления, против которых они направлены. Мы не хотим участвовать в бессмысленных попытках изнасиловать исторический процесс в угоду абстрактным идеям и не считаясь с объективными социальными закономерностями. Мы не хотим участвовать в словоблудии, которое неизбежно возникает в ситуации, когда в оппозиционное движение вовлекается масса случайных людей, начиная от конъюнктурщиков и кончая партийными чиновниками. Мы намерены быть оппозицией на основе интеллектуальной добросовестности, здравого смысла и моральных принципов.

Наш подход к коммунизму. Наш статус социальной оппозиции определяется прежде всего тем, как мы подходим к пониманию нашего общества. Мы считаем, что наше общество является коммунистическим, реальным коммунизмом. Мы отвергаем марксистское учение о коммунизме как ненаучное. Мы настаиваем на научно объективном понимании коммунизма. При этом мы имеем целью разрушение всяких иллюзий насчет коммунизма как общества всеобщего благополучия, равенства и справедливости.

Мы называем коммунизмом такое общество, в котором имеет место следующее. Ликвидированы классы частных собственников. Национализированы или социализированы все средства производства и вообще все сферы человеческой деятельности, имеющие общественное значение. Все взрослое трудоспособное население организовано в стандартные деловые коллективы. Основная масса граждан отдает свои силы и способности обществу и получает средства существования через свои деловые коллективы. Все они суть служащие государства. Создана единая централизованная система власти и управления, пронизывающая все общество во всех измерениях. Создана единая государственная идеология и мощный аппарат идеологической обработки населения. Созданы мощные карательные органы и органы охраны общественного порядка. Централизована и унифицирована система воспитания и образования молодежи. Сложился устойчивый образ жизни, в результате которого естественным образом воспроизводится коммунистический тип человека и коммунистические общественные отношения.

В нашей стране такое общество уже построено, построен самый полный коммунизм. Мы таким образом отвергаем марксистское различие двух стадий коммунизма — низшей (социализма) и высшей (полного коммунизма). Определение и различение типов общественного устройства по принципам распределения жизненных благ и тем более по степени изобилия есть свидетельство социологической безграмотности такого подхода. Если принцип марксистского полного коммунизма «Каждому — по потребностям» понимать не обывательски, не в смысле удовлетворения любых желаний людей, а социологически, т. е. в смысле удовлетворения общественно признанных потребностей, то он реализован в нашей стране давно. Он реализуется вообще во всяком стабильном обществе в более или менее нормальных условиях. Реализация его вполне сочетается с низким жизненным уровнем. А высокий жизненный уровень не есть специфика коммунизма. С этой точки зрения, западные страны неизмеримо ближе к состоянию изобилия, чем коммунистические страны. Общество изобилия на основе коммунизма вообще невозможно в силу самих внутренних закономерностей коммунизма. Коммунизм в принципе есть общество дефицита, а не изобилия. Коммунизм не устраняет социальное и материальное неравенство людей, не устраняет несправедливость, насилие и прочие язвы, которые марксизм приписывал классовым обществам прошлого, а лишь меняет их исторические формы и добавляет к ним свои новые.

Мы отвергаем широко распространенное мнение, будто реальный коммунизм есть воплощение в жизнь марксистских идеалов, будто он навязан кучкой идеологов массам населения путем насилия и обмана, вопреки воле, желаниям и интересам масс. Коммунизм есть социальная организация масс населения, а не просто политический режим, который можно изменить распоряжениями начальства. Он сложился в нашей стране не по марксистскому проекту и не по воле марксистских идеологов, а в силу объективных законов организации больших масс населения в единый социальный организм. Он явился результатом исторического творчества миллионов людей. Люди, строившие его, либо вообще не имели никакого понятия о марксизме, либо знали его весьма смутно и интерпретировали его на свой лад. Кроме того, коммунизм в нашей стране не сложился не на пустом месте. Он имел предпосылки в предреволюционном русском обществе. Это — централизованный государственный аппарат, привычка масс населения к подчинению властям, универсальные отношения людей в больших объединениях. Ликвидировав классы частных собственников, Октябрьская революция расчистила почву для социальных отношений, ставших базисом нового общественного устройства. То, что получилось на деле, лишь по некоторым признакам похоже на марксистский проект.

Коммунизм обладает целым рядом качеств, являющихся соблазном для миллионов людей в нашей стране и во всем мире. Среди них можно назвать такие, как гарантированная работа, гарантированное удовлетворение минимальных жизненных потребностей, сравнительно легкие условия труда, формальная простота жизни, вовлеченность в жизнь коллектива, освобождение от забот, связанных с собственностью, и многие другие. Коммунизм в нашей стране держится уже как привычный и пока еще приемлемый для большинства граждан образ жизни. Если бы советское руководство вдруг задумало «отменить» его, оно встретило бы сопротивление широких слоев населения. Но за достоинства коммунизма приходится расплачиваться сравнительно низким жизненным уровнем, прикреплением к местам работы и жительства, тотальным контролем коллективов за индивидами и власти за всем обществом, отсутствием демократических свобод и прочими дефектами коммунистического образа жизни, которые стали объектом оппозиционной критики в прошлые годы и официально признаны теперь. Кроме того, эти блага коммунизма, как выяснилось теперь, не являются незыблемыми. Сыграв свою роль в укреплении коммунизма, они оказались под угрозой ограничения и даже частичной ликвидации. Гражданам коммунистического общества предстоит еще сражаться за них во всю последующую историю коммунизма. Сами завоевания коммунизма станут объектом специфически коммунистической формы социальной борьбы.

Мы видим свою задачу в том, чтобы разъяснить людям неразрывную связь достоинств и недостатков коммунизма, причем как такую связь, в которой недостатки суть закономерные следствия достоинств. Мы, далее, видим свою задачу в том, чтобы разъяснить, что достоинства коммунизма не даются автоматически самой социальной организацией, что за них нужно сражаться постоянно, что их уровень зависит от социальной активности населения.

Мы утверждаем, что из самой сущности коммунизма с необходимостью вырастет отсутствие у людей заинтересованности в повышении производительности труда, тенденция к застою в экономике, коррупция, бюрократизм, халтура, очковтирательство, карьеризм, бесхозяйственность и прочие общеизвестные язвы советского образа жизни. Мы считаем их не результатом ошибок руководства и некоторых плохих свойств отдельных людей, а закономерным продуктом самого коммунистического социального строя. Коммунизм обречен вечно жить с ними и вечно бороться против них в интересах самосохранения. Мы не одобряем эти явления, но и не призываем граждан бороться против них. Это — не наше дело. Мы суть оппозиция не внутри власти, а вне ее и к ней. Наша особая функция — вскрывать причины таких явлений и разъяснять населению доступными нам средствами. На вопрос, а что дальше, какова цель такой работы, мы отвечаем так: сама по себе эта задача требует для своего решения не одного поколения энтузиастов, а как распорядятся люди полученными с нашей помощью знаниями, это дело далекого будущего. А пока формирование научно объективного понимания происходящего есть самая что ни на есть практическая задача оппозиции.

Наше отношение к власти. Коммунизм есть всеобщая организация населения страны в систему отношений начальствования и подчинения. Здесь власть есть орудие внутренней организации масс людей, а не нечто внешнее им и стоящее над ними, — есть форма и средство самоорганизации. Система власти (государственный механизм или, коротко говоря, государство) вырастает здесь из потребности обеспечить существование страны как единого социального организма, вырастает как грандиозная система учреждений, функцией которой является сохранение целостности общества и управление им как единым целым. Так что марксистская теория возникновения государства оказалась ложной в отношении государства коммунистического. И она тем более оказалась ложной, «предсказав» отмирание государства при коммунизме. Коммунистическое общество без государства в такой же мере возможно, в какой возможен сложный и развитой биологический организм без центральной нервной системы. Государство при коммунизме не исчезает, а, наоборот, превосходит все прошлые формы государственной машины как по размерам, так и по роли, играемой в жизни общества. Оно тут превращается в нечто большее, чем его предшественники, — в сверхгосударство.

Вырастая из недр общества, коммунистическое государство превращается в своего рода сверхобщество, живущее за счет общества, в которое оно погружено. Здесь уже не государство служит обществу, а, наоборот, общество становится ареной и материалом деятельности сверхгосударства, сферой приложения его сил, средством удовлетворения его амбиций и потребностей. Сверхгосударство становится монопольным субъектом истории. Его жизнь со всеми его официальными спектаклями навязывается всему обществу в качестве всеобщего жизненного спектакля, в котором членам обычного общества (общества первого уровня) отводится роль исполнителей воли власти, статистов, почитателей и восторженных зрителей.

В сферу внимания коммунистического сверхгосударства в принципе входят все аспекты жизни страны, включая внешнюю политику, внешнюю торговлю, промышленность, сельское хозяйство, культуру, спорт, быт и отдых людей, воспитание детей. Нет такого аспекта жизни людей, который так или иначе не подлежал бы контролю со стороны сверхгосударства. Если что-то и выпадает из-под его контроля, то это происходит в силу отклонения от фундаментального принципа тотальной подконтрольности, а не в силу отказа сверхгосударства от этого принципа. Последний здесь обладает такой практической силой, что сверхгосударство подчиняет жизнь всего общества интересам управляемости. Интересам управляемости служит и система планирования, и прикрепление граждан к местам работы и жительства, и транспортные ограничения, и дефицит предметов потребления и жилья, и общественная работа, и карательные органы, и система образования и трудоустройства, и организация деятельности предприятий и учреждений.

Коммунистическое сверхгосударство имеет сложное строение. Основу и стержень его образует то, что в Советском Союзе обозначают словами «коммунистическая партия». Партия в коммунистической стране не есть некая единая организация в смысле западных партий, включая коммунистические. Она распадается на множество автономных партийных организаций в первичных коллективах и на партийный аппарат, образующий основу, стержень, скелет, мозг и волю всей системы власти и управления. В стране может формально существовать несколько «партий». Но это не меняет сути дела. Все равно какая-то совокупность учреждений станет играть ту же роль в обществе, какую играет партийный аппарат в Советском Союзе. Коммунистическое общество есть в принципе общество беспартийное в западном смысле, лишь принимающее обманчивую форму «однопартийного», а возможно — и «многопартийного».

Есть два способа и два аспекта воспроизводства системы власти и управления: 1) отбор кандидатов и назначение на посты сверху; 2) выборы путем голосования из числа кандидатов, выдвигаемых снизу. Для коммунистического общества характерным является первый способ. Второй играет роль подчиненную, санкционируя предрешенные результаты первого и маскируя его. При отборе кандидатов на посты в соответствующих инстанциях аппарата власти, контролирующих эти посты, рассматривается не один подходящий человек, а многие. Но если даже выборы будут и формально производиться из двух или более кандидатов, последние заранее будут отобраны так, что их различия не будут оказывать существенного влияния на то, как они будут выполнять свои функции на избранном посту. Существенно здесь не то, что выборы будут производиться из нескольких кандидатов, а то, кто при этом будет избран и как он будет вести себя на избранном посту.

Исходя из нашего понимания коммунистического государства, мы отвергаем лозунги многопартийности, выборов чиновников из многих кандидатов и прочие требования «демократизации» системы власти, считая их вздорными. Все требования такого рода могут быть осуществлены самими властями, а сущность системы власти от этого нисколько не изменится. Она лишь получит дополнительные средства маскировки и обмана населения. Мы не восторгаемся никакими заявлениями и обещаниями властей, не ищем в них некие прогрессивные силы и тенденции, не участвуем в их псевдореформаторской суете. Коммунистическая власть в принципе не заслуживает доверия и поддержки нашей оппозиции.

Лишь один пункт марксистского учения о государстве сохраняет силу в отношении коммунистического государства: последнее срастается с привилегированными слоями общества, становится защитником их интересов в первую очередь. В этом смысле оно является орудием высших слоев населения держать в узде прочее население и эксплуатировать их в своих интересах. Более того, здесь государство само становится ядром и основой эксплуататорских «классов» общества.

Структура населения. Наша оппозиция существует не для самой себя и не изолированно от нашего народа. Поэтому вопрос о социальной структуре населения имеет для нас первостепенную важность. Мы констатируем как факт социальную неоднородность советского общества, разделение его на слои с различными условиями жизни и интересами. Мы считаем официально признаваемое разделение людей на

классы рабочих и крестьян и интеллигентскую прослойку идеологической пустышкой, отвлекающей внимание от более важного для коммунизма разделения граждан на иные социальные категории. Рабочий класс в марксистском смысле слова в коммунистическом обществе исчезает вместе с классом капиталистов. Остаются рабочие как особая категория людей, занятых непосредственно физическим трудом. Эти люди принадлежат к низшим слоям населения. Идеология до сих пор утверждает сказку о рабочих как о главном классе общества. Но в нее уже никто не верит. Если человек имеет шансы перейти из рабочих в более высокую категорию, он это обычно делает. Рабочими становятся обычно те, кто не имеет возможности лучше устроиться в жизни, и те, у кого нет более высоких жизненных претензий. Сами рабочие не являются однородной массой. Среди них имеют место различия, исключающие общие интересы как постоянный фактор их образа жизни. Рабочие являются членами коллективов, состоящих из людей различных категорий. И решающая роль в этих коллективах принадлежит не рабочим, а всякого рода начальникам. Рабочие различных коллективов не объединяются в более обширные группы независимо от органов власти и управления. Профсоюзные организации объединяют всех членов коллективов, начиная с уборщиц и кончая директорами, и не являются специфически рабочими организациями. Тем более это касается партийных организаций. Деятельность их ограничена рамками первичных коллективов. В стране возникло огромное число учреждений и предприятий, в которых рабочих ничтожно мало и роль последних незначительна.

Потеряло смысл и понятие крестьянства. Социальная структура деревенского населения стала приближаться к городской в смысле разделения людей на характерные для коммунизма категории. Колхозы доживают свой век. Никакие меры властей, поощряющие частную инициативу в деревне, не способны остановить процесс коммунистического структурирования деревенского населения.

Аналогично обстоит дело с понятием интеллигенции. К какой категории, например, отнести сотни тысяч людей с высшим образованием, работающих в милиции, в КГБ, в военных институтах и штабах, в учреждениях власти? Десятки тысяч писателей, журналистов, художников, артистов, ученых суть функционеры аппарата власти и управления, работники идеологической и пропагандистской машины. Огромное число чиновников системы власти и управления суть образованные люди, занятые умственным трудом. Все признаки, по которым ранее отличали интеллигенцию от прочих граждан, утратили роль специфических открытий.

Определяющим для коммунизма является различение людей не по отношениям собственности, не по сферам занятости, не по профессиям, а по социальному положению в коллективах и в обществе в целом. В основе социального структурирования населения коммунистической страны лежат отношения начальствования и подчинения, обусловленные самим фактом объединения людей в группы и последних в более сложные коллективы и в единый социальный организм. Но было бы крайне абстрактным остановиться на этом. Подавляющее большинство начальников само находится в подчинении других, более высоких начальников. Имеются многочисленные факторы, делающие границы между людьми различных категорий неопределенными и изменчивыми. И все же в реальной жизни происходит расслоение массы населения в зависимости от их социального статуса. Последний характеризуется следующими параметрами: положение на иерархической лестнице социальных позиций, престижный уровень профессии, размер заработной платы, наличие или отсутствие привилегий, характер привилегий, возможности использования служебного положения, образование и культурный уровень, бытовые условия, доступ к жизненным благам, сфера общения, перспективы улучшения положения и устройства детей. Лишь совокупность этих параметров определяет социальный статус человека, а не каждый в отдельности.

По социальному статусу население коммунистической страны разделяется на три группы слоев — на высшие, средние и низшие слои. Грани между ними не абсолютны. Многие люди переходят из одних слоев в другие или занимают промежуточное положение. Внутри каждой группы имеют место свои подразделения и иерархия уровней Тем не менее это разделение ощущается достаточно отчетливо.

К высшим слоям на каждом административном уровне (район, город, область, край, республика и страна в целом) принадлежат высшие лица аппарата власти и управления, а также некоторые привилегированные лица, допущенные в эти слои с ведома первых (например, привилегированные деятели культуры, прославившиеся и ставшие элементом пропаганды «герои»). Попадают в эти слои также лица, имеющие особые связи с указанными выше носителями высшей власти данного уровня. Представители высших слоев имеют самый высокий жизненный стандарт. В их распоряжении все блага, достижимые в данной стране. Причем они имеют все почти без денег или за условную плату. Их богатством являются не деньги, а социальное положение. На всех уровнях они связаны служебными и личными отношениями, круговой порукой, взаимными услугами. Они образуют правящие клики, принимающие мафиозный характер и зачастую перерождающиеся в уголовные. Мощный аппарат власти и идеологии охраняет их привилегированное положение. Коммунизм есть в первую очередь их общество. Они здесь хозяева. Они суть коллективный эксплуататор общества в своих интересах. Они заботятся о прочих соотечественниках лишь в той мере, в какой рабовладельцы заботились о рабах, помещики — о крестьянах, капиталисты — о рабочих. Кроме того, их забота о других слоях является вынужденной тем, что последние сами так или иначе добиваются некоторых благ явочным порядком и благодаря самим объективным условиям коммунизма.

К низшим слоям относятся рабочие всех типов, работники сферы обслуживания, не занимающие постов, лица, занятые на подсобных работах в различных учреждениях, служащие контор и канцелярий, низший медицинский и научный персонал, воспитатели детских учреждений, рядовые милиционеры и прочие лица, выполняющие непосредственные деловые функции на низших ступенях социальной иерархии. К этим слоям относятся также начальники самых низших категорий. Социальная активность низших слоев близка к нулю. Они раздроблены, имеют самый низкий образовательный уровень, легче всех поддаются манипуляциям властей. Их солидарность ограничивается бытовыми отношениями асоциального характера. Их интересы представляют официальные общественные организации, администрация и органы власти. Их материальное положение в основном зависит от общих условий в стране и от политики руководства.

Средние слои образуют сотрудники системы власти и управления среднего уровня, директора и заведующие обычных предприятий и учреждений, преподаватели высших учебных заведений, деятели культуры, научные работники, короче говоря — основная масса служащих и начальников среднего уровня иерархии, а также творческая и интеллектуальная часть населения. К этим слоям относятся также многочисленные деятели спорта и других непроизводительных профессий. Эти слои самые разнообразные по составу. Их положение является двойственным. В одних отношениях они тяготеют к высшим слоям. Многие их представители обслуживают высшие слои, имеют с ними контакты и переходят в них. Для некоторой их части это вообще есть лишь этап на пути в высшие сферы. В других отношениях и в других частях они близки к низшим слоям, разделяют их судьбу, зависят от произвола властей. Они поставляют наиболее активных апологетов режима. В них входят работники идеологии и пропаганды, сотрудники партийного аппарата, карательных органов. Вместе с тем, эти слои являются основой новых веяний в стране, прогрессивных и даже порою оппозиционных умонастроений. Они имеют самый высокий образовательный и культурный уровень. В них входит самая деловая и творческая часть населения. В них гораздо больше возможностей для неофициальных объединений, чем в низших слоях. И одновременно они в гораздо большей степени подвержены контролю властей, поскольку в них входит самая активная и бдительная часть власти. Представители средних слоев являются проводниками политики высшей власти. Вместе с тем, именно средние слои являются основной базой всякой более или менее серьезной оппозиции. Они суть самая живая ткань общества.

Гражданское общество Анализ социальной структуры населения показывает, что лишь высшие слои образуют некое подобие социального класса в традиционном смысле, т. е. сравнительно однородное объединение людей, связанных единством интересов, образом жизнедеятельности и привилегированным положением. Основная же масса населения представляет собою раздробленное скопление индивидов различных категорий, по самим условиям жизни не склонных к образованию больших и устойчивых неофициальных объединении. Господствующие же слои принимают меры к тому, чтобы не допустить возникновение неподконтрольных объединений в низших и средних слоях. Принцип «разделяй и властвуй» здесь имеет чрезвычайно благоприятные условия в самих основах жизни людей. Нужна целая историческая эпоха социальной борьбы, чтобы созрели идеи и условия объединения широких слоев населения для защиты своих интересов

Исходя из такого рода соображений, мы отказываемся от идеи создания организации типа политической партии, претендующей на то, чтобы представлять интересы какого-то «класса» общества. Никакого такого класса просто нет и не может быть в самой природе коммунизма. Коммунизм действительно есть общество бесклассовое в марксистском смысле слова. И это делает социальную борьбу при коммунизме затруднительной.

Мы видим выход из такого положения в деятельности по созданию в нашей стране неклассового гражданского общества, т. е. независимой от властей и устойчивой среды из представителей различных слоев населения, своего рода неофициального подобщества со своим образом жизни, со своими вкусами и взглядами, со своими критериями оценки явлений культуры и событий жизни, со своим отношением к официальной идеологии, к власти и вообще ко всем явлениям, входящим в круг их интересов, со своими внутренними связями и отношениями. Мы уверены в том, что лишь при условии возникновения такого гражданского подобщества в нашей стране может сложиться массовая, устойчивая, преемственная и прогрессирующая оппозиция, способная защитить себя от репрессий со стороны властей и оказывать заметное влияние на весь образ жизни советского общества.

Выдвигая идею гражданского общества в качестве условия и формы социальной борьбы, мы не просто высказываем благое пожелание. Тенденция к образованию такой среды обнаружилась заметным образом уже в послесталинские годы, когда представители различных слоев проявили солидарность в деле десталинизации страны, причем солидарность, независимую от органов власти. В брежневские годы диссидентское движение поддерживалось в довольно широких кругах населения. Без этой поддержки оно не достигло бы такого размаха.

Гражданское общество в описанном выше смысле не есть всего лишь продукт энтузиазма одиночек и стечения обстоятельств. Оно имеет основания в самых базисных условиях коммунизма. Мы усматриваем эти основания в следующем. В нашей стране уже сложилось и систематически воспроизводится довольно большое число образованных и профессионально подготовленных людей, которые являются постоянными служащими государства, имеют гарантированную работу. Условия их труда сравнительно легкие. У них остается много сил и времени на свободную интеллектуальную жизнь. Для многих из них профессиональная деятельность есть их жизненное призвание. Она вынуждает их на размышления и на поведение, выходящие за рамки официально дозволенных и поощряемых. Им гарантирована по крайней мере минимальная заработная плата. Они независимы друг от друга материально. Поскольку они довольствуются достигнутым положением на иерархической лестнице социальных позиций, они и в социальном отношении оказываются взаимно независимыми. Благодаря этому складывается сравнительно свободная и некарьеристическая общность людей, имеющих высокий образовательный уровень, свободное время и склонность размышлять на социальные темы. Более того, в этой среде развивается озабоченность положением в стране и желание стать активными участниками исторического процесса.

Многие из этих людей не могут в полную меру развить и использовать свои способности и навыки, а за свою деятельность получают вознаграждение, которое ими воспринимается как несправедливое. Они суть наиболее творческие и деловые члены общества. Их социальный статус не соответствует их самосознанию и жизненным претензиям. Это, естественно, порождает у них недовольство своим положением. В силу их роли в обществе это недовольство принимает форму критического отношения к самому социальному строю и к системе управления общества.

К этой категории граждан относится также большое число молодых людей, начинающих свою трудовую и творческую деятельность. Они отдают обществу все свои свежие силы и способности, получая за это самое мизерное вознаграждение. Они в начале жизненного пути находятся в самом низу социальной иерархии, получая вознаграждение соответственно их положению, а не соответственно их потенциальным способностям и реальной отдаче сил обществу.

Эта категория членов коммунистического общества является относительно немногочисленной с точки зрения их числа в социальных группах, в которых они работают. Но в масштабах страны в абсолютном выражении она представляет весьма значительное явление. Она увеличивается численно с каждым годом. Роль ее в практической жизни страны становится все более серьезной.

Эти люди не превращаются автоматически в оппозиционеров. Они суть лишь потенциальная база для оппозиции. Нужно время и сложный исторический процесс, чтобы какая-то часть из них осознала свое фактическое положение и его несправедливость, почувствовала в себе силы бороться против нее, начала вырабатывать формы сознания и поведения, адекватные своему состоянию и ведущие к конфликту с правящими слоями общества. Мы видим задачу энтузиастов социальной оппозиции в том, чтобы ускорить этот естественный и неизбежный процесс и придать ему определенную направленность, а именно: направленность на образование гражданского общества в рассмотренном выше смысле.

Гражданское общество не должно стать организацией. Это есть особого рода ткань из представителей различных слоев и профессий, по самому способу жизни имеющих возможности и вынуждающихся на такой шаг. Будучи аморфным и неорганизованным, гражданское общество является неуязвимым для ударов со стороны властей. Представители его могут вести нормальный образ жизни, быть хорошими работниками и членами коллективов. Их принадлежность к гражданскому обществу не должна вредить их положению, а со временем должна стать средством защиты и успеха.

Наивно рассчитывать на то, что гражданское общество будет складываться повсеместно. В деревнях, мелких поселках и провинциальных городах для него просто нет места. Оно есть прежде всего феномен столичный и в местах, находящихся в сфере влияния столицы. В России естественно ожидать его возникновение в Москве и в сфере ее влияния. Возникнув и упрочившись в Москве, оно может оказать влияние на всю страну, послужит примером для других мест, окажет поддержку аналогичным тенденциям в провинции.

Гражданское общество должно стать базой и питательной средой для социальной оппозиции, необходимым условием превращения ее из дела немногочисленных энтузиастов в более или менее массовое движение со всеми его атрибутами — организационными формами, программой, тактикой. Лишь через гражданское общество социальная оппозиция будет в состоянии оказать заметное влияние на образ жизни в нашей стране и на развитие социальной борьбы. Мы убеждены в том, что не социальная гармония различных слоев населения и не социальный мир есть главный путь прогресса в нашей стране, а социальная борьба. Мы намерены делать все зависящее от нас, чтобы пробуждать и стимулировать эту борьбу.

Наше дело. Прежде чем гражданское общество сыграет ту роль, о которой говорилось выше, оно должно сформироваться в духе определенных идей, а не любых. Мы, энтузиасты социальной оппозиции, считаем главной формой нашей деятельности разработку этих идей и пропаганду их в России. Ядром ее должна стать всесторонняя критика нашего общества, опирающаяся на его научное понимание, то есть научная критика коммунизма. Мы намерены все явления советского образа жизни подвергать рассмотрению с той точки зрения, с какой они суть следствия коммунизма. Мы намерены акцентировать внимание не на преходящих недостатках жизни страны, которые в принципе могут быть устранены усилиями властей, а на таких свойствах общества, которые суть проявления его объективных закономерностей как общества коммунистического, от которых не способна избавить никакая власть и никакие реформы сверху. Мы видим задачу научной критики коммунизма в том, чтобы вскрыть причины непреходящих зол реальной жизни людей в нашей стране в самом социальном строе, а не в ошибках вождей, не в политике властей, не в неблагоприятных исторических условиях, не в плохих качествах людей. Поэтому мы не рассчитываем на такое милостивое отношение со стороны властей, какое сейчас можно наблюдать в отношении некоторых диссидентов, ставших лакеями Горбачева, и фрондирующих деятелей искусства, оппозиционность которых всегда была и будет ложной и эгоистичной. Нам предстоит проделать эту работу вопреки запретам властей, на свой страх и риск, главным образом нелегально. Мы даже не намерены требовать легализации нашей деятельности, помня лживость и ненадежность всяких обещаний и решений властей насчет свободы слова.

Разработка научного понимания коммунизма и превращение этого понимания в оружие критики есть тяжелая работа, требующая многолетних усилий, способностей, самоотверженности, терпения. Для этого мало знать факты жизни общества и иметь какой-то опыт жизни в нем. Для этого нужно специальное образование, овладение особой техникой исследования, доступ к достоверным сведениям в широких масштабах. Задачу эту не решишь усилиями дилетантов и людей, по тем или иным причинам вставших на путь оппозиции. Одного критического от-

ношения к реальности коммунизма еще далеко не достаточно для понимания того, почему реальность такова. Не решить эту задачу и за счет того, что сделано и делается в этом направлении на Западе, хотя число людей, занятых Советским Союзом, здесь исчисляется многими десятками тысяч.

Менталитет западных людей формируется под влиянием привычного образа жизни, существенно отличающегося от образа жизни советских людей, системы образования, средств массовой культуры и средств массовой информации. Все это порождает весьма негибкий (недиалектический), фрагментарный и хаотичный способ мышления, склонный к сенсациям и к успокоительным примитивным псевдообъяснениям. Представления о советском обществе привносятся в западное общество прежде всего журналистами, дипломатами и туристами, которые видят в советской жизни лишь поверхностные явления, да и то в той мере, в какой это разрешено и в какой это требуется данными условиями в средствах массовой информации на Западе и политической ситуацией. Специалисты-советологи немногим превосходят дилетантизм журналистов и дипломатов, а чаще уступают им. Они судят даже об очевидных явлениях советской жизни в той системе понятий и представлений, какую они имеют в качестве людей западных, заинтересованных не столько в истине, сколько в самоутверждении за счет советской темы. На пути научного подхода к советскому обществу стоит такое препятствие, как масса людей на Западе, уже вовлеченных так или иначе в советскую проблематику. Эта армия «специалистов» занимает все ключевые позиции, от которых зависит сама возможность объективно-научного понимания советского общества и оценка всего происходящего там. Она влияет на общественное мнение Запада, на политиков, на средства массовой информации. У этих людей уже сложилось свое понимание социальных явлений и исторического процесса. На иное понимание они просто уже не способны. Наоборот, они прилагали и будут прилагать усилия к тому, чтобы помешать научному исследованию советского общества, видя в нем (в исследовании) угрозу своему положению. И они имеют для этого колоссальные возможности. Фактически они выполняли, выполняют и будут выполнять роль, аналогичную той, какую в Советском Союзе выполняет идеологический надзор.

Учитывая сказанное выше, мы считаем, что задача научной критики коммунизма должна быть решена в России собственными силами. В России имеется достаточно много профессионально образованных и способных людей, которые могут посвятить свою жизнь творческой деятельности в этой сфере науки. Мы видим нашу задачу в том, чтобы стимулировать эту их деятельность. Для этого мы намерены приложить усилия к организации пропаганды результатов их исследований таким образом, чтобы эти результаты стали широко известны независимо от государственных средств печати. Социальной оппозиции предстоит покончить с дилетантизмом в сфере социального мышления, поднять дело оппозиционной пропаганды на профессиональный уровень, соответствующий интеллектуальному уровню потенциального и в будущем актуального гражданского общества. На этом пути нам надо быть готовыми к тому, что нам будут чинить препятствия масса людей и учреждений, до сих пор державших в своих руках средства оппозиционной пропаганды. Они уже превратились в вольных или невольных помощников советской власти в деле препятствования появлению в России устойчивой и преемственной оппозиции такого рода, какой может стать оппозиция социальная.

Мы не намерены ограничиваться научной критикой коммунизма. Мы считаем ее лишь идейной основой нашей пропагандистской работы. Мы намерены отбирать и пропагандировать произведения художественной литературы и публицистики, а также исторические и иные исследования, так или иначе связанные с проблемами социальными. Но не любые, а лишь такие, которые соответствуют характеру наших идей. Такого рода произведения появились в прошлые годы и наверняка будут появляться в будущем. Мы в этом отношении намерены продолжать лучшие традиции «самиздата» и «тамиздата». Современные средства коммуникации и распространения идей позволяют продвинуться в этом значительно дальше наших предшественников. Эта форма оппозиционной деятельности уже доказала свою эффективность.

Что касается позитивных идей преобразования общества, мы отвергаем всякие утопические и непродуманные проекты на этот счет. Мы помним о величайшем уроке истории, когда стремление к самым светлым идеалам привело к самым мрачным последствиям в нашей стране. Проекты преобразований, хорошо выглядящие на словах, далеко не всегда хороши в реальности. Мы не имеем в своем распоряжении никаких образцов, достойных подражания. Лозунги демократических свобод, прав человека, свободных профсоюзов, рабочего самоуправления, частной инициативы, децентрализации, многопартийности, выборов из нескольких кандидатов и т. п., выдвигавшиеся в последние десятилетия с целью неких коренных преобразований в коммунистических странах, были удобны для шумихи в западных средствах массовой информации, но оказались лишенными самого элементарного здравого смысла. Горбачевское руководство, включив их в свою демагогию и допустив на деле кое-что из таких требований, с полной очевидностью обнаружило их бессмысленность в качестве требований оппозиции. Эти лозунги были заимствованы на Западе или навязаны Западом конъюнктурно настроенным диссидентам. Они не имели серьезных оснований в советских условиях и превратились в чисто политические пустышки. Эти лозунги требовали каких-то преобразований общества, причем незамедлительных. При этом полностью игнорировались объективные возможности для преобразований, их неконтролируемые последствия и время, необходимое для них. Эволюционные процессы, требующие исторического времени, мыслились как вневременные акции, как по волшебству молниеносно приносящие желаемый результат.

Мы не отвергаем идеи прав человека и демократических свобод. Но мы к этой проблеме подходим иначе, чем участники правозащитного движения. Мы считаем, что права не даруются сверху властями, а завоевываются в длительной исторической борьбе, причем не просто в виде некоего распоряжения начальства, а в виде создания в самих условиях жизни феноменов, которые лишь закрепляются законодательно. Коммунистическое общество есть общество неправовое в строгом смысле слова. Здесь монополистом в истолковании и исполнении юридических норм является всесильное государство. Здесь на бумаге могут быть декларированы самые прекрасные права человека и демократические свободы. Но на деле они игнорируются или истолковываются так, что в реальности от них ничего не останется. Поэтому мы считаем своим долгом не апелляции к властям с требованием принять законы относительно прав человека и демократических свобод, не требования соблюдать эти законы, а разоблачение неправовой сущности коммунизма. Мы поддерживаем такие действия людей, на которые они не спрашивают разрешения властей, благодаря которым в практику жизни явочным порядком входят феномены, отвечающие интересам масс населения. Строительство правового общества надо начинать с фундамента, а не с крыши. Права человека и демократические свободы не суть нечто такое, что с рождения положено людям от природы. Это — формы организации общественной жизни, добытые в результате длительной эволюции общества лишь определенного типа, а не любого. Безумный перенос их в чужую им среду коммунизма порождает лишь самообман и разочарования. В нашей стране нужно еще завоевать более фундаментальные условия человеческого существования, на основе которых со временем, возможно, встанет вопрос о их законодательном признании и закреплении.

Мы считаем, что в современных условиях нашей страны разработка научного понимания коммунизма, критика явлений советской жизни с позиции этого понимания и пропаганда наших идей есть дело неизмеримо более важное, чем выдумывание практически невыполнимых программ и попытки создания конъюнктурных организаций, имитирующих прошлые образцы или подражающие западным образцам. Социологическое образование и просвещение широких слоев советского населения есть абсолютно необходимое условие прогресса нашей страны в социальном отношении. Эта задача является неизмеримо более сложной и трудной, чем любые другие формы оппозиционной борьбы, хотя в словесном выражении это и выглядит вроде бы проще всего. На этом пути мы будем иметь против себя сверхмощный аппарат образования, воспитания и идеологической обработки населения, сверхмощные государственные средства массовой информации, всю сферу культуры и косность многомиллионных масс населения.

Мы не предлагаем никакой альтернативы коммунизму, считая любую альтернативу такого рода в наше время утопией или просто безответственной болтовней. Мы не считаем западные страны образцом общественного устройства, какое мы могли бы рекомендовать советским людям. Блага западных стран далеко не абсолютны. И далеко не все граждане имеют возможность воспользоваться ими практически. Одними демократическими свободами сыт не будешь. Чтобы насладиться материальным изобилием, нужны деньги. А чтобы заработать деньги, человек должен спуститься в преисподнюю западного рая, которая ничуть не лучше советской. За блага западной демократии тоже приходится платить немалую цену. Да и существовали они не вечно. В борьбе за них были принесены огромные жертвы. Мы намерены ориентировать сознание наших соотечественников именно на неизбежность исторической борьбы за лучшие условия жизни, а не на ожидание их в качестве дара свыше и, тем более, со стороны Запада. Советскому народу предстоит не просто позаимствовать какие-то социальные образцы на Западе и перенести их в готовом виде на свою почву, но начать новую эпоху исторического творчества. Это будет эпоха проб и ошибок, иллюзий и разочарований, успехов и поражений. Жизненные блага, подобные западным (подобные, но не те же самые), будут завоеваны как результат истории, причем на основе тех достижений, которые уже стали привычными. А ведь гарантии удовлетворения минимальных потребностей (работа, образование, медицинское обслуживание и т. д.) стоят того, чтобы за них сражаться. Ирония истории состоит в том, что сами советские власти стали насаждать в стране второстепенные западнообразные явления, дабы как-то оправдать покушение на достижения семидесятилетней советской истории. Наша страна все еще находится в начале нового исторического этапа. Ей еще только предстоит выстрадать идеалы будущего. Мы видим одну из наших задач в том, чтобы разрушить возникшие в последние десятилетия иллюзии, будто Запад есть тот рай земной, к которому следует стремиться. Эти иллюзии деморализуют советских людей, отвлекают их внимание от борьбы за реальные жизненные ценности и от объективного познания своего собственного общества.

В обстановке смуты, идейного хаоса и растерянности, наступившей в нашей стране в последние годы, всякого рода конъюнктурщики и ловкачи навязывают массам населения новую ложь относительно сущности нашего общества, его прошлого и путей к лучшей жизни. Мы намерены противопоставить этому мутному словоблудию и бессовестному бесовству позицию объективности и реалистичности. На спекуляциях за счет кратковременной политической конъюнктуры серьезную оппозиционную традицию создать невозможно.

В отношении организационных форм мы точно так же предлагаем начинать с естественного начала, уже апробированного в прошедшие десятилетия, а именно: с создания небольших неофициальных групп из лично знакомых людей, связанных общими интересами к проблемам мировоззрения, теории общества, социальной истории, эволюции социальных идей, социальной борьбы, коммунизма, советского общества и его истории. Деятельность таких групп должна определяться стремлением к образованию, независимому от официальной идеологии и подконтрольной ей науки, к самостоятельному исследованию в этих сферах, к обсуждению узнанного и познанного, к распространению полученных сведений и результатов в своем окружении. Иначе говоря, эти группы должны сделать предметом своей деятельности все то, что входит в сферу государственной идеологии и общественных наук, но независимо от них, с иной ориентацией, с иным способом понимания. Результатом этого должно явиться создание оппозиционного мировоззрения, которое послужит основой идейного объединения стихийно возникающих оппозиционных групп. Именно идейное единство должно стать исходным пунктом будущей массовой социальной оппозиции.

Мы, таким образом, настаиваем не на случайном скоплении людей, по тем или иным причинам ставших на путь протеста против отдельных явлений советской жизни, а на идейном объединении обычных граждан, причем на высоком уровне образованности, понимания и убежденности. Мы настаиваем не на бесформенном и негативном инакомыслии, а на вполне определенном и вполне позитивном единомыслии во взглядах на мир, на познание, на общество, на коммунизм, на ситуацию в нашей стране и ее перспективы. Социальная оппозиция должна породить единое идейное движение, по своему интеллектуальному и творческому уровню соответствующее образованной части человечества конца двадцатого века. Это движение должно привлечь к себе внимание гражданского общества, а через него — широких кругов населения страны. Надо начинать с овладения умами людей и на этой основе — их душами и чувствами. Как они потом будут вести себя в качестве граждан, зараженных оппозиционной идеологией, покажет время.

Отношение к Западу. Мы принципиально иначе, чем диссиденты, подходим к оценке роли Запада в советском оппозиционном движении. Было бы несправедливо игнорировать то, что Запад сыграл огромную роль в создании оппозиционной вспышки в Советском Союзе в хрущевские и брежневские годы. И в будущем «тлетворное влияние» Запада здесь будет ощущаться. Но было бы преступно закрывать глаза на негативные стороны влияния Запада на советскую оппозицию. Поощряя, например, советскую эмиграцию, Запад действовал в удивительном согласии с советскими властями. Он добился того, что многие диссиденты покинули страну, и это стало одной из причин деградации движения. Угождая умонастроениям на Западе, многие бывшие диссиденты встали на путь сотрудничества с советскими властями. Последние даже стали смотреть на советских эмигрантов как на свои форпосты в пока еще мирном вторжении в западные страны.

Запад руководствовался и будет руководствоваться впредь своими представлениями о советском обществе, своими критериями оценки общественных явлений и своими интересами. Запад поощрял в советской оппозиции лишь то, что отвечало его понятиям, вкусам, целям, а отнюдь не то, что отвечало потребностям и возможностям внутренней социальной эволюции самого советского общества. Запад навязал многим тысячам советских людей такое понимание советского социального строя, истории страны и целей социальной борьбы, какое совершенно не адекватно условиям жизни и интересам советских людей. Это привело к дезориентации сознания оппозиции и сочувствующих ей кругов населения, к измельчению социальной борьбы вообще, к замутнению идейной ситуации. Вот почему освобождение от всего того, что Запад стремится навязать советской оппозиции, не считаясь с внутренними закономерностями коммунистического общества и потребностями его граждан, является одной из важных установок социальной оппозиции. В нынешних условиях, когда западные средства массовой информации стали почти единодушно проводниками горбачевской политики, а влиятельные силы Запада, ранее поддерживающие оппозиционную критику советского режима, фактически предали это дело, освобождение от западной опеки становится абсолютно необходимым условием создания нормальной отечественной, а не импортной оппозиции.

Социальная оппозиция должна существовать не для того, чтобы давать материал для западных средств массовой информации и каких-то людей и организаций на Западе, эксплуатирующих советскую тематику в своих корыстных целях, а для своих собственных целей. Она сначала должна выработать свои собственные качества, соответствующие ее положению в ее собственном обществе, утвердиться в этих качествах как постоянно действующий фактор советской жизни. И лишь на этой основе она должна использовать возможности, какие ей может предоставить Запад. Не социальная оппозиция для Запада, а Запад для социальной оппозиции!

Социальная оппозиция, очевидно, не может при такой установке рассчитывать на сенсации и поддержку на Западе, какие выпали на долю диссидентов. В этом, конечно, есть свои минусы. Но есть и плюсы. В социальную оппозицию будут вовлекаться люди не из соображений личной выгоды за счет оппозиции, а в силу глубоких убеждений, бескорыстно и с готовностью пойти на жертвы. Моральная чистота оппозиции является препятствием в достижении скорых и показных успехов, удостаиваемых внимания прессы, но зато она окупится сторицей в исторической перспективе.

Послесловие. Этот манифест касается только самых общих и фундаментальных принципов социальной оппозиции. Я не касался в нем многих других проблем, таких, например, как отношение к другим формам оппозиционного движения, средства и методы пропаганды, связь с оппозиционными движениями в других странах. Я думаю, что сейчас представляется возможность обсудить все эти вопросы на приличном теоретическом уровне, без особой спешки и без вовлечения в дискуссию лиц, не заинтересованных во внесении в оппозиционное движение беспощадной ясности и определенности.

МЮНХЕН, январь 1989

●

ЛИТЕРАТУРА

Рассказ.
Роман.
Сказка.



Продолжение романа А. Дюма «Последний платеж» читайте на стр. 77.

из личного архива писателя

ГЕОРГИЙ УСТИНОВ

ВЫДВИЖЕНЕЦ ЛУПАРЕВ

Вечером, по субботам, как только сумрак густой волной зальет мою комнату, я, не зажигая света, подхожу к окну и с особым чувством радостного покоя смотрю в парк Сокольников, на пробегающие мимо нашей улицы, по Богородскому шоссе, звонкие, наполненные густыми, движущимися тенями, ярко освещенные трамваи — и жду его, моего обязательного гостя. Матвей Иваныч звучно шлепает своими огромными сапогами по лужинам, расплеснувшимся на нашем дворе от постоянных дождей, уже привычных в этом году, как бывает порою привычной даже зубная боль, — и, осторожно постучавшись, хрипловатым, густым басом спрашивает:

— Можно?

Если дверь не заперта, он широко открывает ее, входит ко мне в комнату и сам себе отвечает успокоительно:

— Можно!

Не снимая пальто, он шарит по стене, находит выключатель и зажигает свет.

— Сумерничаете? Это — хорошо! В сумерках, когда думаешь о жизни, она кажется лучше...

Раздевшись, Матвей Иваныч садится всегда на один и тот же стул — на тот самый, на который он сел, когда пришел в первый раз, — он привык к нему, как привык к нашим субботним вечерним беседам.

— Тихо вы тут живете, — говорит Матвей Иваныч, наливая в блюдце чай, который всегда я приготовляю к его приходу.

— Если бы мне так жить, я ходил бы в баню три раза в неделю, пил бы чай с малиновым вареньем и писал бы каждый день по рассказу... Тихо вы тут живете, — повторил он, — на отлете. Когда так живешь, можно поглядывать на жизнь как бы со стороны. А со стороны — всегда виднее!..

За окном шумит дождь. Трамвайные дуги высекают яркий зеленый огонь, ослепительные зеленые искры лопаются, как ракеты. Я закрываю шторы. Комната кажется меньше, но светлее и уютней.

— Я всю эту неделю думал о том — что легче для жизни: развитой ли организованный капитализм или долгий путь пролетарской диктатуры... То и другое должно привести к социализму...

У него, когда он приходит ко мне, всегда есть какой-нибудь «гвоздь». Он — хороший монтер, влюблен в электричество, в его силу и красоту, как в женщину, и, как преданный любовник, очень восторженно говорит о прекрасных качествах своего предмета.

— Развитой капитализм организует жизнь посредством смертоносных войн, кровавым угнетением громадных колониальных стран, порабощением трудящихся классов. Это легче пролетарской диктатуры?!.

Матвей Иваныч, избочив голову, ожесточенно дует в блюдце, крепко хрустит сахаром — он всегда пьет чай вприкуску — затем, положив себе на колено свой тяжелый кулак, говорит растерянно:

— Ах, черт! Эта штука совсем вылетела у меня из головы...

Он беспартийный, потому что считает себя неподготовленным для партийной работы. Для него быть в партии — это значит отдаться работе самоотверженно, до самозабвения, поэтому он редко бывает довольным каким-нибудь партийцем, в котором он рассмотрит обыкновенного человека. О себе Матвей Иваныч говорит, что он еще не дозрел до настоящего общественника, и оттого старается держаться в тени:

— Учусь!.. А там видно будет. Мне всего еще только сорок два...

Матвей Иваныч — великий спорщик, но сегодня у нас как-то сама собой навернулась не теоретическая, а бытовая тема. Матвей Иваныч недавно ездил к отцу, в деревню, прожил там две недели и вернулся в таком настроении, точно его ошпарили кипятком.

— Нет, поглупел я что ли, аль в самом деле оторвался от деревни, как нынче говорят, но никак не могу взять в толк: что ей нужно?

— Кому?

— Деревне! Был у нас хороший председатель, культурник, трезвый. Так что вы думаете? Съели! За то съели, что с пьяницами компании не водил. «Чураешься, — говорят, — нас, — значит, камень за пазухой держишь».

Из обреза раз в окно к нему выпалили. Облили парня грязью, оклеветали, — пришлось уйти. Нет, нашей деревне все еще нужны, видно, Митрошки Лупаревы...

— Кто такой Лупарев?

— Об ём рассказать стоит: может быть, когда-нибудь напишете. Сейчас он здесь, в Москве, живет в одной квартире со мной, через перегородку. По деревне — шабер...

Матвей Иваныч налил в блюдце чаю, подул на пальцы и с удивлением посмотрел на грязноватые ручейки, растекавшиеся по полу от его огромных сапог. Неодобрительно покачав головой, он переставил ноги на сухое место, под стул, и насмешливо гмыкнул:

— Ну, и а-яй! Разукрасил я у вас пол-то... Не лучше Митрошки...

— Пол вымоется. Расскажите лучше о Лупареве.

* * *

— Такие люди, как Митрошка, встречаются нечасто. Во время гражданской войны, в эпоху, как говорится, военного коммунизма, положено было таким Митрошкам стоять на большой высоте в разных глухих углах. Митрошка явился домой прямо с фронта, где был каптенамусом, то есть воровал, наверное, что ни попадя. Явился и сразу же давай крошить всех резвым солдатским матом, не только стариков и баб, но даже детей и коров. Обзавелся он тогда какой-то печатью, к боку прицепил пистолет в деревянном ящике, на грудь — малиновый бант величиной со сковороду, на голову надел зеленый картуз с кокардой наподобие ножниц, на ногах у него были галифе такие, что можно спеленать тарантас, — и вот в таком-то виде явился он в старое волостное правление и открыл ежедневный прием посетителей. Деревня наша крупная, зажиточная, ниже середняка и хозяев-то не было, стоит она у реки, а через реку — мост: мужики на собственные средства построили. И училище было — новое, под железной крышей, собственное, мужицкое, стояло оно на краю, насупротив кирпичного столбика с иконой «неопалимой купины», при раздорожьи. От училища этого метнулись к бывшему помещичьему лесу хлебородные, как говорится, поля, а на реке шумела справная водяная мельница кулака Староверова. И была еще у этого Староверова дочь, грамотная девка семнадцати лет. Ну, как явился Митроха в свою деревню, вскоре же прогнал из дома свою жену, Мотьку, весьма старательную бабу, но некрасивую, и, нацепив пистолет, бант и кокарду, вломился в своих галифе в кулацкий дом:

— Отдайте мне, Староверов, дочь свою Маньку вроде как замуж, а то из владений твоих тебя выгоню и мельницу отберу, потому как теперь вся власть — во мне!

А кулак — он хитрый был и знал свою дочь, как облупленную, — говорит Митрошке Лупареву:

Возьми ты ее, Маньку, Христа ради, а то она меня, курва, со свету сживет! Ступай — она в горнице прихорашивается.

Поправил Митрошка галифе, перешел сени, отворил дверь в горницу и обомлел, даром что был каптенамусом: сидит эта самая Манька в чем мать родила, в большом корыте, что капусту рубят, и полощется, как утка. Увидала она Митрошку и, словно она ждала его, подлая, будто все так и надо, вежливо этак указывает ему на стул у окна:

— Извините, — говорит, — герцог, я ванные принимаю и еще не совсем одета. Будьте добры подождать.

Митрошка сидит, Манька полощется в корыте, потом начала одеваться, причесываться — и все это при нем!

— Теперь, герцог, я вполне к вашим услугам.

Митрошку даже оторопь взяла.

— Пришел, — говорит, — я по личному вопросу сделать вам предложение быть моей женой. Какое ваше по этому поводу мнение?

— Мнение, — говорит Манька, — вполне обыкновенное. Но только чтоб свадьба была пышная, как следует — в церкви и с попами.

Митрошка уступил ей, свадьбу отхватили на всю волость, еще и теперь все помнят. Манька со своим скарбом и с книгами, какие она поедом ела с утра до вечера — все о графах да о герцогах — переехала к Митрошке в дом...

Вот тут-то они и начали командовать! Через два месяца Митрошка выгнал своего тестя, кулака Староверa, из его дома в сени, а сам с Манькой поселился в его доме; из помещичьей усадьбы велел перетащить к себе все имущество и даже рояль, на котором Манька вскоре научилась играть романс «Пожалей ты меня, дорогая». Потом Митрошка дочиста обобрал тестя и всех, кто побогаче; обзавелся хорошим выездом, нашел себе помощников и распределил между ними комиссарские должности: кто — военный, кто — продовольствия, кто — по просвещенским делам... В гражданскую войну гнал всех мужиков в город, в армию, а тех, кто сумел откупиться, оставлял при себе на незаметных должностях. Жили Митрошка с Манькой уж воистину, как герцоги, только птичьего молока не было!.. Ну, и пьянства, конечно, море разливное, и драки были, и пистолетная пальба... Тут, я полагаю, нет ничего удивительного: Митрошки командовали во многих глухих местах, а затем все-таки попали на булавочку. А ведь наш-то, Лупарев-то, — вывернулся!.. Когда кончилась гражданская война и стали налаживать мирные законные порядки, так мужики, еще не опомнившись от страху, не веря ни в какую законность, — все того же Митрошку в председатели выбрали! И вот только однажды, когда Лупарев объявил бумажку о выдвиженцах, кого-то словно осенило:

— Кого же, — кричит этот мужик, — нам и посылать в помощь советскому правительству в самый центр Москвы, как ни уважаемого и верного деятеля нашего — Митрофана Лупарева?! Выбираем, граждане, Митрофана Игнатьича — и больше никаких!

Ну, и выбрали, а Митрошка не то не понял, не то и в самом деле в большие комиссары в Москве решил выдвинуться. Поехал, продав все имущество, и попал в Москве на должность в учреждение, касающееся крестьянских дел. Но тут ему не так повезло. Скоро было обнаружено, что Митрошка больно уж до взяток охочь: ему велят повести приезжего мужичьего делегата по нужным учреждениям, а он, как выйдет на улицу, так сейчас же:

— Зайдем, дядя, в пивнуху, надо важное дело обсудить.

Пойдут, мужик поставит ему пару пива, а Митрошка ему — со всей откровенностью:

— Тут, дядя, мне большая власть дадена, но есть такие спецы, к которым без барашка в бумажке не подойти. Ежели хочешь выиграть ваше дело, давай пять червяков...

Ну, и давали, конечно, пока однажды какой-то бывалый мужик не рассказал про Митрошку в учреждении. Митрошку хотели под суд, но пожалели: дескать, выдвиженец, — прогнали со службы без всякого позора, даже выходное пособие выдали. Получил Митрошка пособие и остался жить в Москве, в том же общежитии, где я живу сейчас. Подал он прошение — в милиционеры... Все-таки, дескать, начальство, и можно кой-какой доходишко зашибить. Но уж коль начнется невезение, оно так и пойдет. В милицию-то Митрошку приняли, но должность дали самую бездоходную: заставили караулить нефтяные баки. Ну, какой тут доход? Баки запечатаны, продать ничего нельзя, взяток брать не с кого! А Манька, как увидала наряды у московских франтих, так на стену лезет: «Покупай то, покупай се, чтоб боты были фетровые и на заказ, туфли прямо из Парижа, котиковое манто, дорогие платья и прислуга не с биржи... И чтоб каждый день театр и автомобиль-такси!..»

Ну, ничего не поделаешь — рвется Митрошка на части, из милиционеров, с бездоходного места, ушел, и вот...

Матвей Иваныч помолчал, с хрустом откусил сахару, и, выпив залпом остывший чай, поставил стакан на блюдечко.

— ...И вот, теперь Митрошка у нас домовой комендант! — продолжал Матвей Иваныч с тяжелым вздохом. — Я вступил с ним в борьбу... Стараюсь открыть его проделки, потому что он грабит наш дом, тратит бездну средств на какие-то ремонты, получает субсидии... и всегда чист! Уже две ревизии ревизировали его дела,

все документы оказались сделаны по форме, но работу никто не проверял. Манька каждый день покупает обновы, завела, сукина дочь, пианино и граммофон, устраивает пирушки, и на досуге, зная, что мне все слышно за перегородкой, ведут промеж себя, примерно, такие беседы:

— А что, Маня, не купить ли нам где-нибудь дачу, поближе от Москвы? Здесь, в этой дыре, нам жить не по нашим вкусам!..

— Обязательно надо купить, Митрусь! Как ты ни говори, а червонец все-таки падает...

— Вот, дай только мне получить следующую субсидию. Я этим идиотам представлю такие документы, что у них поджилки лопнут! А с деньгами мы поездим вокруг Москвы по дачным предместьям... Может быть, попадется что-нибудь для нас подходящее. Нельзя же всю жизнь гнить в этой норе...

Нора эта, в которой они гниют, состоит из трех комнат. Как только Митрошку, безработного человека, из выдвиженцев назначили комендантом, он отхватил себе лучшую квартиру, заново отремонтировал ее за счет домовых средств, провел телефон, поставил радиоприемник, устроил ванную и назначил себе жалованье... Скромное, конечно, для отвода глаз. И при том — и он, и жена его, эта самая Манька, — оба пособие получают с биржи труда, как безработные... И Манька по-прежнему, как в деревне, зовет его «герцогом»:

— А что, герцог, не сыграть ли вам что-нибудь из оперы о гражданке Кармен? Прекрасная музыка, — не правда ли, ваша светлость?

И играет, холера, все ту же расподлейшую «Пожалей ты меня, дорогая» или какие-нибудь, не менее гнусные «Кирпичики»... И вот, бьюсь я с ними полгода, грызусь с Митрошкой на собраниях, пишу докладные записки... Написал даже, скажу вам по секрету, в комсомол насчет того, чтобы выслали отряд «легкой кавалерии» или какую-нибудь ударную бригаду. Из комсомола пока еще никого не было, послал я туда бумажку третьего дня... А на наших собраниях Митрошка постоянно выходит сухим из воды, вроде как даже невинно пострадавшим, а я склочником, оплеванным и униженным, потому что меня, по намекам Митрошки, жильцы подозревают в том, что я на митрошкино место, в коменданты мечу... Прикинется Митрошка казанской сиротой, пустит на собрании слезу — и постановят: выселить за склоку — и никаких. И выкатишься из дома, как футбольный мяч, на улицу: иди куда хошь! Что, не верно я говорю? Вот вам материал! И не выдумка какая-нибудь, а настоящая живая жизнь из подлинной нашей обывательской практики. И вот еще я хочу спросить вас: как вы думаете — нет ли где-нибудь еще вот таких же Митрошек Лупаревых в хозяйственном и служебном быту? Не доводилось ли вам где видеть таких же вот сукиных сынов?!.

Уходя, Матвей Иваныч немного задержался в дверях и, как бы спохватившись, говорит с виноватой улыбкой:

— Вы не подумайте чего... Я, как монтер, работал во многих учреждениях, где есть выдвиженцы... Люди как люди, даже смирнее обыкновенного человека... Дадут им работенку — они и делают ее со всем своим прилежанием. По вечерам бегают обучаться разным доступным наукам и, конечно, не без того, на собраниях иногда критикуют, вносят деловые и даже полезные предложения. Что тут особенного? — обыкновенный трудящийся народ. Так вы не подумайте: я не про них, а про Митрошку Лупарева...

Матвей Иваныч ушел, плотно притворив за собою дверь, и я слышал, как чавкают на дворе его огромные сапоги. Меня заинтересовала эта длительная борьба одного честного беспартийного рабочего с пройдохой Митрошкой Лупаревым и с тупым равнодушием к общему делу целой почти сотни жильцов. Я с нетерпением ждал следующей субботы, но в субботу Матвей Иваныч не пришел. Пришел он в воскресенье утром, веселый, очень румяный от заморозка, в валенках и в черном романовском полушубке. Тиснув мне руку, Матвей Иваныч сбросил полушубок, кинул на стул шапку и, усевшись, говорил, радостно потирая руки:

— Вот вам и «легкая кавалерия»! Вот вам и ударная бригада! Молодежь, сопляки, а как Митрошку-то распатронили!.. Всю подноготную выявили — и про деревню, и про старую службу, как с приезжих мужиков взятки брал... И даже про его светлость, про герцога... И сидит теперь Митрошенька в ГПУ, а мне общее собрание наших жильцов, по докладу ревизии благодарность выразило и предложило Митрошкину квартиру занять — комендантом сделаться. Но я, конечно, отказался наотрез, хотя и поблагодарил душевно. Целую неделю мы с этим Митрошкой возились, а до дела все-таки довели! Хороший народ — эта самая «легкая кавалерия»!

Он был до того переполнен радостью, что я серьезно опасался, как бы он не ошпарил себе весь «поднаряд», когда, ухватив своей огромной лапищей стакан с огненно горячим чаем, он намеривался целиком опрокинуть его в рот. Но беда прошла мимо. Правда, первый глоток был несколько велик, и Матвей Иваныч, прежде чем проглотить его, долго сидел с побагровевшим лицом, смотря на меня изумленно-испуганными глазами, но потом все-таки проглотил, выразительно крякнул и помотал волосатой головой:

— Ну, голова, и сила! Прямо сто тысяч киловатт... Едва оклемался, черте-те дери, думал, совсем крышка...

Уходил он такой же восторженный, переполненный до отказу своей первой общественной победой. В следующую субботу он пришел опять, но уже с новым «гвоздем»: Митрошки для него уже больше не существовало.

— Я всю эту неделю думал о том — сколько еще времени надо держать непоколебимую пролетарскую диктатуру, чтобы весь наш народ сделать культурным и окончательно сломить сопротивление враждебных нам сволочей? Как вы думаете: лет двадцать или больше?

Чай он пил спокойно, с чувством, и так трещал сахаром, что моя кошка забилась под кровать и смотрела оттуда на Матвея Иваныча испуганными огненно-зелеными глазами.

1930

Георгий Феофанович УСТИНОВ (1888—1932) принадлежал к тому поколению русских литераторов, чье мировоззрение формировалось под влиянием народнических идей. Земляк М. Горького, выходец из Нижегородской губернии, Устинов начинал свое творчество не только с рассказов и повестей, но и с нравственного трактата «Основы нового народничества» (1915).
Георгий Устинов издавал в Костроме «Волжский Сатирикон» в частной типографии П. М. Крылова. Позже он был выслан из Костромы за свою издательскую деятельность.
Все это потом нашло свое литературное отражение в многочисленных рассказах и повестях «Жуть» (1911), «Крутояры» (1912), «Тюрьма» (1912), а затем в романе «Человек из леса» (1926).
После Октября 1917 года Георгий Устинов работал в партийной печати («Правда», «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»), в общественно-художественных изданиях («Красная Нива», «Прожектор»), в периодике, в частности в ленинградской «Красной газете».
Именно Г. Устинов был последним человеком, видевшим Есенина в роковой декабрьский день 1925 года в номере гостиницы «Англетер».
Рассказ Г. Устинова «Выдвиженец Лупарев» был написан в московский период жизни писателя, незадолго до его трагической смерти, повторившей есенинскую участь
Рассказ публикуется впервые по экземпляру авторской рукописи из личного архива писателя.

Послесловие и публикация
АЛЕКСЕЯ КАЗАКОВА.

АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец)

ПОСЛЕДНИЙ ПЛАТЕЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Петербург встретил Дантеса и Гайде холодноватым туманом, и они могли воочию удостовериться в огромной разнице между двумя столицами России.

— Мне непонятно, — сказала всегда самостоятельная в суждениях Гайде, — как мог вообще жить в таком городе величайший поэт России — Пушкин? Ведь это просто какой-то гигантский каземат, сплошная каменная тюрьма... Какая огненная, рвущаяся из сердца песня или поэма могла бы родиться в подобном каменном саркофаге? Возможно, Пушкин как раз и задыхался в этой темнице и поэтому сам рвался навстречу смерти. А вы, мой неукротимый друг, все-таки собираетесь мстить за него, рисковать собственной головой, ставить на карту и свое собственное счастье, и мое также...

— Прежде всего, милая моя Гайде, — с какой-то особенной, редко звучащей в его голосе ноткой, ответил Дантес, — я собираюсь мстить за себя самого.

— Для меня это еще страшнее, еще тягостнее, — со вздохом отозвалась Гайде. — Хотя в общем-то я и сочувствую этому замыслу... Будь я в силах, я бы сама растоптала это чудовище, этого омерзительного однофамильца...

— А вдруг это мой родственник — кузен, например? — хмуро заметил Эдмон. — Как быть тогда? У нас, французов, не принято убивать ни братьев, ни кузенов. Будем надеяться, что тут нет никакого родства...

— Я по совести предпочла бы, чтобы родство оказалось, мой Эдмон... — не без горечи откликнулась Гайде.

— Нет, милая Гайде, я даже брату не простил бы убийство великого поэта! Но я придумал бы для него наказание без крови... Да, без крови, но такое, которое стоило бы любого кровопролития...

— Порой ты меня пугаешь, Эдмон... — тихо сказала Гайде. — В тебе проступает нечто демоническое, внушающее тревогу... Видимо, рана, которую тебе нанесли почти четверть века назад, все еще не зажила, все еще мучает, доводит до кощунства, до цинизма...

Накануне отъезда из Москвы по настоянию Гайде Дантес вместе с ней был в Кремле на открытии того удивительного сорокадневного перезвона московских колоколов, который начинается в пасхальную ночь и беспрерывно длится шесть недель. Опираясь, как обычно, на сильную руку Эдмона, Гайде с нетерпением ждала той минуты, когда по сигнальному удару колокола на Иване Великом начинают свой симфонический слитный звон все «сорок сороков» древней столицы и десятками тысяч восковых свечей озаряется полуночная темь во всех концах великого города. Гайде втайне надеялась, что это еще более изумительное зрелище, нежели виденное несколько дней тому назад среди дня, что-то изменило бы в упрямой душе Дантеса.

Но даже и это совсем уже сверхволшебное зрелище, сказочная симфония звука и света, не растопило, не преобразило бурелюбивое и суровое сердце ее друга...

Сейчас в «Отель де Франс», одной из лучших гостиниц Петербурга, смышленый и расторопный слуга-француз, просивший называть себя просто Клодом, оказался небесполезным земляком. Он через два-три дня доставил Эдмону довольно большой список петербуржцев, имеющих отношение к гибели великого поэта.

В этом списке на одном из видных мест числился атташе французского посольства Далиар.

Этот Далиар и оказался первым гостем графа Монте-Кристо вдали от дорогой ему родины.

Во французском посольстве Петербурга он с полным достоинством представился как владелец островка, находящегося под протекторатом Франции — отмеченного на морских картах острова Монте-Кристо, и был принят с почетом, каким остался бы доволен и князь Монако-Монте-Кристо. После этого познакомиться с Далиаром уже не составляло никакого труда. Барон Далиар был приглашен и оказался аккуратен.

— Чрезвычайно рад видеть вас у себя, дорогой гость! — вскричал Эдмон, встречая Далиара в роскошной передней. — Рад возможности познакомить вас с моей женой...

В столь же роскошной гостиной, куда Эдмон провел «дорогого гостя», через несколько минут появилась и Гайде, соответствующим образом расфранченная, блестящая великосветская дама, в которой никто не заподозрил бы недавнюю сиротку-гречанку.

Далиар, человек тоже великосветский, рассыпался в комплиментах и любезностях.

— Какое счастье видеть в этой хмурой, северной стране истинный, неподдельный цветок нашей родины — прекрасной Франции! — задекламировал он с привычной готовностью.

— Каким же цветком хотели бы вы меня считать, любезный барон? — улыбаясь, спросила Гайде.

— Тюльпаном, — поспешил ответить барон и сразу же поправил себя. — Нет, розой, конечно, чудесной провансальской розой, мадам! Такой, какую прикреплял к своему шлему когда-то непревзойденный герой наших французских сказаний — Роланд!

Начался обычный довольно шаблонный светский разговор, но Эдмон вскоре умело перевел его в нужное русло.

— Сенсацией российской столицы за это время, говорят, была гибель великого поэта Пушкина? — как бы мимоходом задал он вопрос.

Далиару оставалось лишь подтвердить.

— Да, это так, граф.

— Ну и каковы же были обстоятельства? — все в том же полунебрежном тоне продолжал Эдмон. — Не вы ли были его секундантом?

Далиар пояснил, что секундантом у Пушкина был майор русской службы Данзас, а у противника Пушкина, Жоржа Дантеса — предшественник Далиара по службе в посольстве Франции — виконт д'Аршиак.

— Великий поэт Пушкин, как вы его назвали, граф, был, однако, великого о себе мнения, — продолжал затем Далиар. — Он пренебрег милостями и благодушием императора, мнил себя центром придворного общества, издевался беспощадно над всеми, но был до болезненности нетерпим к шуткам в свой адрес. Надо было быть настолько самолюбивым, что когда его поздравляли с вниманием, которое царь уделял его жене, — Пушкин просто лез на стену, бесился, готов был без всякой дуэли застрелить человека, говорившего ему об этом... Никакой светскости, представляете?

— Он был ревнив? — спросила Гайде. — Что же в этом худого?

— Он был ревнив до нетерпимости, — мягко, с осторожностью ответил Далиар. — Такая ревнивость недопустима в высшем, придворном кругу... Обладая таким свойством, человек просто-напросто не должен соваться в высший круг.

— Но видимо дыма без огня не бывает, — сказала Гайде, — и в этом высшем, по вашему выражению, круге,

Продолжение. Начало в № 6/1990.
Перевод с французского В. Лебедева.

процветает по меньшей мере фривольность, неуважение к брачным узам, к брачному благополучию?

— Все это довольно устаревшие понятия, — выдерживая свой попахивающий цинизмом тон, ответил Далиар.

Гайде вздохнула почти сокрушенно:

— В ваших словах, месье Далиар, немало убедительности... Возможно, в общем-то вы недалеки от истины... Но понял ли, по крайней мере, сам этот злополучный Жорж Дантес, что он натворил, понял ли всю тяжесть своего поступка, всю огромность своей вины перед русским народом? Не могло ли быть так, что он намеренно и обдуманно мстил русскому народу за разгром Наполеона? За позор Франции?

Далиар покачал головой.

— Нет, никоим образом! Во-первых, Жорж не проявлял никаких бонапартистских взглядов, совсем напротив! Во-вторых, он вообще был далек от какой-либо философии — он был всегда жизнерадостным жуиром, бонвиваном, хорошим собутыльником и игроком..

— Вы говорите «был»... Где же он теперь? Он разве не жив? — озабоченно спросил Эдмон.

— О! Такова судьба... по приказу царя он покинул Россию!

После его ухода Эдмон сказал:

— Он убедил меня только в одном, этот гость: Жорж-Шарль не просто «шалопай», а настоящий проходимец! Видно, во-первых, что он продал родину. Затем — продал отца, войдя в сомнительное, плохо пахнущее «усыновление» к какому-то голландскому барону... В-третьих, перепугавшись, он вступил в шкурный брак с сестрой той особы, с которой связывала его молва. В-четвертых, он, выждав время, убил зятя своей жены, говорят и тут проявив неблагородство, выстрелил раньше, чем полагалось. Для меня уже ясно — он вполне заслуживает и то, что незаслуженно досталось мне, и еще нечто... Такое, что клянусь, сделает его жизнь не по вкусу и Каину...

ПОЭТ ВАСИЛИЙ ЖУКОВСКИЙ

Во имя присущей Эдмону настойчивости, теперь предстояло разыскать Жоржа Дантеса где-то в других странах — в первую очередь же, вероятно, в Европе... Но где все-таки?

— Милый Эдмон, — подала совет Гайде, — здесь у нас нет друзей, но здесь должны остаться друзья Пушкина.

Слуге Клоду снова было дано поручение, закрепленное несколькими золотыми монетами.

— Разыскать людей, хорошо знавших, и еще лучше, друживших с известным русским поэтом Пушкиным.

— Постараюсь это выполнить, граф! — почтительно откланялся Клод, крепко зажав в горсти пять золотых.

Еще день-два ожидания, и Клод явился с очередными донесениями.

Первым в принесенном списке друзей Пушкина стояло имя «Василий Андреевич Жуковский». Это, как оказалось, был тоже довольно известный поэт, без зависти, искренне преданный Пушкину, находившийся при нем до самой кончины.

Но как заполучить такого гостя, как заманить его в себе? Какой предлог придумать для такого свидания?

Клод добавил к своему сообщению, что Жуковский тоже большая персона при императорском русском дворе, воспитатель подрастающего наследника престола, кавалер высоких орденов.

— Вряд ли он расположен расхаживать по гостиницам! — задумался Эдмон.

— В таком случае, надо нанести визит ему, — как всегда мудро решила Гайде.

Клод узнал точный адрес выдающегося поэта, и, не откладывая в дальний ящик, Эдмон и Гайде в пышной наемной карете с гайдуком на запятках, отправились с визитом.

Клод был услужлив настолько, что даже точно установил, в какие часы поэт Жуковский бывает дома.

И действительно, они его застали.

Вновь отпечатанная в Москве с помощью Вышегорского визитная карточка:

«Эдмон, граф Монте-Кристо,
Франция.»

возымела ожидаемое действие, и после очень короткого ожидания в солидной приемной гости были введены в кабинет высокопоставленного хозяина.

Он встретил их без угодливости, но очень приветливо и любезно.

— Насколько я припоминаю, — добавил он добродушно, пожимая руки гостям, а Гайде даже церемонно чмокнув хрупкие пальчики, — в Средиземном море есть островок с таким названием. Не из больших, но все же приметный.

Эдмон поклонился:

— Этот островок принадлежит мне, — скромно произнес он.

Поэт ощутимо сменил приветливое добродушие, слегка снисходительное поначалу, на уважительное внимание.

— Верно, это очень приятно — обладать такой независимостью от кого бы то ни было! — деликатно сказал он. — Море и небо — вот все соседство. Разве что пираты и корсары — как их теперь называют...

Он был уже довольно пожилым человеком, полным того особого лоска и такта, каким пропитываются люди двора за долгие годы общения с сильными мира, с коронованными и титулованными собеседниками.

Он вышел к гостям в сюртуке со звездой одного из высших имперских орденов и этим сразу дал понять, что ждет от гостей не пустой болтовни, порожденной неким любопытством, а делового или, по крайней мере, серьезного разговора. Разумеется, он в совершенстве владел французским языком.

Эдмон поспешил подтвердить его ожидание:

— Мы явились к вам, месье Жуковский, чтобы выразить вам глубочайшее наше, а также и многих наших соотечественников соболезнование по поводу гибели великого Пушкина.

Лицо Жуковского одновременно и озарилось каким-то теплым светом, и в то же время несколько омрачилось.

— Очень вам благодарен, господа! — вскричал он с неподдельным одобрением. — Любое сочувствие дорого нам, людям русской литературы, по поводу утраты нашего гениального, общепризнанного мэтра, и особенно — от представителей той нации...

Доставая большой батистовый платок, Жуковский не закончил фразу, как видно, намеренно. Однако, было вполне ясно, что он имел в виду.

— Именно это обстоятельство и заставило нас в особенности скорбеть о случившемся... — вставила и свое слово Гайде. — Франция вряд ли может быть равнодушной к такому печальному совпадению.

Жуковский светски поклонился в ее сторону, но возразил:

— Пока дуэли не будут приравнены к преступлению, караемому по всей строгости закона, — остается лишь скорбеть и соболезновать... Но ведь именно Франции, к сожалению, мы обязаны распространением этого проклятого пережитка средневековья... Могу порадоваться и похвалиться за наше российское правительство: оно уже карает за дуэли... Офицер гвардии, убивший Пушкина, выслан из страны по повелению императора.

— Дантес? — с усилием произнес Эдмон.

— Да, — энергично кивнул Жуковский. — Барон Дантес де Геккерн... Человек, которого Рок подверг проклятию многомиллионного русского народа, и не только русского, надеюсь... Ваше соболезнование красноречиво!

— Оно искренне! — овладев собой, подтвердил Эдмон.

— Судьба Каина ожидает этого человека... — продолжал Жуковский, все более омрачаясь. — Незримая печать уже горит на его лбу. Я не позавидовал бы его участи.

— А куда он выслан? — с невинным видом спросила Гайде. — Не туда, где он может рассчитывать на сравнительную безопасность?

Жуковский пожал плечами.

— Кажется, он избрал Нидерланды... страну, посланник которой усыновил его здесь.

— Надеюсь, он усыновил его еще до преступления? — сдержанно спросил граф Монте-Кристо.

— Да, это так, — подтвердил Жуковский и добавил: — вряд ли он мог представить то, что последовало.

— Может быть, то обстоятельство, что этот Дантес... — Эдмону становилось все труднее произносить это имя, — что этот офицер, получив титул барона, возымел еще большую уверенность в безнаказанности, что и подтолкнуло его, так сказать, на тот ужасный «подвиг»?

Жуковский согласился.

— Возможно... Впрочем, необходимо отметить, что иностранцы вообще пользуются в нашей стране множеством всяких льгот и поблажек... Наверняка, если бы нашего драгоценного Александра Пушкина убил наш же русский, расправа с ним была бы куда как строга! А иностранец, даже одноплеменник недоброй памяти Наполеона, отделался сравнительно легко... Это я не склонен был одобрить. Но меня, к сожалению, не послушали. Я предлагал посадить его на приличное время в тюрьму, тем более, что его выстрел если открыто не нарушал гуманное правило дуэли, то во всяком случае, не совпадал с законом чести: он выстрелил раньше, чем Пушкин!

— Следовало бы его повесить, сказать по правде! — горячо воскликнула Гайде.

Жуковский покачал головой.

— Хотя повешение и считается бескровной казнью, но все равно это было бы помножением крови на кровь...— мягко сказал он. — Это означало бы двойное запятнание драгоценной для нас памяти Пушкина. Мы уже вышли из той фазы развития человечества, когда месть, кровавая в особенности, считалась священным, непреложным законом.

Гайде украдкой глянула на Эдмона. Разговор коснулся его «больного места». Как он отнесется?

— Месть не вычеркнута, господин Жуковский, из списка священных прав человека, как мне кажется... — неторопливо, обдумывая и подбирая слова, отозвался Эдмон.— Мстящего может покарать общество, не вникнув должным образом в его мотивы, но когда он, мстящий, ощущает себя орудием Неба, осуществителем Воли Судеб, — он безропотно идет на любые последствия.

— Не значит ли это, что вы в какой-то мере оправдываете Дантеса? — слегка насторожился хозяин.

— О, нет, нимало! — граф протестующе вскинул руки. — Мне лишь подумалось, что нужны достаточные права для роли мстящего... И вот знаете, месье Жуковский, когда я ехал сюда, в Россию, я смутно мечтал хоть чем-нибудь или как-нибудь отплатить за одного из немногих великих людей мира, кого я знал лично и питал к нему большое уважение... За этого самого Наполеона Бонапарта, о котором вы только что говорили.

Жуковский прищурился, но не ошеломленно, как рассчитывал Эдмон, а с какой-то своеобразной хитрецой понимания.

— Вы меня этим не удивили, граф. Мне сразу подумалось, когда я услышал ваш титул, что вы должны быть или самолично, или через вашего отца одним из тех, которые чем-то обязаны Наполеону... Сколько наделал он графов, герцогов, баронов! Да чего графов, герцогов — королей сколько сфабриковал после того, как сам произвел себя в императоры... Я сразу сделал предположение, что вашим графством и обладанием целого острова, пусть и не столь уж большого, вы как раз обязаны этому смелому и щедрому узурпатору, умевшему и подкупать и покупать людей... Граф Монте-Кристо — разве тут не виден наполеоновский почерк?

Эдмон запротестовал:

— Он был лишь косвенным моим пособником. И титул, и остров достались мне не от него.

— Но все же при его содействии, вы признаете? — подхватил довольный, хотя бы неполной своей догадкой поэт-собеседник. — Ну что же, очень естественно, что вам захотелось и отблагодарить как-то, отплатить за него хотя бы маленькой местью. Надеюсь, вы не рассчитывали взорвать Московский Кремль... — все с той же отеческой, дружелюбной иронией продолжал Жуковский свои расспросы, догадки.

Эдмон невольно рассмеялся, улыбнулась и Гайде.

— Мы были просто очарованы вашим Кремлем, месье поэт! — энергично ответил Эдмон. — Пробыв в Москве около недели, мы стали чуть ли не патриотами вашей страны. Более того, узнав о тяжелом преступлении нашего соотечественника Жоржа Дантеса перед русским народом, я глубоко задумался над этим, и вскоре у меня сложилось совершенно обратное решение. Осуществить месть не вам, русским, а именно этому отщепенцу, этому выродку нашей нации, лишившему Россию такого великого, дорогого ей сына.

Теперь Жуковский уже без всякой иронии, даже с долгожданным удивлением, наконец, начал вглядываться в неулыбающееся, посуровевшее лицо Эдмона.

— Все это, милейший граф, нечто такое, чего я никак не ожидал от вас услышать... Одно дело — сочувствие нам, соболезнование, высказанное вами в самом начале нашей беседы, сожаление, что убийца Пушкина — ваш соотечественник. И совсем иное сейчас высказанное вами намерение — покарать его за это, отомстить ему за гнусный поступок. Я было подумал, что вы имеете какие-то смягчающие его вину обстоятельства, пробуете чуть уменьшить тяжесть его деяния, и вдруг — полнейшая неожиданность! Вы намерены мстить ему за нас, русских! Если бы вы не произвели на меня сразу впечатление очень выдержанного, отнюдь не легкомысленного человека, знающего цену своим словам и решениям, не бросающего слова на ветер, — я бы мог подумать, что вы, простите меня за столь дерзкое слово... Но нет, я вижу, чувствую по всему, что тут нет ни малейшей рисовки, фанфаронства или желания подладиться к нам, русским... Я чувствую вашу искренность, граф, и просто ошеломлен тем, что услышал. Сказанное вами столь удивительно, что я невольно хочу просить вас о разрешении передать это моему дорогому питомцу-цесаревичу... Он любит Францию, хотя еще и не бывал там. Мы скоро собираемся туда с ним. Пока что он знакомится со своей родной страной, и я тоже имел счастье сопровождать его при этом. Цесаревичу будет приятно узнать, что вы, сын Франции, французский аристократ, так близко приняли к сердцу утрату России, тяжелейшую нашу утрату.

Эдмон на минуту задумался.

— Но его отец, император, слышал я, сильно покровительствовал убийце Пушкина... Даже избавил его от наказания... Если вы разгласите мое намерение, месье Жуковский, это может затруднить для меня весь мой замысел... Убийце дадут знать о том, что его ожидает. О том, что эринии начали за ним погоню...

Задумался и Жуковский.

— Пожалуй, вы правы, — кивнул он после раздумья.— Да, вы правы, граф, я ограничусь, если позволите, только сообщением цесаревичу о вашем глубоком и искреннем сочувствии, но если он выразит желание с вами увидеться, надеюсь вы не захотите от этого уклониться?

Граф Монте-Кристо развел руками.

— Дорогой месье Жуковский! Как такая мысль могла мелькнуть у вас! Удостоиться такой возможности — поговорить с будущим повелителем величайшей державы мира лично — честь, выпадающая немногим. Наши взгляды могут не совпадать, но я буду счастлив и в этом случае. Около двадцати лет назад я беседовал с императором Наполеоном и даже имел от него рукопожатие, и сейчас вы обнадеживаете меня возможностью встретиться с будущим императором России.

РУССКИЙ ДОФИН

Свидание графа Монте-Кристо с наследником престола Александром все же состоялось. Совсем еще молодой, только вступивший в жизнь питомец Жуковского был, правда, высок ростом, довольно мужествен, но юнец

чувствовался почти в каждом его жесте и слове. Даже и голос его еще не оформился как следует. То и дело проскальзывали способные внушить улыбку нотки молодого петушка. Но петушиного задора как-то все же не ощущалось в этом полуюноше. Напротив, бросалась в глаза некая мечтательность, медлительность суждений и осторожность — качества, явно привитые воспитателем Жуковским. Можно было, правда, подозревать и старательно подавляемую пылкость, романтическую восторженность, но эти черты были, по крайней мере, искусно дисциплинированы воспитателем, этикетом.

Беседа началась с Наполеона, как только цесаревич отдал благодарственный поклон за уже входившее в некий обычай для Эдмона и Гайде почтительное соболезнование о Пушкине.

— Вы, граф, слышал я, были лично знакомы с Наполеоном Бонапартом? — сразу задал вопрос русский дофин. — Виделись с ним, беседовали?

— Да, был такой случай, ваше высочество... Но в момент не слишком для него отрадный — на острове Эльба.

Дофин кивнул.

— Когда у него был перерыв в правлении Францией? Но это был очень интересный период, как мне кажется. Он правил этим французским островом как суверен, его именовали «император», а в Париже был король. Император был ниже короля, не правда ли, любезный граф?

Он оглянулся на присутствующего Жуковского. Тот поощрительно кивнул. Ситуация, в которой оказался Наполеон, не могла не выглядеть любопытной и сложной. Вопросы, которые задавал наследник, свидетельствовали о работе его мысли, о его любознательности, по меньшей мере.

Дантес пожал плечами.

— Подавляющее большинство французов, и я в том числе, продолжали считать его и даже называть, не на глазах у полиции, конечно, своим императором.

— Позвольте задать вам такой вопрос, дорогой граф, — неторопливо произнес цесаревич Александр, — французы только за какие-нибудь десять лет до воцарения Наполеона казнили короля Людовика, сожгли его трон, создали с огромным энтузиазмом ложную вольнолюбивую республику по образцу древней Греции и Рима, и вдруг, не прошло и десяти лет, им уже потребовался единоличный повелитель, монарх, причем не француз, а человек совсем другой этнической крови — потомок ассиро-вавилонян, финикийцев — корсиканец... Не загадочно ли это, не говорит ли о неискоренимой потребности людей в поклонении перед кем-то, в ком ощущается большая сила?

— Наполеон создал для Франции еще неслыханный престиж, еще не бывалое в ее истории величие... — вежливо ответил Эдмон.

— Которое тотчас же лопнуло, словно мыльный пузырь... — не улыбаясь, словно повторяя хорошо преподанную и заученную догму, произнес русский дофин. — Оно держалось только грубой силой, силой оружия.

Но он вдруг по-детски сменил свой тон, удивив и Гайде, и Эдмона.

— Однако, я очень хочу быть объективным, дорогой граф. Франция чем-то обязана Бонапарту, кроме престижа, купленного потоками крови. Он ввел какие-то важные реформы, насколько я слышал?

Эдмон облегченно вздохнул и поклонился:

— Ваше высочество хорошо осведомлены... В быт Франции прочно вошел свод лично отредактированных Наполеоном гражданских законов под именем «Кодекса Наполеона». Этот кодекс настолько авторитетен и приятен для народа, что, и вернувшись к власти, Бурбоны не решились его отменить.

— В чем же суть этого кодекса, дорогой граф? — с интересом спросил Александр.

— Прежде всего — в обеспечении свободы личности, в прочной охране права собственности, в равноправии всех граждан перед законом, в неограниченности личного прогресса — крестьянин может стать министром и, наконец, во всемерном поощрении наук и искусств. Наполеон отменил и запретил навечно все, какие бы то ни было, виды былой феодальной зависимости. Понятие «раб» навеки изгнано из французского мышления.

Российский дофин вздохнул.

— У нас оно еще сохраняет полную силу. В этом отношении мы — самая отсталая страна мира.

Впервые за все время беседы подала голос Гайде.

— Нет, ваше высочество. Россия не одинока в этом — в этом ей сопутствует Америка. Соединенные Штаты Америки тоже сохраняют статус рабства.

Лицо дофина озарилось на миг.

— Благодарю за это напоминание, мадам, — учтиво поклонился он в сторону гостьи, от которой, как видно, не ожидал подобной реплики. — Очень ценное, несколько утешающее напоминание, мадам. Америка слывет передовой страной, не правда ли?

Теперь голос подал долго молчавший Жуковский.

— Его высочество цесаревич мечтает избавить Россию от рабства, когда придет время его царствования.

Наследник поднял руку и быстро добавил:

— Но это не значит, что я мечтаю о скорейшем царствовании, милейший мой наставник, Василий Андреевич.

Эдмон молчал, в ожидании новых вопросов.

— А у вас есть подданные на вашем острове, господин граф? — последовал его вопрос.

— Есть лишь около десятка верных слуг, ваше высочество, — поспешил с ответом Эдмон.

— А в чем суть их верности, граф? — не успокаивался дофин.

— Каждый из них готов умереть за меня, — не без гордости ответил граф Монте-Кристо.

— Как раз это есть и было всегда одним из главнейших устоев рабства, — задумчиво, как бы самому себе сказал русский дофин.

— Было время, когда я сам готов был умереть за Наполеона, ваше высочество! — почти дерзко возразил Эдмон.

— Но оно прошло, это состояние? — поинтересовался Александр.

— Прошло, ваше высочество. Но уж так, мне кажется, устроен мир, что каждого тянет умереть за кого-то или во имя чего-то.

— История полна прекрасных примеров самопожертвования... — опять подал голос Жуковский, старавшийся держаться на заднем плане, в сторонке, держа себя наготове, чтобы, подобно хорошему суфлеру, прийти на помощь своему ученику в любую трудную для того минуту.

Наследник подхватил подсказку:

— В этом, конечно, нет ничего предосудительного, наоборот! — уже с ноткой горячности воскликнул он. — Я, например, мечтаю о возрождении крестовых походов! Сколько наших братьев по крови, по языку, по вере томится под гнетом мусульман — на Балканах, на Ближнем Востоке. Болгары, сербы, румыны, греки, а там — армяне, народ высокой культуры, все они на положении рабов, с той важной разницей, какую вы только что отметили — верный раб готов умереть за своего владельца, они же готовы убить его в любую минуту. Кстати, у нашего великого Пушкина, соболезнование о котором вы столь любезно выразили, есть изумительное стихотворение о верности раба — «Анчар», не так ли?

— Дв, да, «Анчар», — подтверждая, закивал Жуковский.

— Вам известно это стихотворение, господа? — задал вопрос гостям дофин. — Жаль, если нет.

И, обратясь к Жуковскому, он попросил:

— Василий Андреевич, если еще нет перевода «Анчара» на французский, сделайте такой перевод, хотя бы без рифмы, сейчас... А? Пожалуйста, мне очень хочется, чтобы наши гости смогли на живом примере оценить того, по поводу кого они так трогательно соболезнуют.

Жуковский выдвинулся вперед и легонько почесал за ухом.

— В буквальном, простом переводе неизбежно пропадает немалая доля прелести этой вещи... Поэзия зиждется на ритме и рифме...

— Но мы не требуем рифм от Гомера! — вскричал дофин.

— Хорошо, я попробую, — согласился Жуковский и начал.

Когда Жуковский закончил свой беглый, экспромтный, но впечатляющий перевод этого шедевра русской поэзии — пусть и без рифмы, однако, с чуткой верностью ритму оригинала, — Александр горячо зааплодировал своему наставнику. Присоединились к этому одобрению и гости. Эдмон был несколько равнодушен к литературе, но Гайде, чтением приобретшая весь свой французский лоск, всю свою изысканность, оценила услышанное в полной мере и по смыслу и по высокой форме поэтической, приданной своему переводу Жуковским.

Восторженные похвалы дофина, видно, в равной мере относились и к автору, и к переводчику.

— Можно ли так владеть словом и мыслью! — по-детски восхищался русский наследник. — Впрочем, без рифмы, конечно хуже. Хотите, я прочту вам с рифмами, по-русски?

И он, словно школьник самого младшего класса с упоением, то ли любуясь в самом деле звучным, чеканным, приподнятым стихом Пушкина, то ли своим умением неплохо, выразительно читать, что дети тоже очень любят, или просто тешась своим голосом, отбарабанил все стихотворение.

— «Анчар» — стихотворение Пушкина... — по всем правилам объявил русский дофин и даже волосы поправил.

«Ребенок! Сущий младенец!» — одновременно подумалось и Гайде, и Эдмону о старательно читавшем стихотворение дофине.

Жуковский из-за спины наследника сделал знак гостям: «Аудиенция пора кончать».

Эдмон понял знак царедворца. Но ему почему-то не хотелось уходить, не сказав какого-то веского, последнего слова в беседе с этим большим ребенком, которого ожидал самый высокий трон мира.

Однако, тот сам не дал ему сказать последнего слова.

— Если мне придется править Россией, — опять несколько медлительно-декларативно, как бы раздумывая, произнес будущий царь, — я уничтожу, по крайней мере, два рабства: рабство славян у турок на Балканах, во-первых, и во-вторых, постыдное для нас с Василием Андреевичем крепостное состояние русских мужиков. Ведь они все же много выше американских негров, не правда ли? — опять с детским простодушием обратился он к Гайде, которая в начале разговора утешила его, что рабство есть и в Америке. — Из них даже художники выходят и музыканты на славу! Как же можно торговать художниками, не правда ли?

Жуковский одобрительно и поощрительно кивал. Но повторил свой знак гостям, пора уходить, дофин раззадорился на разговор с чужестранцами и как бы не налепетал чего-нибудь лишнего...

Его опасение было не беспочвенным. Обернувшись к нему, дофин добавил:

— А когда мы с вами, Василий Андреевич, будем во Франции, не забудьте ознакомить меня с «Кодексом Наполеона». Возможно, что-нибудь придется нам позаимствовать... Без реформ не обойтись и нам. Не пойдем на реформы — хлебнем революции!

Провожая гостей, Жуковский сказал:

— По-моему, вы понравились цесаревичу, господа. Он был неузнаваем — исчезла обычно свойственная ему меланхоличность — он говорил с вами как равный с равными, даже чуть горячился иногда... Право, он удивил меня, и вы тем, что сумели на него так подействовать...

Эдмон поблагодарил Жуковского за то, что тот не раскрыл наследнику Николая его замысел в отношении барона Жоржа Дантеса де Геккерна.

Жуковский тонко и мягко улыбнулся.

— У меня мелькнула мысль, граф, что ваш замысел мог понравиться цесаревичу... Он недолюбливал Дантеса и раньше — мое возмущение не могло не передаться и ему после преступления, совершенного этим выродком.

— Но все же лучше, если поменьше лиц будет посвящено в мой замысел, — ответил Эдмон. — тем более, что может еще ничего не получиться!

— Только еще раз прошу, — почти умоляюще сказал Жуковский. — Месть эта должна быть бескровной! Память Александра Пушкина да не будет омрачена!

РЫЦАРЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Месье Жан все же выполнил свое обещание познакомить средиземноморцев со знаменитым поэтом и драматургом Виктором Гюго. Знакомство состоялось накануне их отъезда, когда, зайдя в «Режанс», чтобы проститься с их русским другом, они не без труда добрались до его столика, окруженного толпой любопытных. Судя по всему, месье Жан считался в самом деле одним из незаурядных игроков в шахматы.

Заметив их, он сделал им знак и шепнул:

— Гюго здесь. Через несколько минут я кончу партию и буду вас знакомить.

Жан подвел их к мало примечательному по внешности человеку, сутуловатому, с хмурым, задумчивым лицом и зачесанными на затылок волосами. Он держался скромно, не делал никаких возгласов, не подавал советов или оценивающих игру реплик, не позволял себе расталкивать соседей-зрителей.

— Месье Гюго, — довольно почтительно, что было мало ему свойственно, обратился к нему месье Жан. — Позвольте представить вам весьма интересных гостей из Медитеррании — графа Эдмона Монте-Кристо и его супругу мадам Гайде.

Гюго несколько удивленно вгляделся в представленных, и, пожав им руки, произнес:

— Признаться, я думал, что Монте-Кристо — это чистейшая выдумка моего коллеги Дюма... Оказывается нет, и я имею честь встретиться с теми, кто представлялся мне плодом литературной фантазии... Что же, я очень рад...

Месье Жан вернулся к своему столику из уважения к обычаю — дать возможность отыграться противнику, а новые знакомые некоторое время продолжали разглядывать чужие игры. Говорить при этом можно было лишь вполголоса, чтобы не помешать игрокам, хотя, по-видимому, ничто в мире не могло бы им это сделать.

— Вы сами не играете? — вежливо спросил Гюго.

— Вообще-то играем, но сейчас предпочитаем любоваться искусством других, — ответил Эдмон.

— Как и я, — кивнул их новый знакомый. — Но я-то живу в двух шагах — на этой же плас-Руайяль, а вам ради такого удовольствия пришлось проделать немалый путь, чуть не в тысячу лье. Что ж, и ваша супруга играет?

После утвердительного ответа он сказал:

— Это редкость... Шахматы — среднее между войной и живописью, поэтому женщины редки во всех трех областях...

— Почему вы сопоставляете шахматы с живописью, месье Гюго? — робко спросила Гайде.

Собеседник задумчиво ответил:

— Красивая ситуация на доске равносильна шедевру-полотну, картине...

— Но картину пишет один человек, а не два... — находчиво возразила Гайде. — Микеланджело даже свой «Страшный суд» писал один.

Несколько отодвинувшись и всмотревшись в Гайде каким-то изучающим, анализирующим взглядом, Гюго пригласил чету к столику на неигровой стороне кафе. Как видно, он признал их достойными своей беседы.

Когда они сели, Гюго снова неторопливо заговорил:

— Впрочем, больше всего покоряет меня в шахматах царящее в них чувство справедливости... Несправедливость, беззаконие, злоупотребление силой или властью невозможны в шахматах. А справедливость — самое больное место, почти что моя мания в этом мире. Подхлестываемый чувством справедливости, я совершаю довольно часто поступки, навлекающие на

меня если не ненависть, то удивление, подозрение: в достаточной ли мере я нормален.

Он замолчал, как бы выбирая, что рассказать для примера.

— Мои родители были совершенно разных политических взглядов... Мать была фанатически предана Бурбонам — Людовика XVI именовала святым мучеником; делу реставрации Бурбонов отдавала все свои симпатии и немало средств... А отец был столь же фанатическим приверженцем Наполеона... За мадридский поход Наполеон сделал его генералом, и отец настолько хранил ему верность, что когда Карл X предложил ему маршальское звание, он наотрез отказался. Он заявил Карлу X: «Император имел право делать нас маршалами, он сам когда-то был солдатом». Но когда тот же Карл X присвоил мне за «литературное мастерство», как было сказано в королевском «бреве» о награждении, — орден Почетного Легиона, кстати сказать, тоже созданный Наполеоном, мой отец сказал: «справедливость — выше политики» и прикрепил на мой сюртук со своего генеральского наполеоновского мундира крест Почетного Легиона, лично приколотый ему когда-то Бонапартом... Возможно, что как раз с этого времени я и стал маньяком справедливости.

— Или точнее — рыцарем справедливости? — почтительно переспросила Гайде.

— Всем известный «Рыцарь Печального Образа» был ведь, насколько я понимаю, тоже маньяком справедливости, не так ли? — впервые за всю беседу усмехнулся Гюго. — Но он в некотором роде компрометировал эту идею, вступая, например, в схватку с ветряными мельницами... Я же, представьте себе, сам удостоился со стороны досужих шакалов прессы уподобления ветряной мельнице, подумать только!

В этих словах были смешаны гнев, и горечь, и едкий сарказм...

Он счет нужным пояснить:

— Лет восемь назад австрийский посол в Париже устроил парадный прием. Были приглашены и бывшие соратники Наполеона, его маршалы, заслуженно охраняемые Карлом X и Луи-Филиппом, своего рода живые реликвии былого...

Даже лицо у него болезненно исказилось при этом воспоминании:

— Но вообразите, секретарь посла, объявляя на верхней площадке лестницы имена поднимающихся, имел наглость не упоминать присвоенные им Наполеоном титулы. Не называя ни «герцогом Далмации» маршала Сульта, ни «герцогом Рагузским» — маршала Мормона, ни «герцогом Тревизо» — маршала Мортье... Я вспомнил завет отца: «справедливость — выше политики» и написал, может быть и вам известную, «Оду Вандомской колонне»... Там есть такая строфа:

«История, создавши Пантеон,
Не поступилась справедливой данью:
И Карл Великий и Наполеон
Поставлены превыше всех колонн —
На высоту народного признанья!»

— Что творилось в легитимистских кругах! — опять с едкой усмешкой продолжал он. — «Гюго — оборотень»... «Гюго — ветряная мельница!» А о каком, собственно, ветре могла идти речь? На троне сидели Орлеаниды в лице «первого рантье» — Луи-Филиппа... Наполеон покоился в гробнице... Бонапартисты были почти под запретом...

Как раз в этот момент к их столику подошел месье Жан, освободившийся от игры с упорным противником. Он почтительно осведомился у Гайде и Гюго в первую очередь:

— Вы разрешите мне присоединиться к вашему обществу?

Гайде только кивнула, как уже своему, а Гюго указал на свободный четвертый стул:

— Пожалуйста! Кстати, вы, кажется, русский? Литератор? Я не ошибусь, если скажу, что ваш большой поэт Пушкин не побоялся проявить справедливость, поставить её выше политики, написав стихотворную драму о Годунове... Этот Годунов тоже считался и узурпатором, и тираном, но Пушкин, призвав на помощь справедливость, нарисовал его так, что даже в непритязательном переводе я с волнением читал этот шедевр! И мне представляется, что подлинный художник слова непременно должен быть справедлив, всегда ставить справедливое воздаяние герою на самое главное, на самое высшее место...

Месье Жан не удержался:

— Про вас идет молва, месье Гюго, что вы уважаете Наполеона, но не уважаете бонапартистов...

— Это недалеко от истины, — кивнул Гюго. — Но с тех же обязательных для меня позиций справедливости я не способен безоговорочно признавать и Наполеона... Громя своей образцовой, но в сущности никакой не гениальной артиллерией одуревших от непонимания чего бы то ни было: войн, поборов, муштровки — мужиков Европы и разваливающиеся стены феодализма, он заставил весь мир считать себя невиданным военным гением... Но «военный гений» — это «гений кровопролития», и когда мир начал захлебываться от крови, он вместе со своей кровавой рвотой изрыгнул и Наполеона... Подобная же судьба ждет и других, кто вздумает ему подражать...

— А войны я ненавижу с такой силой, с какой вообще можно что-либо ненавидеть! — добавил он после нескольких секунд молчания.

Гайде по наивности или с умыслом заметила:

— Но месье Гюго, вы только что уподобляли войны шахматам?

— Я ожидал, что вы можете задать такой вопрос, — кивнул Гюго. — И рад, что вы его задали! Войны и шахматы имеют, однако, лишь внешнее сходство — «кавалерия», «пехота», «артиллерия» даже. Ну и само собой — «главнокомандующий». Но разница как раз в том и состоит, что война — это шахматы без какого бы то ни было признака справедливости! Больше того, война — это сплошное беззаконие. Справедливой может быть цель войны, это неоспоримо, что же касается войны как таковой, — она преисполнена чудовищными беззакониями, нелепостями. Она проходит по полям ни в чем не повинных, ни к чему не причастных земледельцев, уничтожает их посевы и урожай, их скот, их дома, их семьи, порой их же собственными руками, если они находятся в ряду дерущихся. Она сокрушает, превращает в пепел и развалины ни в чем не повинные города с мирными жителями: детьми, женщинами, стариками, с ценностями труда и искусства, с храмами и музеями, с драгоценными реликвиями древности и старины. Война щадит затеявшего ее короля, но подсекает только что расцветшую, полную силы и доблести юную жизнь, наращивает славу седовласых генералов, но лишает мать сына, жену — мужа, сестру — брата. Хуже того, она может свести на поле боя братьев, воюющих один против другого!

Эдмон, до того почти молчавший, спросил:

— Вот, месье Гюго, вы назвали имя великого русского поэта Пушкина...

— Да, — с живостью отозвался Гюго, — я был покорен его поэмой о Годунове, даже и в довольно посредственном переводе.

— А известны ли вам обстоятельства его гибели?

— Он был убит на поединке, кажется, своим родственником... Понимаю, — кивнул он, — вам хочется знать мое мнение о поединках? Не сродни ли они войне? Тоже кровопролитие, и тоже брат может оказаться против брата. Пушкина убил будто его «бо-фрер», не так ли?

— Совершенно верно, — подтвердил Гуренин, — муж его свояченицы, но француз—Дантес...

Эдмон вздрогнул, как от укуса овода. Уже давно не повторялось это отвратительное ощущение причастности к петербургской трагедии.

— В поединке все же есть какое-то подобие правил, — задумчиво сказал Гюго, как бы для себя осмысливая различие между войной и дуэлью. — Но те, кто пытается определить исход поединка только волей Судьбы, волей Всевышнего, забывают или намеренно зачеркивают злую волю участника, желание противников убить... Оно бывает, правда, не всегда, иной раз дело кончается мирно или царапинами, но нелегко заглянуть в сердце злого человека, с каким желанием он вышел на единоборство... Во всяком случае, я глубоко и искренне скорблю и стыжусь, что великого Пушкина убил француз!

— А скажите, господин Гюго, — набрался храбрости задать вопрос Эдмон, не боявшийся прежде на равных разговаривать с коронованными особами, — в свете вашего несомненно правильного принципа справедливости этот француз, убивший Пушкина, подлежит, нужно думать, очень суровой каре?!

— Да, если только он не сумеет с полной ясностью доказать, что он был прямым и бесспорным орудием Судьбы, — медленно, словно взвешивая каждое слово, ответил знаменитый парижанин.

После короткой паузы он продолжал:

— Между прочим, я слышал, что этот человек еще существует и, больше того, пытается играть какую-то роль... Будто бы он выставил свою кандидатуру в новое Национальное Собрание от Зульцского округа в Эльзасе. А сейчас проявляет какую-то деятельность даже и здесь, в столице. Мне, тоже баллотирующемуся в Национальное Собрание, время от времени сообщают, каких коллег по этому учреждению мне может преподнести все та же Владычица Судьба.

— Вы, значит, верите в Судьбу или в то, что обозначается этим именем? — взволнованно спросила Гайде. — Эдмон пытается сделать меня «поссибилисткой», последовательницей Вольтера, допускавшего существование Высшей силы, но я остаюсь ревностной католичкой и под судьбой разумею Всемогущего... И знаете, месье Гюго, я уже несколько лет старательно изучаю творчество и жизнь Пушкина, даже русским языком овладела для этого!

— Ого! — воскликнул прославленный собеседник. — Русский язык — второй по трудности после китайского!

— У моей жены исключительные способности к языкам, — пояснил Эдмон. — Она свободно говорит на пяти и усваивает шестой — русский.

— Только из-за Пушкина! — повторила Гайде и продолжала: — Пушкин поразительно гениален и многосторонен... Порой можно подумать, что это был не человек, а некий вулкан, извергавший вместо лавы то чистое расплавленное золото поэзии, то уже готовые, отшлифованные алмазы, рубины, сапфиры — свое словесное богатство, то обжигающее пламя своей души. Его творческая палитра непостижимо богата: от языка древних сказаний-былин до светской речи, свободно льющейся на легкий, как ветер, стих... Он постиг и величайшую торжественность Гомера и мудрую грацию Овидия. А в «Борисе Годунове» он равен Шекспиру, если не выше.

Гюго восхищенно перебил ее:

— Вы, значит, тоже оценили «Годунова»? Я рад это слышать.

— Может быть, как раз «Годунов» — вершина творчества Пушкина, — полусогласилась Гайде, — но мне хотелось бы назвать одну его вещь, небольшую по размеру, но необычайную по глубине... Это его стихотворение «Пророк».

Гюго наморщил лоб, вороша память:

— Возможно, что оно мне и неизвестно, — протянул он с сожалением.

Месье Жан предложил свое содействие, и Гайде с чувством, с подъемом начала читать, припоминая:

«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился /.../
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, Пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Гуренин, осторожно исправляя ее неточности, постарался возможно ближе и поэтичнее перевести строфы Пушкина великому французскому мэтру, и тот, восторженно кивая и даже взмахивая рукой в некоторых местах, — «Слушайте, смотрите!» — с напряженным вниманием проследил все.

А потом, после довольно долгой, задумчивой паузы, сказал:

— Мне хотелось бы поставить под этим стихотворением мою подпись! Настолько это соответствует моим мыслям и моим чувствам! Я сам мечтаю о тернистом пути пророка...

Гайде позволила себе небольшой комментарий:

— Скажите, месье Гюго, столь вдохновенные и серьезные строки могли быть написаны как упражнение в стихотворстве, рожденное бессонницей или еще хуже, — «манией величия», как надменно сказал нам его убийца.

Гюго насторожился:

— Так вы где-то встречались с этим человеком, господа? — задал он вопрос чете своих новых знакомых. — И какое же на вас произвел он впечатление?

— Встречи были короткими, трудно было составить достаточно полное представление об этом субъекте, — сказал вместо Гайде Эдмон. — Могу сказать только одно, господин Гюго, — было бы горестно, если великий Пушкин погиб от руки полного ничтожества... К лицу ли было льву идти на поединок с шакалом...

Продолжение следует.

В. Д. Фалилеев.
Портрет
Саши Черного.
Офорт.
1912—1915 гг.



САША ЧЕРНЫЙ

ПРАВДИВАЯ КОЛБАСА

Сашу Черного (1880-1932) миогие читатели зиают иак автора веселых и в то же время иегодующих стихов, гиевиых и желчиых строк, украшавших иекогда страиицы известиого журиала «Сатирикон». Не меиее популярны и иаписаиные им стихи для детей, выдержавшие испытание временем, ставшие добрыми проводииками в мире поэзии для юиых созданий ие одного поколения. Одиако почти иезнакома иам юмористичесиая проза писателя. В разиые годы появлялись от случав к случаю в газетах и журиалах отдельные его «иесерьезиые рассказы», ио миогое до сих пор остается за пределами тех публикаций.

Особое место в творчестве Саши Чериого занимают иехитрые истории, родившиеся в годы первой мировой войны, когда автор иаходился в действующей армии в иачестве вольноопределяющегося. Бесшабашиые в чем-то эти его произведеиия, получившие иазвание «Солдатских сказок», иапомииают лучшие эпизоды кииг таких классииов, как Лесков и Гашек, и лукавостью своею, мудростью иародиой им ие уступают. И это вовсе ие печальио известный «солдатсиий юмор», ие плоское зубоскальство: за просторечиыми оборотами, прибаутками, проказливыми ситуациями — незаурядный, иаблюдательиый мастер слова, прекрасио изучивший традиции русского сказа.

Представляя читателям журиала «Слово» одну из «Солдатских сказок» Саши Чериого, мы приоткрываем новую, малоизучеииую страницу русской яитературы начала XX века.

Вступительное слово и публикация Ю. КРАСИКОВА.

Служил в учебной команде купеческий сын Петр Еремеев. Солдат ретивый, нечего сказать. Из роты откомандирован был, чтобы службу, как следует, произойти, к унтер-офицерскому званию подвинтиться.

Рядовой солдат, ни одной лычки-нашивки, однако, амбиция у него своя: у родителя первая скобяная торговля в Болхове в гостиных рядах была. Само собой, лестно унтер-офицерскому званию галун заслужить, папаше портрет при письме послать, — не портянкой, мол, утираемся, присягу исполняю на отличку, над серостью воспарил, взводной вакансии достиг. И по Болхову расплывется: ай да Петрушка, жихарь! Давио ли он на базаре собакам репей на хвосты насаживал, в рюхи без опояски играл, а теперь на-ко, какой шпиигалет! А уж Прасковья Даниловна, любимый предмет, — отчим ее по кожевенной части в Болхове же орудовал, — розаиом-мальвой расцетет. Вислозадым Петрушку все ребятв на гулянках дразнили. Вот тебе и вислозадый: знак «за отличную стрельбу» выбил, а теперь и до галунов достигает. Воробей сидит иа крыше, ан манит его и повыше!

Все бы ладно, да вишь ты... Ждучи лосйны, поглотаешь осины. Не взлюбил Еремеева фельдфебель, хоть второй раз на свет родись. Сверхсрочный, образцового рижского батальона, язва, не приведи Бог! Из себя маленький кобелек, жилистый да вострый, на Светлый Христов Праздник, а и то вдоль коек гусиным шагом похаживает, кого бы за непорядок взгреть. Язык во щах ест, — порцию ему особую выделяли, — уж на что сладкая пища. Трескает, а сам из-за перегородки по всей казарме, как волк в капкане, так и зыркает. Одним словом — ярыкала. К команде не снисходит. Во сне и то специальиыми словами обкладывал, — знал себе цену. Только тогда зубки и скалил, когда на рысях к ротиому подбегал, папиросу ему сериичком зажигал.

А тут, вишь, купеческий сын завелся. Ручки, гад, резедой-мылом мылит. Часы в три серебряиые крышки с картинкой — мужик бабу моет, — у подпрапорщика таких не водилось. Загнешь ему слово, сам тяиется, ие дрыгнет, а сквозь морду этакое ехидство пробивается: «Лайся, шкура, красиая тебе цена до смертиого часу четвертной билет в месяц, а я службу кончу, самого ротного на чай-сахар позову, — придет!..» С вольноопределяющимися за ручку здоровкался, финиками их, хлюст, угощал. Неразменный рубль и солдатскую шинельку посеребрит. В полковой церкве всех толще свечу ставил, двром что рядовой.

Начал фельдфебель Еремеева жучить. То без отлучки, то диевальным не в очередь, то с полиой выкладкой под ружье поставит, — стой на задворках у помойной ямы идолом-верблюдом, проходящим гусям на смех. Все закаблучья ему оттоптал. А потом и сверхуставное наказание придумал. Накрыл как-то Еремеева, что он заместо портянок штатские носочки в воскресный деиь напялил, — вечером его лягушкой заставил прыгать. С прочими обломами, которые по строевой части отставали, в одиу шеренгу, на корточках с баками над головой — от царского портрета до образа Николая Угодника... «Звание солдата почетно», — кто ж по уставу ие долбил, а тут накось прыгай, зад подобрамши, будто жаба по кочкам. Кот, к примеру, и тот с амбицией, прыгать ие стал бы. Да что поделаешь? Жалобу по команде не подашь, тебя же потом фельдфебель в дверную щель зажмет, писку твоего родная мать не услышит... Не спит по ночам Еремеев, подушку грызет, — амбиция вещь такая: другой ее накалит, а она тебя наскрозь прожигает. Еловая шишка укусом не сладка.

Прослышал купеческий сын от соседской прачки, будто в слободе за учебиой командой древний старичок проживает, по фамилии Хрущ, скорую помощь многим оказывает: бесплодиых купчих петушиной шпорой окуривал, — даже вдовам и то помогало, — от зубиой скорби к пяткам пьявки под заговор ставил. Знахарь, ие знахарь, а проницательность в нем была такая: за версту индюка скрадут, а ему уж известно, в чьем животе белое мясо урчит.

Улучил время Еремеев, с воскресной гулянки сверИул к старичку. И точно, — откуль такой в слободу свалился: сидит килка на одной жилке, глаза буравчиками, голова огурцом, борода будто мох конопатый... На стене зверобой пучками. По столу черный дрозд марширует, клювом в щели тюкает, таракаиью казнь производит.

Воззрился Хрущ, слова ему солдат не успел сказать, бороду пожевал и явственно спрашивает:

— Заездил тебя рижский-то, образцовый?

Крякнул Еремеев, языком подавился.

А тот дальше:

— На море, на окияне сидит на диване, малых собак грызет, большим честь отдает... Сел ты, друг, в ящик по самый хрящик. Ничего, вызволю! Как звать-то?

— Петр Еремеев, первого взводу учебной команды, второй гильдии купца сын.

— Экий ты, братец, вякало... Гильдия мне таоя нужна, как игуменье шпоры. Встань! Чего на дрозда уставился? Ои этого ие любит... Пособи, Господи, Петру Еремееву, первого взвода учебиой команды, а впрочем, как знаешь... Скорое средство тебе дать, либо с расстановкой?

Встрепенулся солдат, вскинулся:

— Да уж нельзя ли как-либо залпом? За нами не пропадет... Пристал ко мие, как слепой к тесту. Почему, говорит, иа казенную фуражку сатиновую подкладку пришил? Я, говорит, тебя рассатиню. Вырвал подкладку, харкнул в иее, да меня же по личности...

— Скрипишь ты, солдат, будто старую бабу за пуп тянут. Не елозь, дай крючок вынуть! Колбасу с водкой фельдфебель твой трескает?

— Так точно!.. Ах ты ж, Господи, как это вы в самую точку. Взводные с вольноопределяющимися им завсегда по праздникам в складчину бутылку с колбасой в шкапчик потаенно ставят. Будто сюрприз. Для украшения звериного естества, чтобы они по воскресным дням меньше рычали-с.

— Вот и расчудесно! Дам я тебе, друг, своей колбаски. Особливой. Только ты ее в праздник не подсовывай, — действует она на короткий срок, пока она в человеке ворочается. А чуть выйдет в наружу — шабаш. Подсуиь ее в будни, когда у вас занятия происходят. Понял?

Переступил Еремеев подковками, дрогнул.

— А они, то есть фельдфебель, от вашей колбасы, извините, не подохнут? Присягу я принимал, и вообще неудобно.

Хрущ глаза поднял, иацелился в купеческого второй гильдии сына, неловко тому стало. И дрозд тоже тараканов своих бросил, смотрит на солдата: каждый, мол, день чистые гости ходят, а такого обалдуя еще не бывало. Пососал скоропомощный язык, сплюнул.

— В унтер-офицеры метишь, а сам дурак, в чужой пазухе блох ищешь! Я, сыиок, не убивец и тебе не советую. Потому за самую паршивую душу ответ держать придется. Ступай к свиньям собачьим, иичего тебе, холява, ие будет.

Взмолился Еремеев, еле упросил. Колбаску за рукав шинельный сунул, будто пакет казенный. Поднес знахарю трешницу, а тот рукой в ящик смахиул, даже и не удивился. Старичок был не интересующийся.

— Чего же с этой колбасой ожидать-то?

Хрущ в оконце уставился, будто сам с собой разговор ведет:

— На море, на окияне сидит баран на аркане, никто его не отяжет, пока дело себя не окажет... ветер-ветерок, тонкий голосок. Подуй в хату, выдуй солдата. — баба у меня там секретная еще в анбарчике дожидается.

Повернулся Еремеев на носках, подошвой хлопнул и через выгон, — направление на дом с красной крышей, — замаршировал в учебную команду.

Подивился фельдфебель. В будний день колбаса в шкапчике оказалась. Должно, вольноопределяющийся Лизачев посылку домашнюю не в очередь получил, с начальником поделился.

Сгрыз ее дочиста, до веревочки, скус, как скус, чуть-чуть мышиным пометом припахивает. Да ведь даровая, не соловьиным же пахнуть! Вытер усы, в струнку их выправил, выходит, стало быть, на занятия. Рыгнул, как полагается. То да се, — «подымание на носки и приседание». Не успел ои руки иа бедрах проверить, Еремеева за пояс потрясти, ан тут дневальный дверь настеж, кирпич на веревке кверху птичкой: начальник команды пожаловал. Дежурный рапортует, дневальный около шинели, как моль вьется. Поздоровкался ротный, гаркнули солдаты, аж кот с окна слетел.

Стоит рота, не шелохнется, а штабс-капитан Бородулин плечики поднял, сапожки в позицию поставил, глянул в бок на фельдфебеля и спрашивает:

— Ты чего ж это, Игнатыч, ухмыляешься? Попову кобылу во сне доил, что ли?

Пошутил, значит.

Фельдфебель ладоиь ребром к козырьку, грудь корытом, воздуху забрал да как резанет:

— Смешно уж больно, ваше высокоблагородие! В комаиде вы, можно сказать, Суворов, чисто лев персидский. А с бабой совладать ие можете. Рожа у вашего высокоблагородия поперек щеки вся поцарапана. Денщик сказывал, будто за картежиую недоимку супруга вам вчера здорово поднесла...

Отчетисто этак выговорил, будто его черт за язык дернул, а сам с перепугу телескопы выпучил, тянется, — вот-вот пояс на брюхе лопнет.

До того опешил ротный, что и перебить не успел. Да как вскиияется:

— Ты, что же, еж тебе в глотку, очумел? Каблуки вместе! Ты что это такое сказал? Га!

Рота не дышит, прямо в пол взросла. Фельдфебель еще пуще тянется, дисциплина из него так и прет, а язык свое:

— Да, почитай, всему городу, ваше высокоблагородие, известно, что супруга вашего высокоблагородия на вашем высокоблагородии верхом ездит.

Мать честная! Ну тут пошло, действительно...

— С кем разговариваешь? Перед кем стоишь?!.. Да ты, пуп моржовый, ума решился? Под суд хочешь? С утра нализался?..

— Никак нет! Сроду пьян не был. С утра к мамзели вашего благородия, что за баней живет, сходил. Гитарку у них починял, для своего же начальника старался. Занапрасно обижать изволите...

А сам все тянется, аж посинел весь... Хоть язык вырви. Стоит купеческий сын Еремеев на правом фланге, зубами со страху лязгает, — ишь чего колбаса-то делает...

Ну, тут у ротного и слов не стало, — случай уж больно непредвиденный. Потряс фельдфебеля за грудки, перчатку собачьей кожи в шматки порвал. Полуротный, само собой, подскочил, на голову показывает: спятил, мол, в мозги вода попала. Как прикажете?

Нечего сказать, — крутая каша, хоть топором руби. Махнул ротный рукой: «Убрать его, лахудру, пока что!» — и сам за ворота. Вся рота слыхала, не потушить, надо дело по всей форме разворачивать.

А фельдфебель стоит осовевши, усы обвисли, пот по скуле змейкой. Взяли его взводные под вялые локти, поперли в канцелярию, посадили на койку. Сопит он, бормочет: «Морду-то хочь поперек рта башлыком мне обвяжите, а то и не того еще наговорю!..» Обвязали, — уж в такой крайности пущай носом дышит. Заступил на его место временно первого взвода старший унтер-офицер. Известно, коня куют, жаба лапы подставляет. Кое-как занятия до обеда дотянули.

Не успели солдаты кашу доскрести, стучит-гремит полковая двуколка. Фершал фельдфебеля легкой рукой обнял, повез в госпиталь на испытание, — достались Терешке черствые лепешки.

Доктор ему чичас трубку в сосок.

— Дыши, — говорит, — регулярно! Правый глаз закрой, посвисти ухом... Какой у нас теперича месяц-число?

— Месяц, — отвечает фельдфебель, а сам трясется, — апрель, число третье. Да вы б и сами, вашескородие, должны знать, потому у вас завсегда в апреле весенний запой начинается.

Затопал доктор ногами, плюнул, дальше и спрашивать не стал. Что с полоумного возьмешь?

Дежурный офицер из каморки вышел, — поинтересовался: — А, Игнатыч! Что это, братец, с тобою?.. Меня знаешь?

— Так точно. Подпоручик Рундуков, шестой роты. Вас, ваше благородие, по всей окрестности знают: квартирной хозяйке крестиками капот вышивали, все стряпухи смеются... Вам бы, ваше благородие, в кокошнике мамкином ходить, не то, что с шашкой...

Обжегся поручик, крякнул, с тем и отъехал.

На другой день штабс-капитан Бородулин заявился в госпиталь, сел на койку к фельдфебелю, а у того уже колбасная начинка наскрозь прошла, — лежит, мух на потолке мысленно в две шеренги строит, ничего понять не может. Привскочил было с койки, ан ротный его придержал:

— Лежи, лежи, Игнатыч! Что ж мне с тобой, друг сердечный, делать? Служил, служил, в жилку тянулся, и вдруг этакая осечка... Под суд тебя отдавать жалко. Да и по всему видать, накатило это на тебя с чего-то!...

— Так точно, ваше высокоблагородие! Под усиленный арест посадите, либо морду набейте, только чести не лишайте, дозвольте в команду вернуться.

— Не могу, друг! Послезавтра комиссия, а там, что Бог даст.

Привстал было штабс-капитан, а фельдфебель его по госпитальной вольности за кителек с почтением придержал, докладывает:

— Позвольте, ваше высокоблагородие, доложить, запамятовал. Рядовой Еремеев первого взвода, как в город последний раз отлучался, неформенный лакированный пояс надел, — не успел я его наказать. Уж вы его своей властью взгрейте, покорнейше прошу. Нечего ему, хахалю, с писареи пример брать...

Усмехнулся начальник команды, до чего, мол, фельдфебель старательный, — в мозгах вода, а службы не забывает.

Доктор тут подкатился. «Ничего, — говорит, — он сегодня вроде человека стал. По всей форме отвечает, как следовает. Спал, должно быть, при открытом окне, лунный удар его хватил, что ли. В комиссии разберем»...

Лежит фельдфебель на койке, халат верблюжий посасывает. Супчику поглотал. Будто кобылу — овсянкой черти кормят. Фершал, пес, совсем вроде псаломщика, — доктор обход производит, а тот за ним не в ногу идет, еле пятки отдирает... Дали бы его Игнатычу в команду, сразу бы обе ножки поднял. Что-то там без него делается? Небось, рады, мыши, — кота погребают. Ладно, — думает. По картинке-то мышам праздник боком вышел... Соснул Игнатыч с горя и во сне Петра Еремеева за ржавчину на винтовке заставил ружейную смазку есть.

Тем часом, милые вы мои, купеческий сын, который этот кулеш заварил, сбегал к скоропомощнику старичку в слободу. Как дальше-то быть?! И фельдфебеля жалко, а себя еще пуще. А вдруг тот, в казарму вернувшись, за свой срам всю команду без господ офицеров на вечерних источит.

Поймал старичок таракана, лапки оборвал, отпустил, — жалостливый был, гадюка.

— Забота не твоя. Пошли ему перед самой комиссией утречком вторую порцию, а там все, как на салазках, покатится.

И колбаску ему сует дополнительную.

Поскреб Еремеев в затылке, — один глаз злой, другой — добрый.

— А может, не давать? Вишь, его как с нее разворачивает...

— Эк, ты, вякало! На море, на окияне стоит дурак на кургане, — стоит иестоится, а сойти боится... Передумкой сделанного не воротишь. Письмо-то ты от папаши вчера получил? Ты колбасу письмом и осади. Ах, да ох — на том речки не переехать. На половине, брат, одне старые бабы дело застопоривают.

Подивился Еремеев: откуда он, змей, про письмо дознался. Вздохнул, колбаску за обшлаг — и на улицу.

А перед самой комиссией принес фершал фельдфебелю пакетец, — из учебной команды гостинец, мол, прислан. Схряпал Игнатыч колбасу мало что не с кожей, госпитальное довольствие известно какое. За столом старший доктор сидит, да лекарь помоложе, да адъютант батальонный, да штабс-капитан Бородулин.

Поиграл доктор перстами, глянул в окно.

— А ну-ка, Игнатыч. Человек ты трезвый, вумственный. Погляди-ка в палисадник. Какой это куст перед окном растет?

— Черная смородина, вашескородие. Вишь, на ней, почитай, все почки общипаны, как не узнать. Вы же завсегда по весне черносмородинную водку четвертями настаиваете.

Позеленел старший доктор. Комиссия ухмыляется, а батальонный адъютант свой вопрос задает:

— Два да пять сколько, к примеру, будет?

Вопрос, можно сказать, самый безопасный.

— Ничего не будет, ваше благородие.

— Как так ничего?..

— А очень просто. Потому, как вы в приданое две брички да пять коней получили, — ничего у вашего благородия и не осталось. Все промеж пальцев спустили.

Нахмурился адъютант.

— Ну и стервы ты, Игнатыч, даром что больной! Тут, само собой, младший лекарь вступился:

— Испытаемых по закону ругать не дозволяется. Скажите, фельдфебель, сколько у меня на ногах пальцев?

— У настоящих господ десять, а у вашего благородия одиннадцать. Через баищика всем известно, — правая-то нога у вас шестипалая. Потому-то вам дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром, что рябая...

Сгорел прямо лекарь: правда глаз колет.

А уж штабс-капитан и вопросов никаких не задает: видит — опять лунный удар в фельдфебеле разыгрался, лучше уж его и не трогать.

То да се, порешили коротко. Наказанию не подвергать, потому человек не в себе, по нечетным дням будто белены объевшись. К военной службе не годен, — сапоги под мышку, маршируй хоть до Питера.

Вертается на короткий час фельдфебель в учебную команду сундучок свой сложить-собрать. Солдаты по углам хоронятся, бубнят. Неловко и им: был начальник, кот и тот под койку удирал, а теперь вроде заштатной крысы, которой на голову керосином капиули.

Прибирает Игнатыч за перегородкой свое приданое, пинжачок вольный в гостиных рядах купил, глаза б не глядели, — а тут купеческий сын Еремеев вкатывается. По-старому каблучки вместе:

— Здравия желаю, господин фельдфебель!

— Тебя-то, помадная банка на цыпочках, за коим хреном сюда принесло?

Ничего, проглотил Еремеев, не подавился. Перешел на другую линию, повольнее.

— Да вы, Порфирий Игнатыч, занапрасно серчаете. Очинно об вас сожалеем, такого начальника, можно сказать, и днем в погребе ие найдешь... В гвардию б вас, и то б не осрамили...

— Лиса, лиса. Мало я тебя еще причесывал.

— Действительно, маловато-с. Родную мамашу заменяли. Должои я, следовательно, и вас обдумать. Папаша вот письмо прислал. Старший наш приказчик помер, угрызение грыжи с иим приключилось, царство небесное. Человек был еж, младшим холуям не потакал, первая рука после родителя. Беспокоится папаша, кем бы заменить. Мово совету спрашивает. Человек вы еще жилистый, с перцем. Куда пойдете? На гарнизонное кладбище бурьян на могилах полоть? Не желаете ли вы в Болхов на вакансию заступить старшим? Жалованье правильное, харч с наваром, власть во какая... Не то что лягушкой, кузнечиком прыгать заставите — не откажутся... Папаша одряхлел, после службы я все дело в свои руки принимаю. Как вы об этом полагаете?

Скочил фельдфебель на резвые ноги, сообразил. А купеческий сын сел, — аж сундучок под им хрястнул... Солнце заходит, месяц всходит.

— Покорнейше благодарим, господин Еремеев. Я что ж, я послужу... Уж будьте благонадежны-с. На правом плечике мундирчик у вас замарамши, дозвольте почистить...

Еремеев, само собой, дозволяет.

— Почисть, почисть. Ты, Игнатыч, смотри дома про меня не ври. Насчет наказаньев, как ты меня под ружье к помойной яме ставил и прочее такое... Невеста там у меня, неудобно.

Фельдфебель аж ногами застучал:

— Да помилуйте, Петр Данилыч, — отчество даже, хлюст, вспомнил. — Да что вы-с! Вы ж в команде первейший солдат были, как такого можно наказывать. Да вам бы, ежели на офицерскую линию выйти, и цены не было б. Только что ж вам при капитале за такими пустяками гоняться...

— То-то!

Встал Еремеев, полтора пальца фельдфебелю сунул и пошел к своей койке переобуваться: взамен портянок носки напяливать. Хоть и не видно, а все деликатность и внутри оказывает...

Кряхтит, ногу, как клешню, выше головы задрал, сам про свое думает, — правильно это волшебный старичок насчет письма присоветывал. Ежели этих подчиненных, чертей-сволочей, на короткой цепочке не держать, голову они тебе отгрызут с косточкой... Доволен папаша будет: во всем Болхове такого громобоя, как Игнатыч, не сыскать. Подопрет, — не свалишься!

●

НАРОДНЫЕ КАРТИНКИ ИВАНА НИКИФОРОВА

Имя самобытного художника Ивана Михайловича Никифорова теперь знакомо многим любителям народной живописи, специалистам, коллекционерам.

Родился он в 1897 году в крестьянской семье в селе Монаково, Московской области, там же окончил два класса церковно-приходской школы. Годы детства — самые яркие, незабываемые, были связаны с жизнью в деревне. Оттого так красивы и поэтичны его рисунки и картинки, посвященные крестьянской работе — пахоте, севу, покосу, молотьбе, жатве, крестному ходу с вынесением святых мощей, обеду священника в крестьянской семье после молебна, неприхотливым праздникам и народным увеселениям...

Когда И. Никифорову исполнилось 11 лет, его отправили в Москву «на заработки». Отец, вернувшийся с японской войны, не захотел жить в деревне, ушел в город Верею: «поступив в кучера к акцизному». Он сказал сыну: «хватит учиться, читать, писать умеешь, и ладно». Такие надписи были сделаны самим Никифоровым много лет спустя к рисункам из его автобиографии. В Москве прошло отрочество и юность Никифорова. Торговая Москва начала XX столетия, увиденная глазами мальчика, находившегося в услужении то у кондитера, то у шорника, то работавшего грузчиком на Хитровом рынке, запечатлена на картинках из серии «Старая Москва». Не обошел вниманием Никифоров и народные гуляния, увеселения у монастырей в дни храмовых праздников, игры и хороводы.

А между тем жизнь И. Никифорова была иной, чем мы ее видим на его красочных листах. Свою биографию он описал в небольшой школьной тетради и в повести «НЭП», проиллюстрировав серией графических однотонных и цветных рисунков.

Ему уже было за шестьдесят, он испытывал глубокое одиночество — от усугубляющихся болезней, от скудости и однообразия дней, от непонимания своих близких, от ощущения нерастраченных сил. Но с того момента, как он обратился к сочинительству, рисованию, чувство одиночества стало исчезать. Пришло нетерпеливое, радостное ожидание каждого нового дня, смешанное с чувством легкой тревоги — не оборвалось бы, не пропало бы это ощущение «свободного полета», не появилось бы чувство трезвой реальности.

Каждое время имеет своих певцов и летописцев. Чем богаче и значительнее прошлое человека, чем длиннее пройденный им путь, тем дороже каждое свидетельство такой жизни. В нашем мире, становящемся все более изменчивым и суетным, подобные воспоминания об исчезновении некогда незыблемого особенно дороги для нас. Картинки Никифорова — узорные, красочные, поэтичные, достигающие нередко эпического обобщения, подобно русскому лубку легко обозримы, заразительны своей занимательностью, но главное в них — народ и его жизнь.

О. БАЛДИНА

См. 4-ю обложку.

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал Госкомпечати СССР

Издается с сентября 1936 года.
№ 11. 1990.



Сдано в набор 23.08.90.
Подписано в печать 01.10.90.
Формат 84×108 1/16.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 15,76+0,94.
Тираж 238 000
Заказ 1510.
Цена 90 коп.

Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64.
Телефон для справок: 281-50-98

Ордена
Трудового Красного Знамени
Тверской полиграфкомбинат
Госкомпечати СССР.
170024, г. Тверь,
проспект Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения
полиграфического брака
в экземплярах журнала
обращаться на Тверской
полиграфкомбинат.

В НОМЕРЕ:

В. И. Ленин на отдыхе
в Горках. 1922 г.,
август — сентябрь.

О встречах
Н. Валентинова
с В. И. Лениным
читайте на стр. 49.